22 МОСКВА ИЕРУСАЛИМ

- ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ –
  впервые на русском языке знаменитая книга Фрейда
- ГОРОД, ГОРА И ГРАНИЦА –
  последняя из цикла повестей Леонида Цыпкина
- РОССИЯ ГОРБАЧЕВА: ЛИБЕРАЛЫ И НЕОНАЦИСТЫ –
  обзор конференции в Иерусалимском университете
- ПОВЕСТЬ О ГЕРЦЛЕ –
  история незадачливого романиста глазами Нелли Гутиной
- ЕЩЕ РАЗ О СВИТКАХ МЕРТВОГО МОРЯ –
  сенсационная гипотеза профессора Голба
- ВАШ РОМАН ПРОЧИТАН –
  новое прочтение "Собачьего сердца" Сергеем Шаргородским

№ 54

54

ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год

54

июнь-июль 1987

издание общественного культурного фонда "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

3 *ЛЕОНИД ЦЫПКИН.* Норартакир (повесть)
72 *ДАВИД ШРАЕР.* Монолог Лота (стихи)
74 *АЛЕКСАНДР ОКУНЬ.* Иерусалимские легенды

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ

84 *ЗИГМУНД ФРЕЙД.* Этот человек Моисей

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

127 Россия Горбачева: идеологическая ситуация и еврейский вопрос

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

150 *ЧЕСЛАВ МИЛОШ.* Поляки и евреи

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

162 *НЕЛЛИ ГУТИНА.* Повесть о Герцле (часть первая: Автор)

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

181 *НОРМАН ГОЛБ.* Загадка свитков Мертвого моря

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

197 *СЕРГЕЙ ШАРГОРОДСКИЙ.* Собачье сердце, или чудовищная история

ЛЮДИ И КНИГИ

215 *МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ.* Иисус в еврейской легенде
223 *Э. ВАЙНШТЕЙН.* Евреи, неевреи и т. д.

И остановился ковчег..,
на горах Араратских.

(Бытие, гл. VIII, ст. 4.)

Леонид Цыпкин

НОРАРТАКИР
(Повесть)

I

Террорист

Норартакир — так называлась самая возвышенная часть города, открытая со всех сторон ветрам, в том числе дующим со стороны Араратской долины, хотя оставалось непонятным, как ветер может дуть снизу вверх, — но в общем эта фраза гидов была очень впечатляющей и профессиональной — гораздо, впрочем, убедительнее звучало их утверждение о том, что гористый рельеф местности, на которой располагался город, обусловливает разницу температур и пестроту микроклимата — когда зимой в нижней, центральной части города шли дожди, наверху выпадал снег, и Норартакир был, вероятно, одним из первых, принимавших на себя этот удар,—но сейчас все это было очень трудно представить себе: бесконечно длинные и жаркие улицы почти без тени, застроенные четырех- и пятиэтажными домами, сложенными из каменных блоков, которые почему-то носили название туфа, и этот туф должен был быть цветным, но он был серым, как обычный строительный материал, и все-таки Борису Львовичу

казалось, что внутри домов, за толстыми каменными стенами было прохладно — улицы уходили куда-то вверх — наверное, к какой-то самой высшей невидимой точке Норартакира, до которой добраться, наверное, было невозможно, — с утра до вечера по улицам мчались машины, по самой главной из них, соединявшей нижнюю часть города с недосягаемой высшей точкой Норартакира, нескончаемой вереницей тянулись автобусы и троллейбусы и громыхали трамваи по рельсам, которые больше напоминали железнодорожную колею, потому что середина мостовой, по которой пролегали рельсы, была разобрана или, наоборот, еще не была сложена, и переходя улицу, приходилось прыгать по шпалам — ветер поднимал пыль, и она скрипела на зубах, а небо, к которому стремилась улица, оставалось безнадежно голубым, и почти такое же название носила гостиница, в которой они поселились, — она называлась "Артакир", приставка же "Нор" обозначала "новый" — новый Артакир, — кто-то из местных жителей или гидов объяснил им, что этот район был построен сравнительно недавно и заселен репатриантами с Запада — вот почему на домах этого района нет развешенного белья, — сказала Таня — она сразу же догадалась, — по утрам, проснувшись, Борис Львович выбегал на балкон в белых трусах — балкон выходил во двор, заваленный ящиками, бочками и ржавым железом, а с железного троса, натянутого между глухими стенами соседних домов, тоже выходивших во двор гостиницы, свисали простыни и ватные одеяла — в каждое из них можно было завернуть целую семью, включая смугло-черных детей, с воинственными криками носившихся по двору или по улице, — Борис Львович выскакивал на балкон в таком виде, чтобы подразнить Таню, тем более, что на балкон выходила дверь соседнего номера, всегда, впрочем, занавешенная — "Ты с ума сошел!" — кричала она ему вслед — он подходил вплотную к перилам балкона и даже чуть перегибался через них, отчего в коленках у него появлялась сладкая тошнотворная слабость — "А этот виден?" — спрашивала Таня, натягивая на себя халат, как будто речь шла о чем-то живом, — этот был виден, и это даже утешало Бориса Львовича, потому что если бы номер их выходил на улицу, то они не смогли бы его видеть, сколько ни перегибайся через перила, чтобы не мешала стена гостиницы, в которой они жили, — "Смотри! Смотри!" — говорили они друг другу, стоя на балконе и глядя влево, на юг — "Да подойди же поближе, оттуда ничего не видно" — он хватал ее за руку, пытаясь подтянуть к перилам, но она боялась высоты с детства — по крайней мере двадцать

с лишним лет, с тех пор, как они были женаты, — "Смотри! Смотри!" — они стояли, повернув головы влево: Норартакир со всеми своими домами, дворами и улицами обрывался и уходил куда-то вниз, теряясь в дымке, заволакивающей нижнюю часть города и плоскогорья, которое, наверное, и называлось Араратской долиной, а за плоскогорьем, над горизонтом висело прозрачное облако, похожее на две снеговых вершины, — одна из них, ближняя, более высокая, другая — поменьше, пряталась за ней, но все же была видна — по мере того, как солнце поднималось выше, облако таяло на глазах, превращаясь в призрак, — через полчаса останется уже одно только небо, голубовато-белесое, подернутое дымкой, — "Давай телевик!" — кричал он ей, и она покорно бежала в номер, а на следующее утро с неизбежностью рассвета, ночи или смерти высоко в небе снова появлялось серебристое двугорбое облако — два снежных конуса Арарата. Они приехали всего несколько дней назад — три или, может быть, четыре — совершив прощальный круг над побережьем и курортным городом, где они отдыхали, самолет взял курс на юго-восток, потому что солнца не было видно ни справа, ни слева — значит, они летели в сторону солнца, которое только что взошло, потому что было раннее утро, — отодвинув занавеску до упора, вытянув шею и прижавшись лицом к холодному стеклу иллюминатора, можно было еще увидеть море и извилистую прибрежную полосу, уходившую на юг, к государственной границе, — протянувшийся на десятки километров нескончаемый пляж, на который набегала такая же нескончаемо длинная волна, и Борису Львовичу даже казалось, что на исходе этой волны, там, где она соприкасалась с берегом, вскипает кружевная пена, но поражала пустынность этих нескончаемых пляжей, пока Борис Львович вдруг не догадался, что с такой высоты неразличимы уже не только фигуры людей, но даже дома — это была уже почти географическая карта с очертаниями материка — и море и берег тонули в сизой дымке, потому что не мог же человеческий глаз видеть дальше, чем на сто километров, а через окна противоположной стороны, особенно, когда самолет ложился на левое крыло и побережье с морем исчезали куда-то и на их месте появлялось небо с оттенком неестественной, наверное, уже космической синевы, — через окна противоположной стороны вдруг показывались горы — наверное, весь Кавказский хребет — Борису Львовичу очень хотелось, чтобы одновременно были видны и побережье, и горы — он даже чуть привставал со своего места, чтобы заглянуть в окно, находившееся позади

него, но ему мешали висевшая над головой сетка и спинка кресла, но зато, когда он привставал, особенно хорошо виднелись горы — "Таня, Эльбрус!" — кричал он в ухо жене, стараясь перекрыть гул мотора, но в самолете она всегда боялась, что ее укачает, и поэтому сидела, откинувшись в кресле, напряженно закрыв глаза, с таким видом, как будто ей сейчас должны были начать делать операцию, но все-таки на минуту она открыла глаза и, повернув голову, попыталась что-то рассмотреть, — несколько лет назад они отдыхали в одном курортном кавказском городе, и в хорошую погоду по утрам оттуда можно было видеть двуглавую снежную вершину Эльбруса — Таня тоже говорила о нем, как о живом, называя его "этот", — теперь с высоты, на которой они находились, он казался странно доступным, и была видна средняя часть горы, непокрытая снегом, и даже ее зеленая подошва — просто гора с двумя вершинами, покрытыми снегом, а рядом еще горы, только поменьше, и многие из них тоже покрытые снегом, или снежники, как их фамильярно называют альпинисты, или просто туристы, или даже отдыхающие в санатории, которых везут на автобусах показывать ущелья и горы, и Борис Львович тоже ловил себя на этом слове, когда рассказывал в Москве о том, как они ездили с Таней на экскурсии, — еще был виден Эльбрус, а впереди, если привстать и заглянуть через самый передний иллюминатор противоположной стороны, впереди и внизу уже показался Казбек — Борис Львович сразу узнал его, хотя никогда прежде не видел — только на коробках из-под папирос — во время одной из экскурсий они с Таней должны были увидеть его из окна автобуса, и они напряженно всматривались куда-то вдаль, за горизонт, куда показывал им экскурсовод, но там было одно только небо, и тогда экскурсовод сказал им, что для этого необходимы особые атмосферные условия, и вот теперь, с самолета, Борис Львович наконец увидал его — "Таня, Казбек!" — таким он и представлял себе его: каким-то недоделанным, с ущербной, изъеденной вершиной, как будто часть ее кто-то отгрыз, — через задние окна еще был виден Эльбрус, впереди — Казбек, — две самые высокие вершины Кавказского хребта, а он, Борис Львович, находился намного выше их, как если бы он смотрел на них с Эвереста, как Тенсинг, имя которого Борис Львович неожиданно вспомнил, хотя никогда не интересовался альпинизмом, но он был еще выше Тенсинга, потому что самолет летел где-то на высоте девяти тысяч метров, а высота Эвереста была восемь тысяч с чем-то, но почему-то никого это не удивляло — пассажиры спокойно дремали в крес-

лах, иногда рассеянно поглядывали в окно, как будто они ехали на работу в электричке, или так же рассеянно перелистывали журналы — побережье и море уже не были видны даже при самом крайнем положении головы, если втиснуть ее между окном и находившимся впереди креслом, а справа, насколько хватало глаз, простирались какие-то безлюдные холмы — наверное, это тоже были горы, хотя и не такие высокие, как те, что были слева на востоке, — но с такой высоты они казались холмами, только почему-то ребристыми, с тенями между ними — даже не холмы и не горы, а просто складки земной коры, образовавшиеся сотни тысяч или даже миллионы лет тому назад, когда еще не было ни людей, ни даже животных, застывшие в своей первозданности, такие же пустынные, как и тогда, — крохотная тень самолета, похожая на крест, скользила по ним, то и дело ныряя в отбрасываемые тени, — солнце находилось где-то слева от самолета — значит, они повернули на юг, и эти серые, пустынные холмы где-то переходили в Турцию, а может быть, это уже была Турция, и тень самолета скользила по турецкой земле — только почему земля эта была такой пустынной и безлюдной? — где-то там, за холмами, прятались чужие, незнакомые города, шумные, с яркими рекламами на непонятном языке — города, в которых Борис Львович никогда не был и, наверное, не будет, в которых можно остановиться посередине улицы и выкрикивать то, что здесь боишься сказать шепотом, даже когда находишься у себя в квартире, и на виду у всех, на самом людном перекрестке, рвать на мелкие клочья газеты, топтать их ногами, и никто не обратит на тебя внимание, во весь голос кричать о лжи, которой окутали маленькую страну, ведущую неравный бой с огромным халифатом, свободно купить билет, поехать в аэропорт и улететь в любой город мира, куда тебе заблагорассудится, и эта земля была совсем рядом, — может быть, в пятнадцати или в двадцати километрах от него, и он видел ее, и тень их самолета скользила по этой земле, и он почувствовал, как какой-то горько-сладкий комок подступил к его горлу — "Таня, Турция", — сказал он жене почти шепотом, предварительно оглянувшись, но она услышала его, и вот они уже оба смотрели в окно, прижавшись лбами к холодному стеклу, расплющив носы, — чтобы дотянуться до окна, ей пришлось привстать и опереться руками о его колени, и ему на минуту даже показалось, что самолет сейчас даст крен в их сторону, — "Анатолийское плато" — сказала Таня — в школе она любила историю, и вместо "князья" говорила "удельные князья" или "лоскутная империя", и вместо

"Дизраэли" — "лорд Дизраэли", в особенности же часто она повторяла "лорд Биконсфильд" — Борис Львович так и не усвоил, в чем состояла его историческая роль и был ли он и Дизраэли одним и тем же лицом или нет, — "Почему плато? Ведь это же горы" — сказал Борис Львович — "Большая часть территории Турции располагается на Анатолийском плато", — констатировала Таня — ее руки жгли ему колени, и, кроме того, ему было больно — "Ладно, ладно", — сказал он — "Ну конечно, раз это я говорю...", — она заняла прежнее место, освободив его колени и обидчиво откинувшись на спинку кресла, но состояние предстоящей операции не давалось ей. "Как ты думаешь, это не террорист?" — шепотом спросила она его, кивнув головой в сторону молодого человека, сидевшего впереди них, возле прохода, ведущего в кабину экипажа, — у него была широкая спина, длинные черные волосы, закрывающие шею до самого пиджака, какого-то очень фасонного, из материала с блестками — всю дорогу он сидел неподвижно, словно прирос к месту, ничего не читая, не интересуясь тем, что происходит за окном, — они заприметили его еще в аэропорту, когда у них проверяли чемоданы, потому что это был пограничный рейс, — дежурная в форме стюардессы, стоявшая возле железной загородки, брезгливо и нехотя засовывала руку в приоткрытые чемоданы, которые потом невозможно было защелкнуть, потому что наружу лезли какие-то комбинации и пижамы — у высокого молодого человека со смуглым лицом и в костюме из какой-то ткани в блестку не было вообще никаких вещей — он стоял, сложив руки на груди крест-накрест, словно ощупывая мышцы своего плечевого пояса, чуть притоптывая по асфальту ногой в лакированном полуботинке, в состоянии какого-то снисходительного ожидания, пока вокруг него происходила вся эта суета с проверкой чемоданов. "Я уверена, что это террорист", — повторила Таня — "Не знаю", — равнодушно сказал Борис Львович, но у него что-то екнуло под сердцем, и он на минуту представил себе, как плечистый молодой человек в костюме из ткани в блестку внезапно вскакивает с места, рывком достает из-под полы своего пиджака обрез и ручную гранату, направляет обрез на пассажиров, сидящих в салоне, а гранатой угрожает экипажу самолета, — смуглое лицо террориста свирепо — он стоит в проеме двери, ведущей в кабину экипажа, держа в то же время под прицелом салон, и диктует пилоту свои требования — самолет резко меняет свой курс — "В Турции сядем", — полушутя, полусерьезно шепнул Борис Львович Тане — "Ты бы остался?" — почти одними губами

спросила она его, и так как в ответ он только неопределенно пожал плечами, забыв даже о конспирации: "Неужели бы ты остался?" — И непонятно, чего было больше в ее голосе: восхищения его мужеством или презрения к нему за то, что он собирался совершить, — "Конечно", — сказал он, чтобы не разочаровывать ее. Окна их московской квартиры выходили на бульвар — стоя у окна и глядя на проходящих или прогуливающихся по бульвару людей, ему особенно хорошо думалось — фразы приходили сами собой, и он еле успевал их донести до стола, чтобы записать, а выступая на заседании, он распалял себя все больше и больше, иногда даже уходил от заранее заготовленного текста и выбирал лицо какой-нибудь молодой женщины — родственницы подзащитного или просто присутствующей в зале, — глаза женщины следили за ним неотрывно, с надеждой и восхищением — широко раскрытые глаза школьницы, и вообще турецкие власти могли выдать их... "Скорей всего, это охранник", — сказала Таня не то с облегчением, не то с разочарованием, и так как Борис Львович ничего не ответил ей, она повторила: "Я в этом совершенно уверена", — и хотя он понимал, что молодой человек, сидевший впереди них, скорей всего обычный пассажир — наверное, у него было назначено свидание и сегодня вечером или завтра утром он должен был вернуться обратно — несмотря на это Борис Львович стал думать о нем, как об охраннике, и даже преисполнился к нему чувством доверия и признательности, потому что он охранял его, и Таню, и всех пассажиров от всяких бандитов и террористов, — в правом кармане у него, наверное, лежал маленький браунинг, а может быть, даже большой пистолет, и стоило кому-нибудь пошевелиться, как он выхватил бы его сразу из кармана, — непонятно только, почему он сидел спиной ко всем и за все время даже ни разу не оглянулся — в его широкой спине чувствовались спокойная уверенность и знание своего дела — Борис Львович сосал леденец — он механически взял его у бортпроводницы и только сейчас заметил это, уши у него закладывало — самолет, наверное, шел на посадку — когда он лег на правое крыло, Борис Львович увидел, что прямо под ними, внизу, бежали городские кварталы — квадраты и прямоугольники, составленные из белых и серых домов с плоскими крышами, как это бывает только на макете, а между ними на несколько мгновений открывались прямые, как стрелы, улицы, затем проплыла винтообразная суживающаяся книзу воронка стадиона, затем снова замелькали кварталы города-макета, все быстрее и быстрее, увеличиваясь с катастрофи-

ческой быстротой, так что на улицах можно было различить трамваи и даже фигуры людей, — казалось, самолет не дотянет до аэродрома и врежется в жилые массивы — сердце у Бориса Львовича проваливалось куда-то вниз, вместе с самолетом, все тело налилось свинцом, руками он впился в ручки кресла, как в последнюю опору, уходившую из-под него, уши у него заложило, и чтобы убедиться в том, что мотор не заглох, он судорожно глотал слюну, потому что леденец он уже съел, — самолет вышел из пике, бело-серые кварталы стали постепенно удаляться и уходить куда-то в сторону и вверх — самолет лег на другое крыло, и на месте только что мелькавших кварталов Борис Львович увидел на фоне неба два снеговых конуса — один ближний, более высокий, другой — дальний, поменьше, — самолет заходил, наверное, на последний круг перед посадкой — "Скажите, пожалуйста, что это за гора?" — спросил он у молодого человека в костюме из ткани в искорку и с длинными волосами, наклонившись к самому его уху, потому что его служебные функции, наверное, уже окончились, и кроме того, Борис Львович испытывал к нему все возрастающее доверие — скорей всего, он возвращался домой после ночи, проведенной в приморском городе, — "Арарат это", — ответил тот, почти не удостоив Бориса Львовича поворотом головы, — "Таня, Арарат!" — крикнул он жене, но она сидела, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, с мученическим выражением лица, как будто операция уже началась, но она ждала еще худшего, — "А вы не знаете, экскурсии туда бывают?" — снова спросил он молодого человека, весь подавшись вперед, словно желая положить свою голову на его плечо, — "Арарат в Турции" — ответил тот, уже совсем не поворачивая головы, и даже повел плечом, как будто сгонял назойливую муху, — на секунду Борису Львовичу стало стыдно, что он не знал таких простых вещей, — "Таня! Настоящая Турция! Смотри!" — и он даже потянул ее за рукав, потому что она по-прежнему не открывала глаз, ожидая самого худшего — а когда самолет приземлился и пассажиры, сойдя на летное поле, топтались где-то между крылом самолета и фюзеляжем, ожидая, что дальше с ними будут делать, откуда-то сбоку выехал поезд из вагонеток, в которых обычно перевозят авиапассажиров, и все решили, что сейчас их повезут к зданию аэровокзала, и кто-то даже уже направился к этим вагонеткам, но они не остановились и, пустые, так и поехали куда-то — среди топтавшихся возле фюзеляжа Борис Львович увидел их соседа по переднему ряду кресел — молодого человека в фасонном

костюме из ткани в блестку — Бориса Львовича поразило, что он стоял среди всех, ожидая своей участи, так же как и остальные, — возможно, он даже ждал, когда выдадут багаж, и даже подался вместе с другими к ускользающим вагонеткам, — "Здесь всегда все наоборот" — сказал он, и так как его слова не нашли ни у кого поддержки, взгляд его обратился к Борису Львовичу и к Тане, и Борису Львовичу вдруг стало ясно, что молодой человек был просто грузин.

II

Шрам царя Давида

Площадь возле серого одноэтажного здания аэровокзала была не слишком чистой — посередине газон из поблекших цветов, на асфальте обрывки газет и окурки, подальше — какой-то деревянный забор — впрочем, кто-то сказал им, что есть еще и другой аэропорт, главный, для дальних рейсов, — они стояли в ожидании такси — Борис Львович почему-то решил, что здесь должна быть стоянка такси, — возле врытого в землю столба с облупившейся жестяной трафареткой, на которой над выцветшими шашечками было написано что-то буквами, напоминающими шпильки для волос и рыболовные крючки, стояло несколько семей с чемоданами — Борис Львович и Таня тоже заняли очередь, но стояли чуть в стороне от остальных — Борис Львович то и дело пробовал ногой чемоданы, правую руку он держал в кармане, зажав в кулаке трешку, как будто уже пришло время расплачиваться с водителем, а левую то и дело погружал во внутренний карман пиджака, судорожно нащупывая вчетверо сложенную бумажку — бронь на гостиницу, которую он получил в Москве в центральном экскурсионном бюро, — иногда ему казалось, что он потерял ее или что это была не она, и тогда он вытаскивал ее из кармана, чтобы убедиться, что это именно она, — несколько раз в руке у него оказывались уже ненужные билеты на самолет, и сердце у него проваливалось — Таня отошла от Бориса Львовича на другой конец площади и пыталась поймать освобождавшиеся такси, но они, развернувшись вокруг газона, либо уезжали, либо нехотя подъезжали к ожидающим возле столба с трафареткой — "Иди сюда! Это же бесполезно! Здесь же очередь!" — кричал он ей, яростно маша рукой, дотрагиваясь ногой до чемоданов, чтобы убедиться, что они целы, — она ставила его в идиотское по-

ложение, и им вполне могли сделать замечание — "Паршивый город", — сказала Таня, возвратившись, — "Я так и чувствовала это" — они сели в такси, когда уже все разъехались — потертая "Волга" с выцветшими шашечками остановилась точно возле столба, хотя кроме них никого уже не было, так что им пришлось даже подбежать, чтобы машина не уехала, — водитель продолжал сидеть за рулем, как каменный, пока Борис Львович не попросил его открыть багажник — он вышел не торопясь — уверенный в себе, коренастый, смуглый, седой, с серыми глазами — наверное, у него были здесь свой дом, сад, дети и, возможно, даже внуки — его деды и прадеды тоже жили здесь, и ему, наверное, непонятно было, зачем сюда приезжали и прилетали откуда-то издалека, часами простаивали в вестибюле гостиниц, чтобы получить койку, а кроме того время уже приближалось к обеденному, а этим приезжим наверняка нужно было не в ту сторону, где он жил, и с багажником тоже была их прихоть, потому что все их барахло вполне могло поместиться на коленях у этого лысого, который суетился так, как будто спаздывал на футбол, — и все-таки он открыл багажник — там лежало запасное колесо, вымазанное известкой, кусок грязного брезента, какие-то ржавые инструменты — он даже и не подумал взять из рук Бориса Львовича и Тани чемоданы — "Не испачкаются?" — спросил Борис Львович, осторожно устраивая чемоданы рядом с колесом, — Таня помогала ему — водитель молча наблюдал за ними, заложив руки за спину, как будто это не имело к нему никакого отношения, — Таня с хмурым лицом уселась сзади, Борис Львович рядом с водителем — "Гостиница Артакир", — сказал Борис Львович, в сотый раз вытаскивая квитанцию, чтобы свериться, хотя название гостиницы он уже давно выучил наизусть, — "Это далеко, кажется?" — осторожно спросил Борис Львович, который еще в Москве выяснил, что гостиница находится где-то не в центре, — "Артакыр"? Нычаво, доедым" — примирительно сказал водитель — наверное, ему было по дороге домой или, может, расстояние устраивало его — они выехали не то на шоссе, не то на окраинную улицу — по обе стороны ее попадались какие-то невзрачные каменные дома, иногда с полуразвалившейся каменной оградой, сложенной из плит или щебня, — потом пошли уже явно улицы, застроенные четырех- и пятиэтажными белыми и серыми блочными домами — их-то, наверное, Борис Львович и видел с самолета — "А вы самы откуда будэтэ?" — поинтересовался водитель — "Из Москвы" — сказал Борис Львович, но почему-то не испытал при этом обычного

чувства превосходства над провинциалом, которое он всегда испытывал, приезжая куда-нибудь на отдых или в командировку — "Я в Москве был, одын раз был" — водитель говорил не торопясь, с расстановкой, словно отсчитывал деньги, — при слове "один", чуть оторвав руку от баранки, он приподнял кверху свой обросший волосами толстый указательный палец, как будто не очень надеялся на умственные способности сидящего рядом пассажира — плотный и смуглый, он словно сросся со своим сиденьем, так же, наверное, как он сросся со своей землей и со своим народом, и Борис Львович понял, что и его жест, и фраза, и то, что он еще собирался сказать, — все это было заготовлено заранее и, наверное, уже не раз говорено, и он, Борис Львович, был для него лишь поводом, чтобы высказаться, — "одын раз" — повторил он, снова подняв кверху короткий волосатый палец, — "нэхорошо там" — сказал он, вздохнув, как будто его очень огорчало, что в Москве нехорошо, — "два чэловек хотят выпит, так?" — и он показал Борису Львовичу два пальца — указательный и средний, тоже поросший волосами, — "приглашают третьего — поллытра на троих — понятно?" — и он показал Борису Львовичу три пальца — указательный, средний и большой — сложенные щепотью, — "у меня есть друг, есть брат, так? — зачэм мнэ чужой чэловек? — я прыглашу друга к себе домой, вина поставлу, закуску, так? — зачэм мнэ чужой? — Хулыганов там много" — добавил он после небольшой паузы — "идошь, боишся — ударят, я на машине был — милиционер остановил, тоже боишся..." — они выехали на мост, под которым где-то глубоко внизу искрился на солнце узкий поток — наверное, горная речка, протекавшая по дну ущелья, — наверху был город, а по каменистым склонам ущелья, спускавшимся к речке, лепились каменные домики, которые, казалось, были вырублены из той же скальной породы, а еще ниже круто спускались развалины какой-то каменной стены — наверное, остатки какого-нибудь крепостного вала — "Это что, древняя часть города?" — спросил Борис Львович, потому что все время шли современные дома, а ему не терпелось увидеть что-нибудь древнее — водитель вскользь, как бы мимоходом, глянул на домики и каменную стену, словно это была мелочь, недостойная внимания, и также вскользь на Бориса Львовича, словно решая, стоит ли он того, чтобы быть с ним откровенным — "Оны на чытверэнках ходыли, а у нас своя культура была" — сказал он после небольшой паузы, и Борис Львович никак не мог решить, должен он на это обидеться или нет — мысленно он представил себе племена скифов или полов-

цев, кочующие по необозримым просторам — спешившись, они рассаживаются вокруг костра, на их скуластых лицах играют отсветы пламени, а на огне жарится мамонт или какое-нибудь другое ископаемое — руками они раздирают куски мяса, на воинах позвякивают серебряные кольчуги, которые Борис Львович видел в историческом музее, — жир стекает по их рукам и подбородкам, а за стенами монастырей маленькой каменистой страны, по земле которой он сейчас ехал, десятки философов и поэтов, постигая мудрость жизни и истину, сидят за толстыми фолиантами или пишут, макая очищенные орлиные перья в гранатовое вино, и скупой свет из узких прорезей каменного свода, а по ночам отсветы от колеблемого ветром пламени свечи падают на их лица и пальцы, а рядом с монастырской стеной отдаленный пращур водителя обрабатывает в это время свой надел неродящей, каменистой земли — он такой же коренастый и плотный, как его потомок, и вокруг него те же смуглые, шумливые дети и внуки — но что такое был этот народ по сравнению с народом, к которому принадлежал он, Борис Львович, и Таня, хотя по своей широкоскулости она вполне могла сойти за потомка скифов или даже татар — у него же было не только характерное лицо, но какой-то странный шрам за ухом и на шее, появившийся уже в зрелом возрасте, как будто он отлежал это место, — шрам этот напоминал рубец от сабельного удара, и кто-то сказал ему, что это признак принадлежности к роду царя Давида, — что такое был этот народ по сравнению с его, Бориса Львовича, народом? Когда пращуры водителя копались в каменистой земле, а монахи строчили свои церковные книги, исполненные житейской мудрости, его народ находился уже в рассеянии, потому что он уже давно постиг и мудрость, и истину, и мысленному взору Бориса Львовича представились мускулистые седобородые старцы, покрытые хитоном, сидящие на камне в глубокой задумчивости и скорби, подперев рукой голову, — возраст их трудно было определить — может быть, восемьдесят лет, а может быть, шестьсот, и эти старцы, похожие на могучие тысячелетние деревья, были ни кем иным, как библейскими пророками или патриархами — из храма в храм, из столетия в столетие передавались пергаментные свитки — плод их горестных размышлений — пылали города, разрушались храмы — чернобородые стройные люди в сандалиях, закутанные в голубые с золотом плащи, почерневшие от огня и дыма, похожие на Иосифа Флавия, вытаскивали из огня и развалин эти бурые свитки, — спрятав их под плащ, на груди слева, они перебегали от одного пылаю-

щего здания к другому под градом стрел с отравленными наконечниками, пущенных руками вторгшихся чужеземцев, — вскочив на коня, пригнувшись, окутанные клубами серой каменистой пыли, развевающимися над взмыленным крупом лошади черно-голубыми плащами, они мчались, озаренные заходящим солнцем или отсветами пожара, и вдогонку им неслись отравленные стрелы — сидя на каменном полу храмов, разложив перед собой спасенные свитки, чернобородые старики ритмично раскачивались взад и вперед, и точно так же раскачивался он, Борис Львович, сидя в кресле за своим столом, когда не мог найти нужного слова, которое позволило бы бросить победно-горделивый взгляд в зал заседаний — или когда ему казалось, что он серьезно заболевает — и к этому же народу принадлежал странный человек, проповедовавший в храме, с мученически запавшими глазами и пылающим взглядом, с гибкими пальцами, как у пианиста — вот он уже на деревянном кресте, похожем на телевизионную антенну, — тело его безвольно провисает, тонкие кисти его распростертых рук пригвождены к перекладине, а узкие стопы ног к вертикальному стояку — они до предела вытянуты, как будто он совершает гимнастическое упражнение или пытается встать на пуанты, но струйки крови, стекающие по его телу, какие-то ненатуральные — они больше похожи на краску или лак, — и непонятно, как же все-таки удерживается его тело? — на груди выделяются ребра, потому что живот глубоко запал, как у спортсмена, делающего глубокий вдох перед тем, как броситься в воду, — но под ребрами, справа, у него глубокая рана, и оттуда тоже стекает ярко-красная лаковая кровь, — голова бессильно свешивается на грудь, глубоко запавшие глаза обведены черными кругами, а вокруг уже вьются слепни и мухи — и бесплотные старцы в длинном одеянии, с посохом в руке и со священным писанием в другой, — его соплеменники и ученики, — разбредаются по пыльным дорогам — вокруг их голов золотые нимбы, но лица их бесстрастны — каждая церковь и монастырь оспаривают право называться именем кого-нибудь из этих старцев, а уж об имени странного человека даже и не помышляют, такая это высокая честь, и древние поэты и философы страны, по земле которой он сейчас ехал, трепетно перелистывают толстые фолианты с тяжелым серебряным крестом на обложке, а историки на симпозиумах с микрофонами и стройным переводом дискутируют вопрос, в каком году приняла Византия христианство, — преследуемый мрачными видениями, мечущийся по туманным улицам Петербурга озлобленный человек с

высоким лбом, испытывающий болезненную ненависть к людям одной с ним, Борисом Львовичем, крови — почти внутрисословную ненависть лакея к себе подобным — этот человек даже не смел называть проповедовавшего в храме по имени, а говорил о нем "Он" с заглавной буквы — и в порыве своих горячечных рассуждений и пророчеств то и дело обращался к текстам пергаментных свитков, которые чернобородые люди выносили из огня, — старухи и старики, зевая, крестили рты, и негр-футболист, запасной игрок из латино-американской сборной, перед тем, как выйти на поле, наскоро осенял себя крестом, и маленькие крестики, висящие на тонкой цепочке, золотились на волосатой груди, в распахе ворота, у молодых людей, спешащих в конце летнего воскресного дня в гастроном, чтобы успеть туда до закрытия винного отдела, и такие же крестики, только еще более изящные и на еще более изящной цепочке, носили молодые женщины — цепочка была короткой и тесно лежала вокруг длинной, слегка вытянутой шеи, а крестик приходился чуть ниже выпуклости, образуемой щитовидной железой и придающей женской шее эту лебединую изогнутость, так что, казалось, что этот крестик мешает им глотать, — так же, как и молодые люди, все они не замечали Бориса Львовича, который останавливался и долго смотрел им вслед, — и такие же кресты, только очень большие — наверное, высотой в два или три человеческих роста — золотились на куполах церквей и соборов — они были начищены до боли в глазах, так что, казалось, на них даже виднелись царапины от песка, которым их терли, — и также до боли в глазах была начищена позолоченая кровля куполов, и неестественной белизной слепили башни и колокольни соборов, которые то и дело подновляли и реставрировали, — и входя в церковь, осторожно пробираясь куда-нибудь к боковому притвору, чтобы остаться незамеченным, Борис Львович всегда чувствовал на себе недружелюбные взгляды присутствовавших — шевеля губами, они повторяли вслед за священником слова из проповеди, которую две тысячи лет назад произносил в храме странный человек с мученически запавшими глазами — на этом языке разговаривали далекие предки Бориса Львовича, а священник говорил по-русски или, в крайнем случае, по-церковнославянски, и Борис Львович понимал все или почти все, что говорил священник, и повторявшие за священником тоже понимали — но почему же все они: и молящиеся в церкви, и священник, и молодые парни и женщины с золочеными крестиками на шее, не замечавшие Бориса Львовича, и негр-футбо-

лист из сборной латино-американской команды, и человек с высоким лбом, болезненно ненавидящий соплеменников Бориса Львовича, и историки, дискутирующие проблему становления раннего христианства, и бессонный монах, поэт и философ страны, по земле которой ехал сейчас Борис Львович, — почему все они забыли, какому народу принадлежал этот странный человек, проповедовавший в храме, и те могучие и древние старцы, что сидели на камне в горестном раздумье или воздающие руки к небу, и те гибкие чернобородые люди, что выносили из огня свитки пергамента, к текстам которых взывал человек, проповедовавший в храме, и даже те бесплотные старцы с нимбом вокруг головы и с посохом в руке? — они забыли, или не знали всего этого, или не хотели знать, а знали только то, что человек с мученически запавшими глазами был предан одним из своих учеников, — но где, в какие времена, в какой стране и среди каких народов не было предающих в руки властям и не было тупой, равнодушной или разъяренной толпы? — Борис Львович прятал лицо, а когда началась эта странная ближневосточная война, он рад был поездке на юг, надеясь смешаться там хоть и с чужими ему, но тоже смуглыми и темноволосыми людьми, которые были заняты своими непонятными делами, но и эти люди остались позади, а они с Таней перебрались еще южнее, и вот сейчас они ехали по самому южному в стране городу, и рядом с ними сидел водитель, коренастый, смуглый человек с кривыми ногами кавалериста, как будто он всю жизнь провел в седле, с короткими волосатыми пальцами, ничем не похожий на Бориса Львовича — "Сичас стадион будэм проезжат" — сказал он так, будто они приближались к Килиманджаро или Ниагарскому водопаду, — "Пэрвый в Европе по велычинэ" — добавил он, подняв вверх указательный палец правой руки, так что казалось, что это уже относилось не к Европе, а ко всему космическому пространству, — "Я уже видел его с самолета" — сухо сказал Борис Львович, стараясь повернуться к водителю так, чтобы тот заметил шрам на шее Бориса Львовича, — миновав стадион, они выехали на улицу, соединявшую нижнюю часть города с верхней — Норартакиром, но тогда Борис Львович еще этого не знал, — жаркая, уходящая куда-то вверх улица, по которой беспрерывным потоком мчались машины, а посередине грохотали трамваи, была застроена домами, сложенными из каменных плит, которые должны были называться цветным туфом, но Борис Львович не был в этом уверен — "Таня! Смотри, цветной туф" — сказал он, повер-

нувшись к жене, — она сидела с хмурым лицом — "Мрачный город, — сказала она, — и я сразу поняла это" — Борис Львович хотел возразить ей и уже придумывал, что бы такое сказать, но вдруг понял, что она права, — что город в самом деле мрачный и что он тоже почувствовал это с самого начала, просто не мог найти подходящего слова, и никакого цветного туфа тоже не было — просто одноцветный, серый камень, как и везде, — он снова нащупал во внутреннем кармане пиджака вчетверо сложенную квитанцию — но вместо нее почему-то попадались то авиабилеты, то десятирублевая бумажка, и сердце его снова проваливалось куда-то — проехав улицу, которая не кончалась, а уходила куда-то еще дальше вверх, они свернули в какую-то боковую улицу — "Прыехали, гостиница" — водитель, не торопясь, вышел из машины и нехотя открыл багажник, словно ему было безразлично, возьмут пассажиры свои вещи или нет, — Борис Львович и Таня, путаясь в вещах, толкая друг друга, ввалились в вестибюль гостиницы, боясь, что они не застанут мест или им откажут — что им тогда делать в этом чужом жарком городе? — в дальнем углу за деревянной полированной конторкой сидел сухощавый корректный человек с усами и при галстуке — дрожащими руками Борис Львович протянул ему бумажку — "Сколько вы здесь будете жить?" — не вставая с места и глядя куда-то в сторону, спросил корректный человек — он говорил с таким немыслимым акцентом, что Борису Львовичу на мгновение даже почудился подвох — "Там все указано" — сказал он; кивнув на бумажку, потому что бумажка была выдана в Москве, и они обязаны были подчиняться центру, и деньги были заплачены за шесть дней вперед, — Борис Львович нетерпеливо и с некоторым вызовом стал постукивать пальцами по конторке, но корректный человек, все так же не глядя на него, протянул гостиничные бланки — его аккуратные черные усы чуть-чуть свисали вниз, он был при галстуке и в темном костюме, но в вестибюле было полутемно и прохладно, и это была его работа, и он, наверное, привык к жаре, так что ничего не было удивительного в том, что на нем был костюм, да еще темный, а кроме того он был сухощавым, а Борис Львович все время потел, особенно когда волновался, и рубашка его прилипла к телу, а со лба на бланки капал пот — против графы "специальность" он написал "доцент", хотя был кандидатом наук, — но "доцент" было понятнее и значительней — администратор, забрав паспорта и попрежнему не глядя ни на Бориса Львовича, ни на бланки, дал ему какой-то квиток — "Третий этаж, триста шестой номер" — сказал

администратор — сумма цифр была, слава богу, не тринадцать, но если подсоединить третий этаж, получалось двенадцать — накануне тринадцати — и могла предстоять неприятность, — и все же Борис Львович почувствовал вдруг необыкновенное успокоение и легкость — в руках у него фактически уже был ключ от номера, сейчас он переоденется и примет душ, а Таня будет раскладывать вещи, а потом они пообедают и пойдут осматривать город — они поднимались по лестнице, нагруженные вещами, задыхаясь от крутого подъема и внезапно охватившей их радости — "Совсем, как на Западе!" — сказал Борис Львович, ступая по мягкой ковровой дорожке, устилавшей лестницу, — "А ты заметил, что он турок?" — сказала Таня, но Борис Львович не сразу понял, о ком идет речь, — "Самый настоящий турок, — настойчиво повторила она, — я сразу поняла это" — и Борис Львович вдруг осознал, что этот корректный администратор с черными свисающими вниз усами действительно был турок — как это он сразу не заметил? — и ему даже показалось, что на голове у администратора была надета феска.

III

С нами Бог

По утрам, когда асфальт на тенистой улице возле гостиницы и земля в сквере, расположенном напротив, были еще влажными, не то от прошедшего ночью дождя, не то от поливки, Борис Львович и Таня направлялись к остановке трамвая или троллейбуса — водитель не включал мотор, а только тормозил на остановках, а потом снова отпускал тормоз — устроившись на скамейке возле открытого окна, они испытывали странную легкость от этого движения под уклон в еще не успевшем раскалиться транспорте, но постепенно вагон наполнялся людьми, бесконечная улица, соединявшая верхнюю часть города с нижней, спиралевидно изгибалась, ввинчиваясь по направлению к центру, словно воронка стадиона, который Борис Львович видел с самолета, и теперь ему казалось, что весь город был похож на большую воронку, люди стояли плотно, сплошной стеной, перебрасываясь друг с другом словами или фразами, состоящими из гортанных звуков, и Борису Львовичу казалось, что они это делают специально, чтобы скрыть от него истинный смысл того, о чем они говорили, или просто, чтобы подразнить его,

— за высокой узорчатой чугунной оградой виднелись серебристые ели, дорожки, посыпанные песком, и клумбы с красными цветами, и водителю уже приходилось включать мотор, потому что уклон кончался и потому что нелегко было сдвинуть с места трамвай или троллейбус, набитый людьми, — от центра было уже недалеко — в глубине парка, между серебристыми елями и еще какими-то другими, незнакомыми, наверное — декоративными деревьями, виднелось тяжеловесно-легкое белое здание с зеркальными окнами и колоннами, а на пустынных аллеях иногда появлялись фигуры деловито спешащих людей в темных костюмах с черными папками в руках — здесь помещались местные органы власти — начальники, сидевшие в отдельных кабинетах с телефонами и секретаршами, были такими же смуглыми и коренастыми людьми, что и ехавшие в одном вагоне с Борисом Львовичем и Таней, речь их тоже, наверное, состояла из таких же гортанных звуков, и Борису Львовичу хотелось в такие минуты жить и работать в этом городе, и разговаривать на этом непонятном языке, и приезжать в белое здание, скрывающееся за декоративными деревьями и серебристыми елями, и пройдя в кабинет плотного смуглого человека с ногами кавалериста, чем-то похожего на водителя такси, который вез их в гостиницу, но только одетого в черный костюм и расхаживающего взад и вперед по навощенному паркету — войдя в кабинет его, обменяться с ним крепким, почти дружеским рукопожатием, усесться по любезному кивку хозяина в кресло, слегка отодвинутое от стола для полуофициальной беседы — после чугунной ограды надо было вставать, чтобы успеть пробраться к выходу — Борис Львович пробивал дорогу, прикрывая Таню, потому что она терпеть не могла, когда кто-нибудь к ней прикасался, и сделала однажды Борису Львовичу замечание, но он никак не мог запомнить, что было оскорбительнее — спереди или сзади — и то и другое казалось ему одинаково оскорбительным, поэтому он шел то спереди, то позади, вплотную, с беспокойством вглядываясь в ее лицо, с которого и в том, и в другом случае не сходило отчужденно-брезгливое выражение, так что Борис Львович все время чувствовал себя виноватым, что он не бросился на обидчика — "На следующей сойдете?" — спрашивал он, интеллигентно поигрывая голосом и стараясь говорить на московский манер, но никто не отвечал, ему просто уступали дорогу, плотнее прижимаясь друг к другу, вместо того, чтобы с поспешной готовностью ответить: "Да, да, конечно", как это делал Борис Львович в Москве, когда его

спрашивали, выходит ли он, — "Бескультурье" — говорила Таня, когда они выходили из вагона, — в Москве она говорила то же самое, когда, распаренные, они вываливались из какого-нибудь транспорта, и Борис Львович тоже говорил: "Бескультурье" — хотя где-то в глубине души он позволял себе оставаться при своем особом мнении не то насчет народа, едущего в транспорте, не то насчет Тани — здесь же он мог позволить себе даже подтолкнуть кого-нибудь плечом, потому что вокруг были почти такие же лица, как у него, даже еще более черноволосые и кроме того смуглые, но никто не замечал этого сходства — просто ему уступали дорогу, и только один раз кто-то стоявший позади него спросил что-то на своем непонятном наречии — "Да, да, выхожу" — с готовностью закивал Борис Львович, выдав себя с головой и в то же время ощутив превосходство столичного жителя над провинциалом, но сзади уже все поняли и стали что-то объяснять спрашивавшему или обсуждать какую-то проблему, — Борис Львович чувствовал себя так, будто он находится на самом краю пляжа, барахтаясь в прибрежной воде, а вдалеке до самого горизонта и за ним простирается синяя выпуклость моря, и на этой выпуклости непонятным образом удерживаются корабли, и даже страшно подумать, какая глубина там, и он, Борис Львович, присаживается на корточки, подставляя спину волне, а когда она набегает на него, он принимается грести руками, делая вид, что плавает — "Паршивый город" — говорила Таня, когда, выйдя из автобуса или трамвая, они направлялись куда-нибудь в экскурсионное бюро или на почту — Борис Львович то и дело обращался к встречным за разъяснениями — с трудом подбирая слова, они что-то говорили ему и показывали пальцем, сначала в одну сторону, потом — в противоположную, а Таня, с отчужденным видом отойдя в сторону, как будто она даже не была знакома с Борисом Львовичем, разворачивала карту города — "Плюнь ты на эту карту! Вот люди говорят, лучше послушай!" — кричал ей Борис Львович, не очень надеясь на свою понятливость и боясь, что ее сейчас кто-нибудь толкнет или заденет, и он будет чувствовать себя виноватым или даже опозоренным — они плутали по каким-то жарким улицам с высокими домами, завешанными сверху донизу бельем, словно обитатели их хотели защитить себя от палящего солнца, на развилке трех улиц скрежетали на повороте трамваи, в гастрономе, занимавшем собой весь первый этаж какого-то длинного здания, пахло кофе и лежалым мясом, местные жители перекидывались с продавцами какими-то фразами, словно со старыми

знакомыми, наверное, выясняя, когда подвезут какой-нибудь дефицитный продукт, а, может быть, обсуждая последние футбольные новости или болезнь двоюродной сестры, — толстая кассирша с лоснящимся от пота лицом и с огромными серьгами в ушах орала на какую-то цыганку, у которой в ушах тоже были серьги, только похожие на монеты, — цыганка тоже кричала ей что-то в ответ, а, может быть, наоборот — на секунду Борис Львович чувствовал себя почти арийцем, но кассирша и цыганка неожиданно переставали браниться и уже беседовали, как закадычные подруги, — каждый раз они выходили к этому длинному зданию с гастрономом, а почта или экскурсионное бюро оставались где-то в стороне — Таня всматривалась в таблички с названиями улиц — большинство надписей состояло из шпилек и рыболовных крючков, — Таня разворачивала карту, а Борис Львович останавливал прохожих, и они что-то показывали ему руками, как глухонемому, а он в ответ тоже жестикулировал и громко говорил, как будто те сами были глухими, — поднимавшийся иногда ветер шуршал обрывками газетной бумаги по асфальту — "Паршивый город" — говорила Таня, идя рядом с ним, — "Они же не понимают" — пытался вступиться Борис Львович — "Ничего, — говорила Таня, странно озлобляясь, — то, что им надо, они очень хорошо понимают", — и Борис Львович пытался вспомнить какой-нибудь соответствующий эпизод, но ему это не удавалось, — "Лингвистическая пустота" — неожиданно говорила Таня, повторяя фразу, которую они прочли недавно в одном письме "оттуда", и лицо ее принимало задумчивое и даже поэтическое выражение, как будто она декламировала Пушкина, которого хорошо помнила еще со школьной скамьи, — "Вот так вот *там,* представляешь себе?" — говорила она почти шепотом, сузив свои и без того узкие, по-татарски, глаза, словно прозревая нечто сквозь туманные дали и расстояния, — "Нет, все-таки я люблю свою старушку-Москву, эх, черт подери!" — добавляла она, как будто собиралась сейчас пуститься в пляс, и в ее полной фигуре и в светлоглазом широкоскулом лице появлялось что-то купеческое — руки в боки и танцуй, эх, ма! пропадай все пропадом! — в такие минуты Борис Львович сам начинал верить в ее скифское происхождение, и эта мнимая генеалогия перепадала даже на него — входя вместе с ней в церковь, он с достоинством и даже с негодованием отвергал неприязненные взгляды, сопровождавшие его, и точно так же он чувствовал себя, находясь с ней в общественном транспорте или в магазине — в конце концов, они выходили к экскурсионному

бюро, или к почте, или к авиакассам, а потом ехали осматривать какие-нибудь достопримечательности. Таня держалась в стороне, углубившись в очередную туристскую схему или путеводитель, а Борис Львович с двумя фотоаппаратами в руках, одним — для цветной, другим — для черно-белой пленки, метался между Таней и туристами, столпившимися вокруг экскурсовода, — у Тани в сумке были запасные объективы, и, кроме того, ему хотелось, чтобы она слушала, что говорил экскурсовод, потому что она хорошо запоминала такие вещи, — экскурсовод, молодой стройный парень со смуглым лицом, наверное, еще новичок, говорил увлеченно — сложив в щепоть пальцы правой руки, будто что-то солил или перчил, он ввинчивал эту щепоть куда-то вверх, в небо, и белки его глаз становились желтоватыми, как у цыгана, — он рассказывал, как конница его народа под предводительством очередного царя наголову разбила самих римлян — лихие кавалеристы, впившись кривыми ногами в брюхо лошади, словно желая пропороть его, мчались по Аппиевой дороге, низко пригнувшись, рассекая кривыми саблями воздух, и среди них мчался смуглый, стройный воин с желтоватыми белками — одной рукой он выхватывал саблю из ножен, другая рука его была поднята вверх, а пальцы сложены в щепоть, которую он ввинчивал в небо, — наверное, это был воинственный жест, — остальные всадники следовали его примеру, — и вот, окутанная клубами пыли, сметая все на своем пути, армянская конница врывалась в древний город и текла по его улицам через белую триумфальную арку, сооруженную в честь победы над предками Бориса Львовича — под этой аркой в позорном шествии, молча, склонив голову, шел Иосиф Флавий — а теперь лихие кавалеристы с оголенными кривыми саблями текли и текли сквозь эти белые, слепящие под солнцем каменные ворота — парень уже второй раз рассказывал об этом — первый раз в автобусе, и Таня еще тогда шепнула Борису Львовичу: "Что он чепуху говорит? в плен взяли именно армянского царя — помнишь, у Фейхтвангера?" — Борис Львович, увлекавшийся в последнее время Фейхтвангером, имел обыкновение читать Тане вслух перед сном — обычно Таня закрывала уши, мотала головой или начинала читать вслух газету — какие-нибудь курьезы из жизни великих людей или про находку какого-нибудь клада или картины, и тогда Борис Львович замолкал — но Фейхтвангера она неожиданно для Бориса Львовича стала слушать, и он старался как можно больше прочесть ей до того, как она заснет — он торопился, глотал слова — Таня лежала, от-

крыв глаза, голос его становился хриплым, садился, а она все еще не спала — "Ну, дальше" — говорила она, когда он на минуту замолкал, чтобы отдохнуть — "По-моему, это был парфянский царь, а не армянский" — сказал Борис Львович, который помнил, как перед императорской ложей провели пленного парфянского царя с золотой саблей, которую он сложил у ног императора, — "Нет, именно армянский, — убежденно сказала Таня, — это совершенно точно, а экскурсовод нагло врет, и еще неизвестно, случайно ли это" — Борис Львович попытался представить себе пленного армянского царя, но почему-то ему все равно казалось, что это был парфянский царь или, в крайнем случае, иранский, — но его доверие к экскурсоводу все-таки пошатнулось, а кроме того ему почему-то хотелось, чтобы этот царь оказался армянским, — Таня стояла в стороне, с отрешенным видом изучая путеводитель, — но развалины крепости, которые они сейчас осматривали, действительно были древними — серые, нагретые солнцем, шершавые камни, некоторые с полустершейся клинописью, и такие же серые колонны с обломанным верхом, напоминающие старые надгробные памятники, а между ними синее небо, почти как на картинах Леонардо да Винчи, — "Таня! пятьсот лет до нашей эры! представляешь себе!" — кричал Борис Львович жене, разрываясь между ней и туристами, передвигавшимися вслед за экскурсоводом по каменистым уступам древнего храма, пытаясь не упустить того, что говорил экскурсовод и одновременно найти самую выгодную точку для съемки — "Почти библейский пейзаж! Смотри!" — кричал он, опустившись на одно колено и отклонившись назад корпусом, почти теряя равновесие, чтобы в объектив вошли две колонны крупным планом, остальные — в перспективе, помельче, и синее небо с двумя серебристыми вершинами, сопровождавшими их во все время пути, словно луна или солнечный шар, и не таявшими, несмотря на послеполуденное время, — наверное, здесь было другое освещение и, кроме того, сами эти вершины, как следовало из карты, на которой все, что за пределами государственной границы, было просто белым, как чистая бумага или Антарктида, и обозначались только самые важные географические точки, без которых уже нельзя было обойтись, — сами эти вершины были отсюда гораздо ближе, чем от гостиницы, в которой они остановились, — если пристально вглядеться, можно было разглядеть, что вершины эти имеют форму конусов и покрыты снегом — снег был нетронутым — тень от ближнего, более высокого конуса, падала на меньший, в тени находилась также часть

большего конуса, обращенная к седловине, а дальше она вообще была не видна, как обратная сторона луны, — конусы эти уже не висели в воздухе, как казалось с балкона гостиницы, а завершали собой громадную гору, контуры которой проглядывались сквозь зыбкую сизую дымку — подошва горы переходила в плоскогорье, и плоскогорье тоже тонуло в дымке, но Борису Львовичу чудилось, что до горы совсем близко, — стоит только пересечь плоскогорье, которое почему-то представлялось ему черной, вспаханной землей, — и казалось странным и неправдоподобным, что и эта гора, и примыкающая к ней часть плоскогорья — чужие и что где-то там, в дымке, прячется колючая проволока, обозначающая собой государственную границу, все это было условностью, потому что по обе стороны проволоки земля была одна и та же, черная, вспаханная, состоящая из тех же молекул и атомов, — но почему-то там, за невидимой проволокой, можно говорить и делать то, чего нельзя говорить и делать здесь, — а может быть эта проволока с колючими шипами существовала только в его воображении и можно было спокойно, не оглядываясь, пойти по этому черному, вспаханному полю, растворившись в заволакивающей его дымке, — и от этого еще более неправдоподобной казалась нетронутость снега, покрывающего вершины горы, — Борис Львович вдруг представил себе, что где-то там, на самой вершине располагаются наблюдатели и артиллерийский расчет, может быть даже с ракетными установками — сильные, широкоплечие бородатые люди с лицами, покрытыми золотистым загаром от высокогорного солнца, чем-то напоминающие героев Жюля Верна, днем и ночью зорко следят за всем происходящим по эту сторону колючей проволоки — они протягивают руку Борису Львовичу и Тане, карабкающимся по обледенелым камням и уступам, и вот они уже среди этих бородатых людей — их обогревают, поят и кормят, словно потерпевших кораблекрушение, — эти люди прибывают сюда самолетами, откуда-то издалека, из-за океана, партиями, сменяющими друг друга, словно зимовщики на какой-нибудь полярной станции, — Борис Львович хочет рассказать им все о себе — как он прячет свое лицо и как боится сказать вслух то, о чем даже дома решается говорить только шепотом — но они уже все знают — у них открытые, энергичные лица, золотисто-рыжие бороды и светлые глаза — и к горлу Бориса Львовича подкатывает какой-то сладковато-горький ком — но они уже возвращались в автобусе вниз, и смуглый парень-экскурсовод, стоя возле кабины водителя с микрофоном в одной руке, а пальцы дру-

гой складывая в щепоть и ввинчивая их в автобусную крышу, рассказывает, что на гору восходили всего лишь дважды — второй раз это была американская экспедиция, искавшая остатки Ноева ковчега, — Борис Львович вдруг вспомнил, как много лет назад в газете появилась статья об этой экспедиции — там говорилось, что она преследовала шпионские цели, прикрывая их всякими библейскими сказками — сказки эти всячески обыгрывались, так что статья скорее напоминала фельетон и Борису Львовичу даже показалась остроумной, — читая ее, он почему-то вспомнил фразу: "На горе Арарат растет красный виноград", — слышанную им в детстве — позднее, во время войны, звук "р" в этой фразе старались произносить раскатисто: "р-р", но в некоторых случаях эта раскатистость невольно переходила в картавость, и Борису Львовичу тут же припомнились рассказы, будто немцы на оккупированных территориях заставляли детей произносить эту фразу, чтобы выяснить их происхождение, — у него самого эта фраза всегда звучала раскатисто и красиво, хотя при желании он мог произнести ее и картаво — получалась даже некая пародия на картавость — но все равно немцы бы его не пощадили, потому что достаточно было просто взглянуть на его лицо, — кто-то спросил экскурсовода, что нашла экспедиция, а когда он ответил, что ничего, никто не удивился, как будто речь шла о раскопках какого-то древнего города, о существовании которого было все равно доподлинно известно, — дорога, по которой ехал автобус, низкие каменные дома и изгороди, мелькавшие за окном, плоскогорье, простиравшееся по обе стороны, город, видневшийся вдалеке на возвышенности и тонувший в дымке, которая рассеивалась лишь на склонах, покрытых зеленью, среди которой возвышались белые скульптуры не то скорбящих матерей, не то воинов, не то космических кораблей, — все это внезапно покрылось хлынувшей откуда-то водой — из нее выступали лишь два серебристых конуса, но вот и они исчезли — теперь водой было покрыто все до самого горизонта, но и там, за горизонтом, тоже была вода — океан покрыл всю землю, и на его необозримой, пустынной поверхности медленно покачивался на волнах небольшой ящик, похожий на сундук, — сидевший в ящике человек встал, пробив головой крышу, словно царевич из "Сказки о царе Салтане", — человек был наг, с его седой бороды, похожей на сросшиеся ледяные сосульки, стекала зелеными струями вода, — да и сам он тоже как бы состоял из воды, зеленой, как стекло, — из ящика через выбитую крышу, вспорхнув, вылетели какие-то диковинные, похожие

на археоптериксов, птицы и скрылись где-то за горизонтом — седобородый великан, вышедший из зеленой воды, уже стоял на берегу, возле могучего дуба, рядом с ним стояли три его сына, старший, средний и младший, — они послушно двинулись вслед за ним — но когда старик, утомившись, уснул в тени раскидистого дерева, один из сыновей, — средний, — не прикрыл его ног и со смехом рассказал об этом своим братьям — в первый же раз на гору восходили еще в прошлом веке — какой-то местный ученый и исследователь, именем которого называлась теперь одна из улиц города, — через несколько лет после восхождения ученый бесследно исчез — вышел из дому и не вернулся, — так что гибель его была окружена какими-то таинственными обстоятельствами, — "Наверное, попытался второй раз взобраться на гору", — сказала Таня, проявившая неожиданный интерес к рассказу экскурсовода, — "Я даже в этом совершенно уверена", — добавила она и, покосившись в сторону горы, неотступно следовавшей за ними, сказала: "И вообще все это не случайно" — и Борис Львович удивился, как это ему самому не пришло в голову, — ему даже показалось, что он подумал об этом еще до Таниных слов, — из двухэтажного деревянного дома, расположенного на самой окраине города, глухой ночью, осторожно отворив дверь, вышел человек в дорожной одежде, с походным мешком за плечами и с палкой в руке — человек был слеп, потому что однажды он уже пытался взобраться на гору, а может быть просто стояла непроглядная тьма, — дойдя до каменной ограды, окружавшей дом, он пошел вдоль нее ощупью, выставив вперед палку, — добравшись до калитки, он обернулся, бросив последний взгляд в сторону покинутого спящего дома, который теперь сливался с темнотой, и выбрасывая вперед палку, быстро зашагал по узкой знакомой тропинке, — автобус остановился возле серых каменных ворот — это была резиденция местной церковной власти — и такой же серой была видневшаяся в конце длинной аллеи церковь — даже не церковь, а силуэт ее, потому что солнце уже приближалось к закату и находилось по ту сторону церкви, освещая ее контрастным светом, так что и колокольня, и купола казались окруженными золотым нимбом, — экскурсанты ушли по аллее далеко вперед, а Борис Львович, вывинчивая и меняя объективы, все ронял их на землю, припадая то на одно колено, то на другое и призывая Таню, которая шла какой-то боковой дорожкой, — он метался от одного края аллеи к другому, потому что неизвестно было, дойдут ли они до той стороны церкви, чтобы ее можно было

снять при нормальном освещении, и не сядет ли к этому времени солнце окончательно, а силуэт церкви с нимбом — это даже по-своему интересно, — маленькая фигурка человека в дорожной одежде, опиравшегося на палку и протянувшего вперед руку с растопыренными пальцами, карабкалась по крутому склону горы — над ней все так же недоступно близко белели нетронутые снега главного конуса, словно не было позади многих дней пути по скалам, поросшим чахлым кустарником и мхом — на скамейке возле клумбы, чуть в стороне от аллеи, беседовали три или четыре священника в черной одежде, седобородые, с розовыми лицами и, как почему-то показалось Борису Львовичу, в черных цилиндрах — "Умоляю тебя, сними эту сцену!" — подбежала к нему Таня — собственно потому-то он их и заметил — точно так же она останавливалась возле каждой собаки, которая им встречалась, — "Умоляю тебя, посмотри!" — говорила она, а если собачка была небольшая, брала ее на руки и принималась тискать, — больших же собак она лишь осторожно поглаживала, приговаривая: "Ух, какие мы", но все-таки чувствовалось при этом, что она едва сдерживает себя, чтобы и их не взять на руки и не потискать возле ушей, — Борис Львович всегда в таких случаях пытался увести ее или стоял в стороне с непричастным видом, потому что боялся неприятностей с владельцами собак, а кроме того собака могла укусить, и тогда пришлось бы ждать тридцать или даже сорок дней, чтобы выяснить, не бешеная ли она, — некоторые из собак, которых тискала Таня, были бесхозными, да еще в чужом городе — "Ничего не получится против солнца", — сказал он, хотя солнце было не за спинами сидящих, а за церковью, — но он и тут боялся неприятностей, — "Вот этот, — сказала Таня, кивнув в сторону одного из священников, — наверное, он самый главный. Я даже в этом совершенно уверена", — "Каталикос армянской церкви", — добавила она таким же тоном, каким произносила: "Лорд Биконсфильд" или "Лоскутная империя" — по боковым аллеям бегали дети, возле одного из монастырских зданий сидел художник с мольбертом, и Борис Львович снял его со спины, вместе с полотном, на котором уже вырисовывались контуры монастырского здания, — в Москве он всегда старательно обходил стороной узкий пустынный кривой переулок, поднимавшийся чуть вверх, соединяя две старые оживленные московские улицы, — по левой стороне переулка, если подниматься по нему вверх, как раз там, где он сгибался в виде колена, сразу же за этим коленом, находилось здание с колоннами и с трехугольной

крышей — к колоннам вели широкие ступени, почти как в Большом театре, да и само оно чем-то напоминало здание оперы, но ни цвета его, ни других подробностей Борис Львович не мог вспомнить, потому что всего один или два раза пробегал по этому переулку, попав туда случайно и только потом сообразив, что это был *тот самый* переулок, — поворачивать обратно уже было поздно, — он шел быстрым шагом, почти бежал, прижимаясь к стенам домов противоположной стороны, полузакрыв глаза и пригнув голову, чтобы случайно не взглянуть на здание с колоннами, — пустынный переулок просматривался насквозь, а на оживленных улицах, которые он собой соединял, стояли милиционеры, — Борис Львович не поднимал глаз, пока не выскакивал на оживленную улицу и сливался с толпой, — однажды, вскоре после смерти отца, в осенний вечер, когда сквозь пелену дождя и тумана, где-то высоко, не рассеивая тьмы переулка, светились фонари, они с Таней проскользнули через дверь за колоннами — внутри оказалось светло, в двух или трех комнатах, примыкавших к коридору, за длинными непокрытыми столами сидели старики, похожие на дальних родственников отца, в черных ермолках и с бородами — одни сидели, другие ходили, кто-то из них записывал что-то в конторскую книгу, старики собирались небольшими группами и о чем-то беседовали и так же, как у отца и его дальних родственников, среди непонятных выражений у них вырывались отдельные знакомые слова и даже фразы, — Борису Львовичу казалось, что они заключают между собой какую-то сделку, — они с Таней поднялись наверх, потому что женщинам не полагалось находиться внизу, — там были ряды кресел, как в театре, и они уселись поближе к перилам — внизу, под ними, стояли люди, а где-то впереди, как и должно было быть в театре, помещалось возвышение, нечто вроде сцены или эстрады, и там тоже, кажется, находились люди, а на противоположном балконе, почти над самой сценой, сидела женщина в белом платье с высокой прической, и все поглядывали на нее и перешептывались — это была не то жена посла, не то сам посол, сообщила ему Таня, но он так и не запомнил, кто же все-таки была эта дама, — "Смотри, какое на ней платье!" — восхищалась Таня — был какой-то праздник — не то новый год, не то какой-то очередной исход — под потолком ярко горели люстры, пел хор, и среди этого хора выделялся один высокий голос, тенор, и это тоже усиливало сходство с театром, но ни хора, ни обладателя тенора не было видно, так что так и осталось непонятным, кто же все-таки пел, но музыка была мелодичной, как

в итальянской опере, — "Почти, как в церкви", — сказала Таня, и Борис Львович тоже отметил это про себя, — его это удивило, потому что он считал, что здесь должны завывать на восточный манер, — и вообще он пришел сюда, чтобы отдать дань памяти отца, — Таня сказала, что так надо, — вокруг них сидели люди, мужчины и женщины, — "Здесь много русских, — сказала Таня, — особенно женщин, приходят просто послушать", — хор и тенор продолжали свою итальянскую арию — это было давно — выйдя оттуда, Борис Львович с удовольствием вдохнул сырой осенний воздух — маленькая человеческая фигурка поднималась все выше и выше, карабкаясь по скалам, скользя по обледенелым уступам, протянув руки вперед, куда-то по направлению к невидимой снеговой вершине — человек был слеп — оттуда, сверху, ему протягивали руки, но он их не видел — обросшие рыжими бородами зимовщики, с золотистыми от загара лицами и со спокойными скандинавскими глазами устремились навстречу слепому — в дороге он потерял свою палку, и она медленно скользила теперь вниз, ненадолго задерживаясь на пологих местах, а затем снова продолжая свое неуклонное падение — зимовщики подхватили под руки обессилевшего слепого человека, — и этот человек был Борис Львович, — а нагой седобородый старец со своими тремя сыновьями, старшим, средним и младшим, все продолжали свой путь вглубь каменистой страны, над их головами летели выпущенные ими птицы, то исчезая куда-то, то снова появляясь, — неясно, кто кому указывал дорогу, — средний сын, не укрывший ног отца, когда тот спал, шел впереди всех — не он ли вел остальных? — в полутемной церкви, превращенной в музей, толпились экскурсанты, задрав кверху головы и приоткрыв от напряжения рты, чтобы рассмотреть древнюю роспись на стенах купола, — потускневшие фрески скупо освещались предзакатным светом, проникавшим через узкие прорези, — особенно трудно было рассмотреть изображения, помещавшиеся под самой крышей купола — парящие в облаках ангелы с трубами, темные лица святых, окруженные померкнувшим нимбом, изображения божьей матери с непропорционально маленьким младенцем,словно он был еще эмбрионом или родился недоношенным, — снимать надо было с выдержкой от руки, и Борис Львович долго прицеливался, стараясь застыть в неподвижной позе, но его то и дело задевали — в музее собрались почти все экскурсанты, приехавшие осматривать резиденцию, — городские экскурсоводы, словно по негласному джентльменскому соглашению, уступили свое место экскурсоводам музея,

оставшись где-то на улице и с привычной терпеливостью дожидаясь возвращения своих групп, — пришедшие толпились возле тяжелых с золотой резьбой двухстворчатых дверей, похожих на царские врата, — туда пускали партиями, и экскурсоводы музея туда почему-то уже не входили, а только стыдливо напутствовали, что там полагается дать на ремонт храма, словно и они сами, и экскурсанты отлично понимали друг друга, но что делать? — приходилось считаться с традициями верующих, — опустив руку в карман, Борис Львович зажал в кулаке несколько монет, словно это был входной билет, и он заранее готовился предъявить его, Таня тоже полезла в сумочку, но неясно было, должен ли каждый из них платить за себя в отдельности или мог дать кто-нибудь один и там бы поняли, что это один за двоих, — за дверью все было ярко освещено, горели люстры, было душно — пахло не то воском от натертого паркета, не то ладаном — между инкрустированными столами и стеклянными шкафами, которыми были заставлены обе комнаты, медленной вереницей двигались люди — под двойными стеклами, отсвечивая серебром, золотом и перламутром, лежали, стояли и висели жемчуга, браслеты, броши, иконы, кресты, какое-то древнее оружие — не то секиры, не то алебарды, парчевые одеяния, малиново-красные митры, усыпанные драгоценными камнями, старинные книги в тяжелых серебряных переплетах — люди наклонялись над столами, заложив руки за спину, будто их связали, приближая лица к стеклам шкафов, вплотную, почти расплющивая носы, — между экскурсантами ходил служка в длинном одеянии с деревянным ящиком в руках — люди стыдливо опускали в прорезь ящика монеты, как будто совершали нечто незаконное, — Борис Львович и Таня тоже опустили монеты — когда они их опускали, человек, державший ящик, на секунду прикрыл веки, что должно было выражать не то смущение, не то благодарность, — наибольшее же число экскурсантов толпилось вокруг высокого чернобородого человека с иссиня-черными глазами и небольшой горбинкой на носу, что придавало его лицу высокомерное выражение — держа в руке указку, он давал пояснения, глядя куда-то поверх голов, — он стоял так, что ему было видно все, что происходило во второй комнате, где посетители такой же вереницей проходили между столами и шкафами с драгоценностями — ни на минуту не упуская из виду этой комнаты, он концом указки на короткое мгновение касался стекла, словно и не рассчитывал на понимание слушавших его, — указку он держал левой рукой, а длинными пальцами правой перебирал серебряную

цепочку, висевшую у него на груди, — во время пауз, рассчитанных на то, чтобы посетители могли осмотреть экспонат, о котором он только что рассказывал, люди безмолвно наползали друг на друга, обдавая затылки впереди стоящих горячим дыханием, поднимаясь на цыпочки, вытягивая шеи, чтобы лучше рассмотреть, — "Ноев ковчег", — послышалось среди посетителей, обступивших один из шкафов — фраза передавалась из уст в уста — Борис Львович, поднявшись на цыпочки, тоже попытался рассмотреть, но люди стояли плотной стеной — когда они схлынули, перейдя к очередному экспонату, Борис Львович с бьющимся сердцем, еще ничего не видя, открыл фотоаппарат — "Нельзя, нельзя", — услышал он вокруг себя, — кто-то из посетителей даже потянул его за рукав, показывая на высокого бородатого человека в черной сутане, — отняв руку от креста, висевшего на груди, он сделал ею властное, запрещающее движение, которое относилось именно к нему, к Борису Львовичу, — кусочек деревянной доски, просмоленной, с трещинами, взятый под стекло в золоченой оправе, словно картина Леонардо да Винчи или Рафаэля, оказался вдруг перед самыми его глазами — именно таким он себе его и представлял: куском мореного дуба, маленьким обломком кораблекрушения, — нагой старик с длинной седой бородой, похожей не то на сосульки, не то на струи воды, и три его сына, старший, средний и младший, продолжали свой путь вглубь незнакомой страны, останавливаясь на ночлег под развесистыми зелеными дубами, днем же идя по скудно поросшей равнине, опаляемой жарким солнцем, — средний сын, некогда не укрывший ног отца, шел теперь позади всех — сыновья были наги, как и их отец, — эти люди были предками Бориса Львовича и всех людей вообще, но предки Бориса Львовича первыми рассказали об этом в своих священных книгах — бородатый человек с иссиня-черными глазами, в длинной черной мантии, для которого Борис Львович был лишь одним из тысячи безликих посетителей, приезжавших сюда ежедневно на экскурсионных автобусах, чтобы удовлетворить свое праздное любопытство, этот суровый человек, глядящий куда-то поверх голов, тоже узнал об этом из священных книг, написанных рукою предков Бориса Львовича, — эти книги в толстых кожаных переплетах наверное стояли в его кабинете — почему-то и нагой старик, и три его сына оставались какими-то бесплотными — старик весь состоял из зеленой морской воды, и его борода была похожа на водоросли, тела же его сыновей были прозрачны и не имели очертаний, — а маленькая фигурка слепого человека, который но-

чью покинул свой дом, все так же карабкалась вверх, к главному серебристому конусу, цепляясь руками за обледеневшие выступы, оступаясь и соскальзывая, — никаких зимовщиков там не было — просто нетронутые, слепящие солнцем снега, уходящие в высоту, от которой захватывало дух, — плечи человека оттягивал все тот же дорожный мешок, похожий на рюкзак, и одежда на нем напоминала костюм альпиниста — палка, которую он выронил, продолжала свое медленное и неуклонное скольжение вниз, а из ворот двухэтажного дома, стоявшего на окраине города, вышла пожилая женщина, закутанная в черный платок, прошла несколько шагов по тропинке и, остановившись, простерла руки к повисшим в небе снежным конусам, а потом, упав на колени, стала молиться, попеременно прикладывая ладони ко лбу, словно желая удостовериться, нет ли у нее температуры, шепча что-то губами на непонятном Борису Львовичу языке, — чуть повыше и левее деревянного обломка, сохранившегося после гигантского кораблекрушения, тоже под стеклом в широкой золоченой оправе висело проржавевшее копье, вернее даже не копье, а только наконечник его — этим наконечником один из римских легионеров дотронулся до втянутого подреберья распятого человека, чтобы убедиться, жив ли он, — воины стояли плотной стеной вокруг места казни, на них были латы и каски, похожие на немецкие, и отдавая рапорт начальству или приветствуя друг друга, они выбрасывали вперед руку с поднятой вверх ладонью, словно загораживаясь ею от солнца, — человек был еще жив, потому что по мышцам его живота, в том месте, где их коснулся наконечник, пробежала судорога, как у находящегося на операционном столе, когда до его тела дотрагиваются скальпелем, — он медленно открыл обведенные черными кругами, глубоко запавшие глаза, и с его распухших век лениво поднялось несколько слепней, но они не улетали, а вились возле его лица, потому что знали, что человек сейчас снова опустит веки, — глаза его уже не различали того, что происходило вокруг него на площадке, расположенной на высоком голом холме, — тело его безвольно свисало, как мешок, удерживаясь на руках, прибитых гвоздями к поперечной перекладине, а под ребрами справа у него была рана, похожая на губку, из которой сочилась кровь, — наверное, ржавое копье прокололо его мышцы и достигло печени — потому-то и рана была похожа на губку — взгляд его еле улавливал очертания храма и города, раскинувшегося на холмах и окутанного сизой дымкой, — теперь даже вьющиеся вокруг слепни не разрывали пелены, за-

стилавшей глаза умирающего, но сквозь эту пелену он вдруг явственно увидел черные дымы, выходившие из высоких труб, — дымы эти казались приклеенными к трубам, словно черные флаги, едва колеблемые ветром, — из бесшумно подходивших среди ночи составов вываливались люди с желтыми нашивками на груди, с добротными кожаными чемоданами и саквояжами, в которых аккуратно и заботливо были уложены пледы, костюмы, теплое белье, приятно пахнувшее мыло и зубные щетки в пластмассовых футлярах, — ведя за руку аккуратно одетых детей, они бесшумно проходили мимо стоящих сомкнутым строем по обе стороны асфальтированной дороги солдат в длинных черных шинелях с примкнутыми штыками и в тяжелых касках, словно это был почетный караул, встречавший высоких гостей, — вероятно, закон переселения на новые места предусматривал охрану — позади каждой колонны шел одетый в такую же черную шинель человек, только не в каске, а в высокой фуражке с гербом и с лакированным козырьком, в портупее и с пистолетом на боку — чуть поотстав от колонны и на секунду остановившись, он бросал несколько коротких, отрывистых слов застывшим в почетном карауле солдатам — выйдя печатным шагом из строя, двое или трое солдат останавливались перед ним, выбросив вперед правую руку с поднятой вверх ладонью, точно так же, как это только что делали воины в шлемах, окружавшие место казни, — офицер в высокой фуражке с околышем отвечал им таким же коротким, отрывистым жестом, — отступив в сторону, он пропускал солдат перед собой — догнав колонну, они подталкивали прикладами тех, что отставали — наверное, так полагалось, потому что прибывших было много и до утра надо было успеть всех их разместить по квартирам, чтобы солдаты тоже смогли отдохнуть, — шедшие в колонне убыстряли шаг и многие брали детей на руки, потому что дети не поспевали за взрослыми, — в ожидании ордеров на квартиры новоприбывших вводили в просторное помещение барачного типа, где они располагались семьями на длинных деревянных скамьях, стоявших вдоль стен, — некоторые, достав из саквояжей термосы с еще не остывшим кофе, наливали его детям в пластмассовые чашки, какая-то женщина, вынув карманное зеркало, исподтишка оглядывала себя, поправляя волосы, — под самым потолком, на металлических тросах, словно в цирке, ярко горели зарешеченные электрические лампы — в помещение входил офицер в сопровождении нескольких солдат — они стояли посередине, солдаты чуть позади в своих черных длинных шинелях и в касках, с

автоматами на перевес, и это всех удивило, потому что никто ведь и не собирался отсюда бежать, — люди думали лишь о том, как бы поскорее устроиться на ночь — офицер стоял, расставив ноги в ярко начищенных хромовых сапогах, чуть покачиваясь на каблуках, перетянутый в талии поясом с металлической бляхой, на которой были выгравированы какие-то слова, — такие же слова были выгравированы на бляхах стоявших позади солдат, но на расстоянии трудно было различить буквы, высоким, отрывистым голосом он что-то сказал сотням людей, с напряженным ожиданием смотревшим на него, — язык, на котором он говорил, был их родным языком, они говорили на нем с детства, их родители тоже говорили на этом языке, и их любимые стихи тоже были написаны на этом языке, и может быть поэтому они не сразу поняли то, что приказал им подтянутый человек в начищенных до блеска хромовых сапогах, — ну, конечно же, после дороги необходимо помыться — их наверное сейчас поведут в баню — открыв чемоданы и саквояжи, они принялись доставать оттуда душистое мыло и смену белья, — но, наверное, они все-таки неточно поняли приказ офицера, потому что ему пришлось еще раз повторить — и они стали раздеваться прямо здесь, на глазах друг у друга — наверное, так было проще и быстрее, — белье и мыло тоже не нужно было брать с собой — сняв верхние рубашки, мужчины аккуратно складывали их в чемоданы, — женщины раздевали детей, а потом, повернувшись к стене, стали расстегивать пуговицы и молнии на платьях — офицер с пистолетом на боку все так же нетерпеливо покачивался на каблуках — под потолком ярко горели зарешеченные электрические лампы — мужчины и женщины стояли в нижнем белье, отвернувшись друг от друга, и почему-то медлили, круглое карманное зеркало, упав на цементный пол, закатилось куда-то, женщина нашла его — оно, к счастью, не разбилось, и она положила его в чемодан, чтобы больше не ронять, — только дети совсем уже раздетые или в одних лифчиках с болтающимися подвязками, прижавшись к ногам матерей, с любопытством поглядывали на взрослых — офицер, стоявший посередине помещения, снова произнес слова команды высоким, срывающимся голосом, словно рассекая воздух ударом хлыста, как это делают дрессировщики в цирке, чтобы поднять лошадей, улегшихся вдоль барьера, — путаясь в бретельках и тесемках, мужчины и женщины стали снимать с себя нижнее белье, все еще по-прежнему отворачиваясь друг от друга, но тела их почему-то вдруг стала сотрясать мелкая неуемная дрожь, — они стояли голые — еще час

назад в поезде мужчины извинялись перед дамами, столкнувшись с ними в дверях туалета, и женщины, проскользнув мимо них, плотно запахивали полы своего халата — теперь они стояли голые, уже не стыдясь друг друга, как будто это было вполне естественно, и только тела их сотрясала дрожь, потому что смысл совершающегося плоть их осознала раньше, чем разум, — женщины стояли, чуть согнувшись и скрестив руки на груди, как они это делают, стоя под душем, мужчины — сложив руки ниже живота, но все равно было видно, что все они обрезаны, точно так же, как Борис Львович и как тот, умирающий, пригвожденный к кресту человек — солдаты, стоявшие позади офицера, казалось, только ждали этого момента — орудуя прикладами, они стали сгонять голых людей в одну кучу, поближе к двери — металлические бляхи их поясов приходились теперь как раз на уровне детских глаз, и дети, уже умевшие читать, различили, наконец, слова, выгравированные на бляхах знакомым готическим шрифтом: "Gott mit uns" — голых людей гнали теперь по узкому проулку между двумя высокими каменными заборами с натянутыми поверху несколькими рядами колючей проволоки — редкий декабрьский снежок таял на плечах и спинах шедших людей, освещаемых скрещенными снопами прожекторов, — узкий проулок упирался в каменную стену какого-то дома с двумя высокими трубами, из которых валил черный дым, — даже на фоне ночного неба было видно, что он черный, — ну, конечно же, их вели в баню, — важно было только побыстрей пройти этот проулок, чтобы не простудиться, — женщины и мужчины брали на руки детей, прижимая их к себе, чтобы те не простыли, и все это шествие было похоже на исход, каким его обычно изображают на картинах, только там и мужчины и женщины были закутаны в какие-то одеяния и лишь дети, как всегда, были голыми — в каменной стене дома, куда упирался проулок, виднелась темная узкая прорезь и рядом с ней фигура солдата, — когда процессия начала втягиваться сквозь эту дверь, солдат стал пересчитывать входящих по головам, чуть придерживая прикладом каждого следующего и на секунду освещая его лицо слепящим лучом карманного фонаря, — в расположенной в подвальном помещении комнате двое ефрейторов, сняв черные кители и аккуратно развесив их на спинках стульев, негромко, в два голоса, напевали рождественскую песню, украшая серебряными бумажками из-под конфет и неизвестно откуда добытыми золотыми звездочками еловую ветку, накануне срубленную ими и поставленную в цинковое ведро, а в

противоположном углу комнаты поблескивали никелем какие-то манометры, связанные с системой труб, уходивших куда-то в стену, — мужчин и женщин отделили теперь друг от друга — мужчины с сыновьями и женщины с девочками шли по двум разным, но одинаково узким коридорам, облицованным белым кафелем — в конце каждого коридора виднелась железная дверь с ярко светящейся надписью: "Баня и дезинфекция одежды" — после бани они получат свою одежду, которая за это время пройдет обработку, — конечно, в военное время необходим карантин, — зачем только была эта затея с совместным раздеванием? — двое ефрейторов, оторвавшись от пахнущей свежей хвоей ветки, которую они украшали, и продолжая что-то напевать, прошли в противоположный угол комнаты, и один из них повернул блестящую никелированную рукоятку — стрелка манометра медленно поднялась к нужной цифре — теперь давление газа было нормальным — можно было вернуться к скромному рождественскому ужину — они дружески похлопали друг друга по плечу и засмеялись, — а в другом помещении, тоже расположенном под землей, целая бригада людей, одетых в серую крестьянскую одежду, заняв места за длинным оцинкованным столом, словно в ожидании начала банкета, готовилась к приемке очередной партии волос — туча закрыла теперь почти все небо, стало темно, как в сумерках, и три перекладины с висевшими на них телами различались с трудом — большая часть людей в рваных одеждах, осаждавших подножье холма, разошлась, потому что гроза была неминуема, и уже поднялся обычно предшествующий ей ветер, — первые теплые капли упали на плечи, руки и грудь распятого человека, и тогда он вдруг осознал, что уже давно хочет пить — он почувствовал, как в его губы ткнули чем-то шершавым и влажным, словно хотели утереть ему рот, — он втянул в себя эту влагу, но она обожгла ему язык и горло, как будто ему вставили в рот горящий факел, — римский легионер небрежно отбросил в сторону длинную палицу с насаженной на нее губкой, смоченной уксусом, — туча закрывала теперь все небо, но это была не туча, а сплошные черные клубы дыма, и прямо перед собой умирающий увидел огромные сводчатые ниши, заполненные голыми телами, — корчась и привставая, мужчины и женщины обнимали друг друга, словно в последней любовной судороге, а в квадратных помещениях за двойными железными дверями, наглухо закрытых, чтобы не было ни малейшей утечки газа, за этими дверями, в ожидании бани, уже стояла очередная партия людей, — и когда те, в

нишах, почувствовали, что им не хватает воздуха, и поняли, что это все означает, они стали кричать, раздирая рты, — и в этом их крике утонул крик умиравшего на кресте человека.

Когда Борис Львович и Таня вышли из церкви, солнце уже садилось, так что церковь можно было теперь очень хорошо снять — очень рельефно получились бы ее купола и кресты на фоне неба, — но Борис Львович почему-то решил этого не делать, — Таня успела купить какую-то очередную книжку в музейном киоске и теперь рассматривала ее, идя в стороне от туристов, — группа, не торопясь, шла вдоль монастырской ограды по направлению к автобусу, потому что экскурсия была окончена, — неутомимый экскурсовод уже снова ввинчивал щепоть правой руки куда-то в небо, поблескивая желтизной своих белков, — он показывал рукой вверх и в сторону — туда, где на возвышенности, окружавшей город и сейчас освещенной заходящим солнцем, на фоне темной зелени и поднимаясь над ней виднелась суживающаяся кверху белокаменная стрела — это был памятник жертвам геноцида — турки, вооруженные ятаганами и пистолетами, нахлынув ночью откуда-то из-за горы, наводнили собой всю долину, и ворвавшись в спящие города и аулы, вырезали почти четверть населения этой страны, — несколько лет назад по улицам города, в котором они с Таней сейчас находились, прошла молодежь с требованием установить памятник — осмотр этого памятника теперь официально входил в программу экскурсий, и экскурсовод, наверное, сам шел тогда среди других молодых людей по улицам и, ввинчивая руку в небо, сверкая желтизной своих белков, тоже горячился и требовал памятника — а на окраине другого большого города, с древними церквями и улицами в акациях, в глинистой почве на берегу широкой реки зияла огромная яма — солдаты в длинных черных шинелях стояли растянутой цепью, направив автоматы на такую же бесконечную шеренгу раздетых людей, дрожавших на утреннем холоде, — после каждой автоматной очереди люди, словно по команде, валились на дно ямы в просочившуюся туда коричневую воду, которая постепенно становилась ржаво-красной, — на смену им выводили новых, и те, так же нелепо взмахивая руками и дергаясь всем телом, словно марионетки из кукольного театра, валились под автоматными очередями на дно — несколько лет назад Борис Львович и Таня, находясь где-то в Прибалтике, однажды возвращались к себе домой — это был первый день их отдыха, и впереди предстояло еще множество таких же спокойных беззаботных дней — "Я бы их всех

расстреливал — и в яму", — услышал он вдруг — их обогнали двое рабочих, возвращавшихся с работы, с черными спецовками, повещенными через плечо, — один из них, громадный, плечистый, с плоским белесым лицом и перебитым носом, обходя Бориса Львовича, бросил на него мимолетный взгляд — и потом громко сказал это своему приятелю, и Борису Львовичу на мгновение показалось, что все это происходит во сне, — Таня шла сзади и ничего не слышала, и когда он рассказал ей об этом, она, чтобы успокоить его, сказала, что, возможно, они говорили о растратчиках, но почему-то тут же добавила, что их особенно раздражают смешанные браки, — и в этом же курортном городке многие, отдыхавшие в санатории по профсоюзным путевкам, после утренней сводки новостей, выслушанной на пятачке между аптекой, винным магазином и почтой, громко произносили слово "обрезанные" и название государства, в котором они живут, — Борис Львович и Таня стали избегать этого пятачка и ходили к морю окольным путем, но даже на берегу, когда те были в одних плавках, Борис Львович узнавал их безошибочным чутьем, как дичь узнает охотника.

По вечерам после осмотра очередных достопримечательностей Норартакира Борис Львович и Таня ходили обедать в ресторан, носивший название горы, снеговые вершины которой таяли к полудню, а на следующее утро снова появлялись — такое же название носила местная футбольная команда, а также сигареты и комбинат бытового обслуживания, постоянно закрытый на ремонт, — в погребке с низким потолком они занимали какой-нибудь самый крайний столик, поближе к выходу, потому что по наблюдениям Тани сюда ходили одни только местные жители, явные националисты, — из глубины погребка, где помещалась невидимая эстрада, которую Борис Львович так ни разу и не разглядел, доносились звуки какого-то странного инструмента — заунывные, с неожиданными паузами, так что казалось, что там не играли, а только пробовали инструмент, — Таня уверяла, что это звуки зурны, Борис Львович в этом не был уверен, но не знал названия какого-либо другого инструмента, а Таня когда-то несколько лет жила в Средней Азии, — за столиками сидели плотные смуглые хорошо одетые мужчины — сложив пальцы в щепоть, как это делал экскурсовод, они ввинчивали эту щепоть в какое-нибудь блюдо, стоявшее посреди стола, — не то перчили, не то макали в соус, не то захватывали какую-то зелень — столы их были заставлены бутылками с вином и какой-то непонятной едой — мысленно он подсаживался то к од-

ной компании мужчин, то к другой, неторопливо жевал с ними что-то, как и они, макая пальцы в соус, сговаривался о каких-то делах или сделках, обсуждал последние новости или смерть какого-нибудь общего дядюшки Хурэна, — но его все время не покидала мысль о своем притворстве, — а потом они ехали к себе в гостиницу в переполненном транспорте — автобус полз вверх по нескончаемой, длинной улице, связывающей центральную часть города с высшей, невидимой точкой Норартакира — люди возвращались домой после работы с портфелями и покупками, на незнакомых остановках входили и выходили, было уже совсем темно, как осенью в Москве, когда Борис Львович возвращался домой после работы, — здесь, на юге, темнело даже еще раньше — они напряженно вглядывались в темноту, чтобы не пропустить своей остановки, — Борис Львович, стоя на одной ноге, потому что вторую некуда было поставить, оберегая Таню то сзади, то спереди, не осмеливаясь ни у кого спросить, где их остановка, чтобы не рассердить Таню, — они тоже везли с собой сумки с провизией на ужин и на завтрак, так что можно было подумать, что они здесь живут и работают, но все находившиеся в автобусе или троллейбусе ехали к себе домой — выложив покупки, они будут делиться со своими домочадцами последними новостями, а потом все вместе сядут обедать или ужинать за круглый стол под большим семейным абажуром, — Борис же Львович и Таня должны были ехать в гостиницу, брать ключ от своего номера и бесшумно идти по коридору, чтобы не разбудить соседей, — придя в номер, они укладывались — каждый на свою койку — и Борис Львович, надев очки, начинал рассматривать на своем животе бородавку — она располагалась чуть выше и правее пупка — он впервые заметил ее в первый же вечер пребывания здесь — она не могла появиться за один день — значит, он упустил ее появление — она чуть-чуть выдавалась над поверхностью кожи, он трогал пальцем ее шероховатую поверхность — Таня уверяла, что это ерунда, и он тоже так считал, но все-таки каждый вечер с бьющимся сердцем снова осматривал ее и щупал, — не увеличилась ли она, — вроде бы нет, — а потом, погасив свет, ставил себе на грудь транзистор с выдвинутой, словно у спутника земли, антенной — приемник давил своей тяжестью на грудь, но зато так лучше было слышно, — "Таня, слышишь, что они говорят? Как тебе это нравится? Слышишь? Ты что, уже спишь?" — протянув руку через узкий проход, отделявший их кровати, он дергал Таню за руку, за волосы, тряс ее плечо, потому что как можно было заснуть под такое? — Таня мы-

чала, накрывалась одеялом с головой и подхрапывала, — и Борис Львович, выключив приемник и поставив его на коврик рядом с кроватью, чтобы можно было в любой момент снова включить, прислушивался к отдаленному гулу моторов — где-то высоко над городом, в бездонном ночном небе, шли самолеты — тяжело нагруженные, ровными звеньями, соблюдая интервалы, — их гул то нарастал, то исчезал — а, может быть, это просто ветер относил его в сторону — самолеты шли, притушив габаритные огни, так что вглядываться в небо было бесполезно, — гул их моторов иногда переходил в звон, словно во время войны, но направление их движения было очевидно — на юг — и пока звук от первых звеньев долетал до слуха Бориса Львовича, они уже пересекали границу, оставив где-то позади себя и спящий город, раскинувшийся в котловине, мерцая бесчисленными огнями, и высоченную гору с невидимыми сейчас снеговыми вершинами — пилоты в шлемах с невыразительными белесыми лицами сверяли курс по приборам — все было правильно — юго-запад — через час или может быть даже меньше самолеты приземлятся на чужом аэродроме, тоже погруженном во тьму, — из их брюх выкатят орудия и танки с пятиконечными звездами на броне, выгрузят ящики со снарядами, и смуглые курчавые люди, чем-то похожие на Бориса Львовича, будут убивать этими снарядами людей, совсем уже похожих на него, — звон невидимых самолетов, идущих нескончаемыми звеньями, то приносило, то уносило куда-то в сторону, и Борису Львовичу казалось, что он лежит не в гостинице, на мягкой постели, а на горячей и пыльной земле маленькой страны, — он лежит на спине под палящим солнцем, и его видят сверху, и могут прошить пулеметной очередью, но он не в силах пошевелиться, как это бывает только во сне.

IV

Изгнание

В этот день им особенно повезло. Когда они подошли к зданию экскурсионного бюро, там уже стоял автобус, только что вымытый и совершенно пустой — водитель впустил их, и они чуть не захлебнулись от обилия свободных мест и возможности выбора — толкая друг друга и препираясь шепотом, потому что Таня многозначительно кивала в сторону водителя, углубившегося в газету, они пе-

ременили два или три места и уселись на теневой стороне — эта сторона так и оставалась теневой во все время их поездки. Окно было чуть приспущено, так что сквозняка не было, а вместе с тем они дышали свежим воздухом — когда выехали за пределы города, на их стороне потянулись горы, поросшие травой или мелким кустарником, — на такой высоте, наверное, уже ничего не росло, — хотя город, в котором они сейчас жили, находился в котловине, но сама эта котловина была намного выше уровня моря, а сейчас они ехали уже в какое-то совсем высокогорное место, — шоссе медленно и неуклонно поднималось — долины и плато, тянувшиеся между автобусом и горами, были усеяны камнями — круглыми, полированными, величиной от булыжника до валуна — экскурсовод, еще один смуглый и молодой парень, рассказывал, что по преданию бог, сотворив мир, стал бросать камни, но не просто бросать, а разбрасывать, как это делает сеятель с зернами — сразу по несколько, широким жестом, поворачиваясь — в результате мелкие камни попали сюда, потому что он разбрасывал их с этого места, а более крупные упали на территорию соседей — поэтому там образовались большие горы, — это, конечно, противоречило законам физики, но может быть Борис Львович не так все понял, потому что у соседей природа каким-то образом оказалась богаче и красивей, здесь же — более суровой, хотя и величественной — экскурсовод сказал об этом как бы мимоходом, словно не очень рассчитывал на понимание, — во время одной из стоянок Борис Львович подошел к нему — экскурсовод стоял возле распахнутой двери автобуса, прикрываясь ею от солнца, пока туристы вяло бродили неподалеку от автобуса, зачем-то пробуя ногами грунт, — да, конечно, он прекрасно знал работы этого режиссера — он даже назвал какой-то фильм, который не был известен Борису Львовичу, — но в Москве режиссеру не дают возможности работать, и теперь он собирается переехать сюда, в свой родной город, — "Ты слышишь, Таня?" — она стояла рядом — "Я тебе сразу сказала, что он все понимает", — сказала Таня, когда они отошли в сторону, — "я даже уверена, что он учился в Москве", — продолжала она, — "он похож на одного нашего общего знакомого, неужели ты не вспоминаешь?" — Борис Львович неопределенно пожал плечами, но сердце его екнуло, потому что в глазах Тани вспыхивали в таких случаях какие-то незнакомые ему искорки, иногда даже с оттенком презрения к нему, будто он не замечал чего-то такого, что замечали все остальные, и это что-то относилось к нему и к Тане — он так и не мог припомнить, на кого похож экс-

курсовод, но всю оставшуюся часть дороги думал о нем, как о понимающем и к тому же учившемся в Москве, и старался перехватить Танин взгляд — она слушала экскурсовода так же, как слушала Бориса Львовича, когда он по вечерам читал ей перед сном Фейхтвангера, и в этом ее напряженном внимании было что-то, не имевшее отношения к нему, Борису Львовичу, — это казалось ему обидным, тем более, что экскурсовод был таким же, как все остальные, и говорил такие же избитые вещи — автобус остановился, не доезжая нескольких сот метров до горы, являвшейся конечным и главным пунктом экскурсии, потому что здесь уже начинался заповедник и проезд транспорта был запрещен, — экскурсанты растянулись длинной цепочкой и пошли вдоль берега озера по направлению к горе — Борис Львович, спотыкаясь о летевшие из-под ног камни, спустился к самому берегу озера и, став на колени, пригнувшись, почти лежа, так чтобы водная гладь приходилась на уровне глаз, сфотографировал озеро с большим шершавым валуном на переднем плане, чтобы на снимке ощущалось пространство, — а потом, опережая экскурсию, чтобы перед объективом никто не маячил, стал взбираться на гору и сверху щелкнул озеро, а потом две церкви, известные своей древностью, — сначала одну, потом другую, потом снова первую — внутри церкви было темно и пусто и сидела сонная сторожиха — от земляного пола и каменных стен веяло сыростью, штукатурка осыпалась, так что у святых, изображенных на стенах, не хватало то носа, то руки, то части туловища, — по словам экскурсовода, здесь вскоре должны были начаться реставрационные работы — Борис Львович добрался до самой высшей точки — сюда уже не добирался никто — экскурсанты ходили вокруг церквей, ниже по склонам, а сюда забрался только он один, — он стал остервенело махать руками Тане — пусть она тоже взберется сюда! — такого она больше никогда не увидит! — они сторговались где-то на середине расстояния между церковью и той точкой, где находился Борис Львович, — Таня тяжело дышала после подъема — она располнела и в последнее время у нее появилась одышка, иногда даже не ровном месте, — Борис Львович стал приставлять к ее глазам фотоаппарат, чтобы она могла увидеть, что получится на снимке, — она не любила смотреть в окошечко аппарата из его рук и всегда хотела это делать сама, но Борису Львовичу казалось, что она делает не так, а кроме того, ему хотелось, чтобы она видела именно тот кадр, который выбрал он, — на обратном пути на их стороне, опять теневой, потому что солнце переместилось на про-

тивоположную сторону, оказалась речка — она тянулась вдоль шоссе, извиваясь, как это положено любой реке, — она была не очень широкой, а из воды торчали большие плоские камни, так что ее, наверное, можно было перейти вброд, — это была та же речка, которую Борис Львович видел в городе, когда они ехали в гостиницу, все гиды утверждали, что она была горной, с очень коварным течением, как это свойственно всем горным рекам, и у нее было очень громкое и легко запоминающееся название, но Борис Львович почему-то все время забывал его — "Мне бы такую дачку", — сказала Таня, посмотрев куда-то вдаль, на ту сторону реки, — еще когда они только поженились, она любила останавливаться по вечерам напротив большого дома, помещавшегося наискосок от их двора, — в незавешенном окне одного из верхних его этажей виднелся абажур — "Я вот о таком мечтаю", — говорила она, вздыхая, а потом она вот так же мечтала выиграть машину или купить отдельный домик, где-нибудь вдалеке от города и от людей, и жить там круглый год — в тот первый дом, где они жили, только что поженившись, он часто возвращался проходными дворами — это была коммунальная квартира с множеством жильцов — на кухне постоянно что-то жарили и стирали до поздней ночи и под закоптелым потолком в дыму и в чаду горела тусклая лампочка — была зима, и свет зажигали рано — еще за два или три двора он уже видел свой дом — всегда со стороны глухого торца — этот торец уступами переходил в кирпичную трубу, вернее, это был ряд труб, но со стороны торца казалось, что это одна труба, и из нее, если хорошо вглядеться, всегда шел дым, почти незаметный на фоне январского звездного неба — в доме жарко топили, и он знал, что Таня уже ждет его, — сняв перчатки, он нюхал свои ладони — они пахли духами "Белая сирень" — Таня душилась ими, и он старался сохранить этот запах до вечера — на работе или в метро он то и дело вспоминал об этой кирпичной стене с нависающим с крыши снегом и с дымом из трубы, но когда возвращался, неизменно забывал о ней, и она всегда появлялась перед ним неожиданно, — а потом он вдруг осознал, что женат уже несколько лет и он просто потерял счет времени, — наверное, все это называлось счастьем — дача, которая вызвала у Тани такой восторг, оказалась могильным склепом, окруженным низкой оградой, — на той стороне реки, на пригорке, раскинулось просторное кладбище, похожее на поселок, с улицами и домами, — вероятно, семейными склепами, — они долго смеялись по поводу этой дачи, и Таня все повторяла: "Тьфу, тьфу,

тьфу! Через левое плечо!", — а Борис Львович поддразнивал ее, говоря, что в общем не такая уж это плохая дача, — вернувшись в город, они решили не ходить в ресторан, а устроить обед у себя в номере, — они накупили провизии, и Борис Львович, выйдя на середину улицы, поднял руку, словно перекрывая движение, — они уселись в затормозившую черную "Волгу" — Борис Львович спереди, рядом с водителем, словно это была его персональная машина, а Таня сзади, небрежно положив на сиденье покупки, как это делают жены ответственных работников, — обгоняя троллейбусы и автобусы, тащившиеся в гору, и трамваи, почему-то стоявшие на остановках и облепленные гроздьями людей, они подъехали к гостинице — было еще светло — небрежно хлопнув дверцами, они вышли из машины прямо напротив входа — дверь в дверь — независимой походкой ответственного работника Борис Львович прошел через полутемный прохладный вестибюль, Таня чуть позади него, с покупками, как это и положено жене человека, занимающего ответственный пост, — и когда он уже поднимался по лестнице, до него вдруг дошло, что дежурная, сидевшая внизу за конторкой, что-то ему сказала — дежурная говорила с немыслимым акцентом, но то, что она говорила, имело, оказывается, непосредственное отношение к ним — завтра шесть дней, как они живут в гостинице, — он и без нее знал об этом и даже хотел сегодня утром внести деньги за те четыре дня, которые им еще предстояло здесь пробыть, почему она напоминала ему об истечении срока? — тут он вспомнил, что турок в феске, тот самый, который встретил их в день приезда и опять дежурил вчера, тоже что-то сказал об истечении срока, но он тогда не обратил внимания, потому что турок с самого начала неприязненно к ним отнесся — почему они все так пеклись о нем? — он и так знал, когда истекают шесть дней, — "Надо пойти поговорить с дежурной и немедленно внести деньги", — сказала Таня — она стояла рядом с Борисом Львовичем на ступеньках лестницы, держа в руке покупки и тяжело дыша, — они остановились где-то на середине между вторым и третьим этажом — Борис Львович спустился к дежурной и сказал, что хотел оплатить еще вчера, но не успел, а сегодня утром, когда они проходили мимо, здесь никого не было — она смотрела куда-то мимо него, как это умеют делать только администраторы, а может быть просто не понимала того, что он ей говорил, — он стал доставать деньги — десять, двадцать, тридцать — сколько он должен уплатить за оставшиеся четыре дня? — они улетают двадцать девятого — она не смотрела ни на него, ни на деньги,

которые он доставал из внутреннего кармана, путая денежные бумажки с билетами на завтрашнюю экскурсию в языческий храм, — нет она ничего не может сделать, в броне ясно указано: шесть дней — к директору гостиницы? — пожалуйста, ее кабинет на втором этаже — он побежал к себе в номер — Таня выкладывала на стол и на подоконник продукты из сумок — все это казалось теперь таким же бессмысленным, как чистка зубов перед оглашением смертного приговора, — "Ну что?" — лицо ее побледнело, когда он рассказал ей, — трясущимися руками он стал доставать авиабилет со дна чемодана — "Возьми билет члена коллегии!" — он уже выходил из номера — билет он носил всегда при себе, в заднем кармане — он нащупал его — твердая книжечка с фотографией и надписью: "Московская городская коллегия адвокатов" — не так ведь часто в этой паршивой гостинице останавливаются члены Московской коллегии адвокатов — он уже спускался по лестнице, продолжая нащупывать твердую книжечку, — "Где кабинет директора?" — да, он знает, что на втором этаже, а это разве не второй? — значит, надо еще ниже этажом — на диване в холле сидело несколько человек, неторопливо беседуя о чем-то, рядом на стульях еще кто-то — тихая послеобеденная беседа людей, которых никто не выгонял из гостиницы — "Где директор?" — спросил Борис Львович, потому что это уже был второй этаж, — никто не ответил ему, но одна из женщин, сидевших на диване, нехотя и не сразу оторвавшись от беседы, посмотрела на него — на ней было какое-то незаметное платье или костюм, и лицо ее было сероватое и в морщинах, как это бывает у пожилых женщин, обремененных семьей и хозяйством, но Борис Львович сразу понял, что она директор, потому что вокруг нее образовалось пустое пространство, и он уже больше никого не видел, кроме нее, — "Я вас очень прошу, — сказал Борис Львович, вынимая из кармана твердую книжечку, в другой руке он держал авиабилеты — руки его дрожали, — меня вот просят освободить номер, но у меня билеты на самолет, и кроме того я член Московской коллегии адвокатов", — он протягивал ей поочередно то книжечку, то билеты на самолет, но она, как и дежурный администратор, уже смотрела куда-то мимо него — "Ничего не могу, — спокойно сказала она, словно продолжая беседу, прерванную его появлением, — завтра открывается конференция общества "Знание", у нас забронированы все места", — она говорила почти без акцента, но лицо ее было типичным лицом пожилой восточной женщины с жесткими, словно проволока, седеющими волосами. "Я сам член

общества "Знание"! — запальчиво сказал Борис Львович, вспомнив голубую книжечку, которую ему всучили несколько лет назад, и как его просили прочесть лекции, а он еле отвертелся от этого, — он мог бы рассказать директорше об этом, чтобы она поняла, насколько он выше общества "Знание", — "Вот и просите у них, пусть они обеспечат вам место", — все также невозмутимо сказала она, словно речь шла о каких-то посторонних вещах, не имеющих отношения к Борису Львовичу, как будто это не его выставляли из гостиницы, — он вдруг увидел себя стоящим перед директоршей в просящей позе с дрожащими руками, и как они с Таней выволакивают чемоданы из гостиницы, а их номер занимают члены общества "Знание", очередные невежды, приехавшие сюда, чтобы хорошо провести время, а может быть просто какие-то блатные, — а они с Таней в это время стоят на улице под открытым небом, потому что им некуда деваться, — даже в газетах писали про такие случаи — "Значит, нас, как собак, на улицу, а своих, небось, устраиваете!" — это уже был прямой выпад против органов власти, ему даже могли пришить какое-нибудь дело — директорша снова окинула его взглядом, на этот раз уже с примесью любопытства, и кто-то из принимавших участие в беседе тоже с любопытством посмотрел на него — ему показалось, что это был какой-то военный или бывший военный, но в кителе и с орденскими колодками, — он повернулся и пошел в номер — уже стемнело, но они не зажигали свет, словно их присутствие здесь было уже незаконным, — пол как-то странно качнулся под ногами Бориса Львовича, как будто они плыли на пароходе, — наверное, это был спазм мозговых сосудов — "Зажги свет, черт побери!" — крикнул он, как будто это могло что-то изменить — конечно, во всем была виновата Таня, потому что в этом городе, так же, как и во многих других городах и республиках, находились не то управления, не то главки, подведомственные главному, московскому главку, в котором она работала, и люди, работавшие в этих местных главках и зависящие от главного главка, могли устроить им любую гостиницу и еще сочли бы это за честь — однажды в курортном городе им устроили такую гостиницу — это была гостиница "Интурист", самая лучшая в городе, и Борис Львович до сих пор не мог забыть этого номера в "Интуристе", и как в аэропорту их даже встретили на "Волге" и отвезли в гостиницу, словно почетных иностранцев или ответственных работников, и портье, почтительно склонив голову, отворил им дверь, а чемоданы их несли сзади встречавшие, и даже с адми-

нистратором гостиницы им не пришлось говорить — кто-то из встречавших уже все уладил, им сразу вручили ключ от номера, и дежурная по коридору тоже почтительно встала, когда они подошли к ней в сопровождении местных боссов, несших чемоданы, — но Таня наотрез отказалась отдыхать таким образом, потому что ее начальник намекнул, что теперь ей придется расплачиваться целыми эшелонами прокатных станов или каких-то там других машин — это была, конечно, шутка, потому что все из их управления ездили отдыхать таким образом, а кроме того Борис Львович не видел ничего страшного в том, если бы она даже послала туда какой-нибудь лишний станок, — это же пошло бы не в их карман, а на пользу государства, — но Таня даже не хотела говорить на эту тему, — и вот теперь из-за ее идиотского упрямства их выкидывают на улицу — она слушала его молча, потупившись, — при свете зажженной лампы лицо ее показалось Борису Львовичу бледным, а голос ее как-то странно осел, когда она стала уговаривать его прилечь, — наверное, она боялась за него — он представил себе, как его отвозят в больницу, а Таня остается на улице и к тому же без денег, потому что аккредитив был оформлен на его имя, — пол снова заходил под его ногами — он улегся, а Таня пошла разыскивать уборщицу, пожилую женщину, хорошо говорившую по-русски, наверное, не из местных — Таня почему-то считала, что та им поможет, — Таня вернулась в номер с загадочным видом — уборщица обещала — правда, не очень определенно, но обещала и даже сказала, что зайдет к ним в номер — весь остаток вечера они прислушивались к шагам в коридоре, но уборщица так и не пришла, и Таня снова побежала ее разыскивать — уборщицы нигде не было — может быть, она пошла говорить о них с администратором или даже с самой директоршей — Таня снова пошла разыскивать ее — уборщица бесследно исчезла — наверное, она просто пошла спать, а в соседнем номере, выходящем на общий с ними балкон, наяривали какую-то восточную музыку, как будто там расположился эстрадный оркестр, и пахло шашлыком, как из ресторана, — наверное, какие-то аборигены устраивали там оргию — в этот вечер Борис Львович даже забыл посмотреть свою бородавку на животе и не включал транзистор.

V

Месть

Кассы аэрофлота только что открылись, но у каждого окошеч-

ка уже стояла толпа, — Таня поставила Бориса Львовича в стороне, возле расписания, и взяв у него билеты и паспорта, пошла с ними куда-то, потому что Борис Львович путал билеты с какими-то бумажками, и из паспорта у него то и дело вылетал аккредитив, планируя в воздухе, как листовка, — ночью он спал, но это был не сон, а какое-то насильственное погружение себя в сон, когда все время чувствуешь, как течет время, — Таня тоже ворочалась с боку на бок, как будто ей мешали, хотя в соседнем номере уже было тихо, — наверное, все действие там уже перенеслось в постель — смуглые волосатые аборигены сжимали в объятьях приезжих блондинок, невозмутимых северянок, распаляя их, как это сказано у Пушкина, а посередине комнаты, прямо на полу, словно потухший костер, дымились остатки шашлыка и рядом стояли пустые бутылки из-под вина и магнитофон с оборванной лентой — аборигенов было обязательно двое, потому что номер был на двоих, такой же, как у Бориса Львовича и Тани, и вообще для оргии требовалось не меньше четырех человек — северянки тихо стонали, впиваясь ногтями в мускулистые, волосатые спины аборигенов, — за окном уже бледнело, — Таня тяжело ворочалась с боку на бок, — на крючке, над изголовьем Бориса Львовича мирно висел его фотоаппарат, в шкафу были аккуратно развешаны рубахи и платья, а на полках так же аккуратно было разложено белье — надо было спать, потому что Таня с утра должна успеть собраться, — может быть, им удастся поменять билеты на сегодня, да, уже на сегодня, потому что ночь почти миновала, и тогда уже сегодня вечером или ночью они будут в Москве, у себя дома, — это казалось неправдоподобным, как перелет в другую Галактику, — сон, в который погружался Борис Львович, был похож на операцию под не слишком сильным наркозом, когда боли нет, но все осознаешь и даже чувствуешь, — утром они вышли, как обычно, словно торопясь на очередную экскурсию, — до самого последнего момента, пока Таня собирала вещи, Борису Львовичу казалось, что к ним в номер сейчас придет уборщица и объявит, что все в порядке, или администраторша, или даже сама директорша, раскаявшиеся в своем поступке, и он каждый раз вздрагивал, когда за дверью раздавались шаги, а когда они проходили через вестибюль гостиницы, он впился ненавидящим взглядом во вчерашнюю администраторшу, которая еще не сменилась, но она не подняла головы из-за своей конторки, — наверное, ей все-таки было стыдно — на улице Бориса Львовича пробрал легкий озноб, хотя солнце уже поднялось высоко и было, наверное, тепло, как

всегда бывало по утрам в это время, когда они выходили из гостиницы, — улицы поливали — а может ночью прошел небольшой дождь — они сели в троллейбус и поехали вниз по бесконечной улице, как это делали каждое утро, и в троллейбус так же входили и так же выходили люди, торопясь куда-то на работу, так что на какое-то мгновение Борису Львовичу показалось, будто ничего не случилось и все это просто дурной сон, — Таня вернулась с паспортами и билетами — на сегодня уже ничего нельзя поменять — только в аэропорту, перед вылетом, — они вышли из здания агентства аэрофлота и, не сговариваясь, пошли по направлению к улице, на которой находился подведомственный Тане главк или управление — Таня еще несколько дней назад заприметила это здание с вывеской — она даже остановилась, чтобы показать его Борису Львовичу, — на секунду ему даже показалось, что она непрочь зайти туда, но это только разбередило его незаживающую рану, и он обрушил на Таню очередной поток яростных упреков — теперь они шли к этой улице, и выражение лица у Тани было решительное и вместе с тем отрешенное — такое лицо у нее бывало, когда они вместе входили в море, и Таня собиралась плавать — Борис Львович почти совсем не умел плавать и на глубоких местах старался держаться поближе к Тане, но она тут же пускалась плыть, словно его и вовсе не существовало, — она даже не смотрела в его сторону, — и точно такое же выражение лица появлялось у нее, когда Борис Львович целовал ее, его всегда пугало это, потому что в такие мгновения ему казалось, что у нее существует от него какая-то тайна, — несколько раз она окидывала Бориса Львовича мимолетным взглядом, в котором сквозило не то беспокойство за его здоровье, не то — за его костюм, — и в этом взгляде, где-то на самом краю его, там, где зрачок переходил в радужку, проскальзывало что-то, похожее на презрение, как будто он не сумел защитить ее от кого-то, оскорбившего ее честь, а может даже сам, своими руками, подтолкнул ее к оскорбителю, а теперь требовал от нее признания правильности его, Бориса Львовича, действий или даже мужества, проявленного им, — через десять минут он уже стоял с бьющимся сердцем под вывеской, возле подъезда, ведущего в местный главк, в ожидании Тани, ушедшей куда-то наверх, — Таня не появлялась — он не знал, к добру это или нет, — не выдержав, он зашел внутрь — какая-то девушка, по-секретарски стуча каблучками, спускалась по лестнице — "Вы муж Татьяны Львовны? — приветливо и с почтением спросила она, — извините, что не сразу. Вас там ждут", — он пошел вслед

за ней — сладковато-горький ком подступил к его горлу, почти такой же, как во время воображаемого подъема на снеговую вершину, когда спокойные загорелые люди с ясными глазами протягивали им руки, — на секунду он снова увидел себя стоящим в позе жалкого просителя перед диваном, на котором сидела директорша в окружении администраторш и некоторых избранных постояльцев гостиницы — она восседала, словно шейх среди льстивых царедворцев, — ему даже показалось, что она взяла что-то, а он дрожащими руками протягивал ей свои бумажки, — она даже не посмотрела на них — а Таня в это время еще на что-то надеялась, — он еще заставит эту женщину с серым морщинистым лицом вспомнить о себе — уезжая из гостиницы, он зайдет к ней в кабинет со своими чемоданами и с сопровождающими их местными воротилами, одно имя которых, наверное, приводит ее в трепет, — пусть знает! — в небольшой накуренной комнате было шумно — Таня сидела за письменным столом спиной к окну — наверное, это был стол начальника, потому что он был самый большой и стоял возле окна так, чтобы сидевший за ним мог видеть всех сотрудников, — двое или трое мужчин хлопотали вокруг Тани — один из них, может быть даже сам начальник или его заместитель, названивал куда-то по телефону, стоявшему тут же на столе, а другой мужчина, тоже какой-то сотрудник, побежал в какой-то другой отдел — наверное, тоже дозваниваться — Бориса Львовича усадили на стул, как почетного гостя, — стул принесли откуда-то из соседней комнаты — в перерывах между телефонными звонками и беготней в соседний отдел мужчины почтительно шутили с Таней, которая была уже здесь не Таней, а Татьяной Львовной, и Борису Львовичу это казалось странным — Таня извинялась за вторжение, а они расспрашивали ее о каких-то общих знакомых — наверное, московских сотрудниках, и так же почтительно журили ее за то, что она с самого начала не обратилась к ним, — "Вот он тоже ругал меня за это", — кивнула Таня в сторону Бориса Львовича, и он стал горячо рассказывать, как он просил Татьяну Львовну и как она отказывалась, и как теперь их выгнали из гостиницы, и какое это безобразие, и Таня тоже возмущалась, и все они поддакивали и ему, и Тане, но где-то там, в стороне, у них шла какая-то своя суета — кто-то кому-то что-то говорил вполголоса, начальник и его заместитель продолжали куда-то звонить, и кто-то входил из соседнего отдела, и кто-то снова бесшумно выходил из комнаты — словно неожиданно нагрянули гости, которых надо занимать, но угощения нет, и нуж-

но куда-то бежать за покупками, а ближайшие магазины закрыты и обо всем этом нужно договориться и одновременно не забывать про гостей, и Борис Львович вдруг понял, почему Таня извинялась за свое вторжение, — через полчаса они уже ехали на чьей-то специально высвобожденной для них "Волге" — один из местных главковцев сопровождал их, но Борис Львович и Таня сами вошли в гостиницу, — Борис Львович яростно открывал двери вестибюля — сначала наружные, потом внутренние, толкая их всем корпусом и специально не придерживая, чтобы они хлопали погромче, — нагрузившись чемоданами, они с Таней спускались вниз — оставив дверь номера настежь открытой — пусть все видят, что их выгнали, но им наплевать — внизу их ждет "Волга" с большим местным начальством, и их устроят в хорошую гостиницу, для избранных, а не в этот крысятник для членов общества "Знание" или для туристов, выстоявших в порядке общей очереди бронь в каком-нибудь Мострансагентстве, — толкнув чемоданом дверь, ничего не видя перед собой, Борис Львович ввалился в кабинет директорши, но это оказалась секретарша, которая сказала ему, что директор сейчас занята, и он внутренне даже обрадовался этому, да и Таня все время говорила ему: "Зачем тебе это надо?" — и теперь пошла с вещами вниз, не дожидаясь, и машину они тоже не могли задерживать.

Гостиница, в которую их привезли, носила название республики, где они находились, и помещалась в самом центре города — особая, для блатных, как и ожидал Борис Львович, — со старинными львами и камином в вестибюле и даже остатками какого-то фонтана, и сопровождавший их местный главковец сам пошел к администратору и вынес им листки для заполнения — точно так же, как это было в гостинице курортного города, куда их когда-то тоже устроили по Таниному знакомству, и когда они вошли в свой номер, похожий на старинный будуар, Борис Львович даже задохнулся от всей этой роскоши, — просторный балкон, огороженный резной чугунной решеткой, выходил на одну из самых центральных улиц города — широкую, обсаженную деревьями, устланную желтыми листьями, — по этой улице даже не пускали транспорт, и по ней, во всю ее ширину, фланировали толпы гуляющих, потому что здесь помещались самые лучшие магазины и кафе, — Борис Львович и Таня всего два или три раза проходили по этой улице, но это осталось у них, как во сне, — тогда она казалась им недоступной, а теперь их балкон выходил прямо на эту улицу, и ему казалось, что он слышит, как шуршат листья под ногами гуляющих, — отсюда было

рукой подать до центральной площади со знаменитыми поющими фонтанами, которые нужно было смотреть и слушать по вечерам, потому что они подсвечивались разными цветами, — но Борис Львович и Таня в это время обычно находились на пути к своей гостинице, — а теперь все это было рядом, и вечером можно было пойти погулять и влиться в эту толпу, и сейчас тоже можно было выйти, и снова вернуться, и потом снова выйти — "Таня, как здорово! Смотри!" — закричал он ей с балкона, и так как она не вышла, он заглянул в номер — она сидела над еще неразложенными вещами и плакала — она всегда как-то странно плакала, зажмурив глаза, сомкнув веки так крепко, как будто кто-то силой собирался их разомкнуть, и почему-то слезы текли у нее из носа, как у младенца, и лицо ее тоже было сморщено, как у младенца, и голос у нее был высокий и жалобный, — тоже как у младенца, или как будто она это делала нарочно — "Прекрати!" — раздраженно сказал Борис Львович, потому что здесь было так хорошо, а Таня портила ему настроение, — "Сейчас же прекрати!" — почти закричал он, но Таня прикрыла лицо руками, словно еще больше предохраняя себя от чьей-то попытки разомкнуть ей веки, — он попытался отвести ее руки от лица, но она замотала головой, и голос ее стал еще более высоким и жалобным — "Я тебя очень прошу, перестань", — он стоял перед ней с опущенными руками, не зная, что делать, — "Этот паршивый город... лучше бы мы сюда не приезжали... мне ничего не хочется", — прорвалось у нее сквозь всхлипывания — это была его жена, Таня, и она плакала, потому что их выгнали из гостиницы и потому что ей пришлось идти и просить, и для нее это было унизительно, и он, Борис Львович, ее муж, солидный человек, доцент, член Московской коллегии адвокатов, которому сторож почтительно открывал дверь, когда он проходил в здание суда, а милиционер делал под козырек, он ничего не мог сделать, их выставили на улицу, как собак, и он стоял, согнувшись перед директоршей в позе жалкого просителя, протягивал ей свою книжечку и авиабилеты, но она даже не посмотрела в его сторону, и сегодня он тоже не зашел к ней, чтобы напомнить о своем существовании, и все это ей благополучно сойдет, и она будет все так же царственно восседать среди своих подчиненных, со своим землистым, изможденным лицом — на инкрустированном столике между двумя старинными кроватями, предназначающимися для него и для Тани, стоял телефон — тоже какой-то старинный, с длинным рычагом, как во времена Эдисона, — самое лучшее было сказать, что это говорят из

прокуратуры, — он даже видел где-то это здание с большой черной доской у входа — да, до нас дошел сигнал, и прокуратура просит разобраться, и директорша начнет метаться в поисках Бориса Львовича, чтобы извиниться перед ним, и уже не будет так царственно-спокойно восседать среди своих подчиненных, и на лице ее выступят красные пятна, а может быть оно станет совсем белым, — все это была блажь, потому что у нее везде знакомые, и она сразу спросит, кто с ней говорит, и вообще в ее действиях не было никакого нарушения законодательства — лучше всего было бы просто обложить ее матом, предварительно представившись, но тогда при своих знакомствах она, пожалуй, еще разыщет его, и их могут привлечь к ответственности — несколько раз, когда Таня выходила из комнаты, он набирал первые две цифры, но потом Таня снова входила, — один раз он даже набрал весь номер, но там никто не подходил — наверное, рабочий день уже кончился — сердце его стучало, заглушая телефонные гудки, а последний раз, когда он клал трубку, ему вдруг показалось, что на том конце провода послышался чей-то голос, — но может быть это был просто треск, и кроме того он не знал, что говорить, — после обеда они гуляли с Таней по улице, на которую выходил балкон, — в кафе за столиками сидели люди, и возле прилавков с кулинарией тоже толпились покупатели, но их никто не выгонял из гостиницы, и они имели законное право наслаждаться всем этим, а они с Таней пришли сегодня кланяться ее подчиненным, чтобы их устроили, и должны были рассказать, как их выгнали, и вдобавок у них пропали билеты на экскурсию в языческий храм, и во всем этом была виновата та пожилая женщина с выцветшим лицом, а вместе с ней и все эти местные жители, сидевшие в кафе или фланировавшие по улицам, — Борис Львович отпускал колкие замечания по их адресу, а Таня молчала, потому что она уже давно, с самого начала поняла, что это паршивый город, а Борис Львович только сейчас это понял, — вечером, лежа в постели, он снова вспомнил про свою бородавку и ощупал ее — она была с шероховатой поверхностью и бледно-зеленого цвета — впрочем, за эти дни она не увеличилась, да и вообще она, наверное, давно уже была у него — засыпая, он вдруг снова увидел перед собой лицо директорши — землисто-серое, с морщинами — теперь он знал, что ей сказать, и он увидел, как лицо ее покрывается красными пятнами или становится бледно-зеленым, и как пол качается под ее ногами, и как она побежит в поликлинику записываться на прием к врачу — с самого утра телефон директорши был непрерывно занят, а по-

том, когда они с Таней пошли в агентство аэрофлота, чтобы сдать билеты, — потому что ни в какую соседнюю республику Таня уже не хотела больше лететь, — Борис Львович несколько раз бегал к столбу с двумя автоматами, но ни один из них не работал, — по пути на вокзал он снова не пропускал ни одного автомата, и Таня его даже уже не спрашивала, куда он звонит, — наверное, догадывалась, а может быть даже хотела этого — на вокзале им удалось за небольшую мзду достать билеты в международный вагон — они поедут до самой Москвы в двухместном купе, а сейчас они живут в самой лучшей гостинице, в самом центре, — но для того, чтобы ощутить все это в полной мере, он должен был позвонить директорше, и чем больше он находил оснований, чтобы почувствовать себя счастливым, тем настоятельней была в нем эта потребность — идя по улицам, он видел одни только телефоны-автоматы, свободные или несвободные, работавшие или неработавшие, — он то и дело покидал Таню и названивал, но всякий раз было занято, или никто не отвечал, или не срабатывал телефон — лучше было бы, конечно, дозвониться из автомата, потому что, если он будет звонить из гостиницы, она тут же, не вешая трубку, сумеет выяснить, где он находится, но они уже пришли к себе, — Борис Львович сел на кровать и набрал номер — сердце его колотилось, как бешеное, — "Да, Рута Ивановна у себя", — сердце его упало и забилось еще сильнее, потому что он все-таки надеялся, что попал не туда, — "Я слушаю", — раздалось обычное, и он сразу понял, что это ее голос, — "Мне было очень приятно познакомиться с вами позавчера, — начал он, интеллигентно поигрывая голосом, — вы, наверное, меня не запомнили, — продолжал он все на той же ноте, словно беседуя с кем-то из коллег, — я член Московской коллегии адвокатов", — "Да, да, — неопределенно сказала она, так что неясно было, вспомнила она его или нет, — еще не поздно было положить трубку — "Так вот, вы выгнали меня из гостиницы , — грубо выпалил он, и теперь уже отступать было некуда — Я судебно-медицинский эксперт, — начал он снова, взбираясь на прежний регистр, но сердце его стучало так, что он не слышал собственных слов, — я судебно-медицинский эксперт, — повторил он, перехватывая воздух, — и по роду своей работы имею дело с трупами", — теперь ему казалось, что это говорит не он, а кто-то другой, словно все это происходит на сцене, а он только присутствует, — "Причем здесь все это? — еще секунда, и она бросит трубку, но в то же время в голосе ее чувствовалось страшное замешательство и даже испуг, как будто ее окружила

толпа людей, вырвавшихся из сумасшедшего дома, и все же она могла положить трубку — Так вот, я могу ставить диагнозы по одному только виду человека", — торопливо заговорил кто-то со сцены, и Борис Львович слушал с прыгающим сердцем — "У вас рак, — сказали со сцены, — и вам надо лечиться", — добавил уже от себя Борис Львович, чтобы как-то смягчить то, что было сказано со сцены, и в то же время, чтобы она почувствовала в нем, Борисе Львовиче, заинтересованность как в столичном специалисте, который мог бы ей помочь, если бы захотел, и от этого она должна была бы еще острее ощутить ту роковую ошибку, которую она совершила, выгнав его из гостиницы, — странная тишина воцарилась в трубке, но какая-то напряженная, как будто бы находившуюся на том конце провода смотрели под рентгеном, и Борису Львовичу даже показалось, что он слышит дыхание врачей, склонившихся над экраном, — "Да, я знаю это", — не то усталым, не то упавшим голосом сказала та, которую смотрели, и Борис Львович хотел что-то сказать еще, но кто-то вырвал из его рук трубку, — это была Таня — бросив трубку на рычаг, она стояла над ним с бледным лицом, словно посыпанным пудрой, — "Что ты наделал, боже мой!" — вскрикнула она, закрыв лицо руками, и заплакала, почти заголосила, жалобно, как будто ее обидели, — "Я был бы хорошим врачом! Я поставил правильный диагноз!" — торжествующе воскликнул Борис Львович, вскочив с кровати, на которой он сидел, и пытаясь оторвать Танины руки от ее лица, но вместо ликования его самого охватила какая-то странная дрожь, — он вышел на балкон — внизу, по широкой улице, обсаженной деревьями и устланной желтыми листьями, фланировали толпы гуляющих — был самый полдень, но солнце было подернуто дымкой, потому что гостиница, в которой они теперь жили, находилась в самом центре города, в воронке, и по словам экскурсоводов здесь скапливались все выхлопные газы.

Вечером они с Таней пошли смотреть поющие фонтаны. Они вышли из гостиницы, когда стемнело, — когда они вышли на площадь, зрелище было в самом разгаре — струи воды, подсвечиваемые разноцветными — красными, синими, зелеными — огнями, то били сильно и высоко, то спадали, то вовсе прерывались, и все это сопровождалось музыкой — то какой-то национальной, восточной, то "Апассионатой", которая почему-то похрипывала, — наверное, пластинка была заиграна, но на вершине мелодии, на самом гребне ее, там, где она ввинчивалась куда-то в самое сердце, красные фон-

таны начинали бить сильнее, а зеленые и синие сникали, — фонтаны превращались в пульсирующие артерии, потом они обменивались цветами — в мелодии появлялись мажорные голоса — площадь вокруг фонтанов была запружена гуляющими — перемежающиеся огни освещали смуглые лица аборигенов — наверное, это было привычное для горожан место, где они встречались, назначали свидания или просто гуляли, пока дети сидели на ограде фонтанов, свесив ноги, — а редкие белесые люди — какие-то солдаты, скорее всего пограничники, в фуражках с зелеными околышами — их, наверное, отпустили в увольнительную, и они пришли сюда полюбоваться фонтанами — были здесь чужаками, пришельцами, но цветовые пятна фонтанов перемежались на их лицах так же, как на лицах аборигенов, и они так же внимательно слушали музыку, в том числе местную, национальную, — Борис Львович почувствовал даже какую-то общность с этими людьми — они, наверное, говорили по-русски так же хорошо, как он и Таня, — после осмотра фонтанов Борис Львович лежал на своей высокой старинной кровати в гостиничном номере и, чуть приподнявшись и надев очки, рассматривал бородавку на животе — она была какого-то странно зеленого цвета и даже как будто чуть увеличилась за прошедшие два дня — нет, она явно увеличилась, и он видел, как где-то там, в глубине ее, происходит медленное, но неуклонное размножение клеток, — он вдруг увидел перед собой серое, морщинистое лицо женщины, кутавшейся в серый вязаный платок, — желудок ее — Борис Львович почему-то считал, что у нее именно рак желудка, — желудок ее был уже почти целиком занят опухолью, зеленовато-желтой, почему-то похожей на кочан цветной капусты, — она уже ничего не могла есть, — он почувствовал приступ тошноты, как будто это у него самого в желудке была распадающаяся цветная капуста, — его бородавка, наверное, станет для него возмездием за то, что он сказал этой женщине, — внезапно зазвонил телефон, стоявший на тумбочке между кроватями, — высокий, старинный, времен Эдисона, — звонок был продолжительный, междугородний — Таня взяла трубку — звонила мать Бориса Львовича из Москвы — лицо Тани стало сразу отчужденным, как в троллейбусе или в трамвае, когда Борис Львович не знал, с какой стороны он должен ее загораживать, спереди или сзади — Андрей собирается жениться? не ночует дома? на Инне? — да, последнее время он бывал у нее, но ни Борис Львович, ни Таня ни разу ее еще не видали, — "Это все дело рук твоей мамы, — сказала Таня, с ожесточением кладя трубку

на рычаг, — это она его довела своими придирками", — Таня села на кровать напротив Бориса Львовича, тяжело опустив голову и притоптывая одной ногой по полу, — "Впрочем, она вполне могла и придумать это", — сказала Таня, и лицо ее приняло еще более холодное и отчужденное выражение — "Как ты думаешь, моя бородавка — это не страшно? это не возмездие за историю с директоршей?" — "Он хочет жениться, чтобы уехать", — сказала Таня, попрежнему глядя куда-то вниз, на пол, словно там заключалась разгадка всего, — "Только ради этого, — твердо повторила она, — и если хочешь знать, это и есть возмездие", — добавила она, посмотрев на Бориса Львовича, и в глазах ее на секунду вспыхнули уже знакомые ему искорки презрения к нему — он долго не мог заснуть, щупая свою бородавку, и никак не мог понять, что страшного в том, что Андрей собирается жениться без любви, а кроме того все это еще могло оказаться чепухой.

VI

Мираж

Здание вокзала, построенного из такого же серого туфа, как все остальные дома в этом городе, стало медленно уплывать назад, затем пошли пристанционные постройки, какие-то бараки, одинокие вагоны, приспособленные под жилье, склады, кучи щебня или известки — обычный околостанционный пейзаж, но Борису Львовичу почему-то приятно было думать, что это особая грязь, свойственная только этому городу, — слава богу, они теперь с ним расстаются, — а там, дальше, виднелись дома, наверное, обвешанные бельем, громоздящиеся друг над другом по крутым склонам, поросшим зеленью, со скрывающимися в ней высокими белыми памятниками — наверное, он никогда больше не увидит этого города, — на секунду ему стало жаль, что они так мало посмотрели здесь, потому что город был действительно древний и сюда стекались туристы из разных стран мира — последние два дня они слонялись без дела по центру, делали какие-то ненужные покупки — Таня купила себе расписанные восточным орнаментом серебристые чувяки, похожие на старинные ладьи, — она хотела купить такие же чувяки для Инны, и Борис Львович вначале удивился, а потом это показалось ему вполне естественным — как это он сам не додумался? — с дру-

гой стороны, значит, женитьба Андрея была не одни лишь разговоры, — но Таня не знала Иннинoго размера, хотя ей откуда-то было известно, что она маленькая, — она даже сказала что-то умилительное о размере ее ноги — они вернулись к прилавку, но Таня почему-то колебалась — купить или нет — нет, она не знала точного размера, и Борис Львович решил, что еще, может быть, все обойдется, — а оба вечера они ходили по центральной улице, устланной желтыми листьями, — "Как хорошо, что мы в центре, а?" — то и дело повторял Борис Львович, дергая Таню за рукав, — "Да, да" — механически отвечала она, чтобы отвязаться от него и, словно очнувшись, добавляла уже совсем другим тоном: "Слава богу, нам уже немного осталось быть в этом паршивом городе", — они заходили в кафе, которых было много рядом с их гостиницей и на других центральных улицах — в кафе за столиками сидели молодые люди и девушки — одна из них, смуглая, стриженная, почему-то запомнилась Борису Львовичу — она была местной, но Борису Львовичу нравился такой тип женщин — шатенка, чуть скуластая, с серыми глазами, чем-то похожая на Таню в молодости, — все они были у себя дома и говорили о своих делах, и смеялись и шутили, — а их Андрей никак не мог устроиться на работу после окончания института, и хотя он был светлее Бориса Львовича и даже больше походил на Таню, он уже тоже старался прятать на улицах или в транспорте свое лицо, но делал это незаметно, пока что под маской неуместного посвистывания или напускной бодрости и даже молодечества, — но внутри у него была натянута какая-то струна, и Борису Львовичу казалось, что она в любой момент может лопнуть, — где-то там, на горячей и каменистой земле, бронированные танки с пятиконечной звездой стреляли в людей, похожих на Бориса Львовича и Андрея, но эти люди дрались, и выстаивали, и подрывали эти танки, потому что это была их страна и там им не нужно было прятать свое лицо, — город со своими белыми и серыми, тонущими в зелени домами и памятниками уплывал куда-то назад — "Смотри! смотри!" — сказали Борис Львович и Таня друг другу — знакомая двугорбая вершина плыла вместе с поездом, незаметно поворачиваясь так, что меньший конус стал постепенно заходить за больший — точно так же, как когда они ехали на экскурсию в резиденцию местного патриарха, тот древний монастырь из серого шершавого камня — вероятно, железная дорога шла параллельно шоссе, по которому они тогда ехали, — меньший конус полностью спрятался за высокий, так что теперь вместе с ними плыл только один — высокий,

серебристый, почти таявший в белесоватом небе, — лежавший на конусе снег казался нетронутым, но что это? — почти на самой вершине конуса снег казался изрытым, как будто там что-то копали или прошла какая-то экспедиция, а может быть это просто так странно отсвечивал снег — "Смотри, смотри, похоже на крест", — сказал Борис Львович — они сидели друг против друга, глядя в окно, в своем двухместном купе, закрывшись от всех, Таня даже не успела еще разобрать вещи, и из ее набитой сумки торчала купленная на дорогу вареная курица — "Это не крест, это шестиконечная звезда, неужели ты не видишь? — сказала Таня, — это совершенно точно, я в этом абсолютно уверена", — следы от санных упряжек или от лыж вели на самую вершину, а может быть и куда-то за нее, на ту сторону, и пересекались с такими же следами, опоясывавшими вершину, — следы эти или, может, взрыхленный снег сверкали на солнце, — и все-таки конус постепенно отставал от поезда, так что Борис Львович даже переменился с Таней местами, чтобы не выворачивать шеи, следя за постепенно отстающей вершиной, — все-таки на ее склоне что-то поблескивало — "Да, действительно похоже", — сказал Борис Львович неуверенно — "Не похоже, а точно", — сказала Таня, принявшись за разборку вещей, — Борис Львович пытался вспомнить, как называется такое явление, когда люди видят плывущий по небу парусник или умирающие от жажды видят караван верблюдов с водой или оазис — кажется, это называлось мираж, хотя Борису Львовичу казалось, что есть какое-то другое, более точное слово, — пересев на прежнее место, по ходу поезда, так, чтобы наплывающее на него пространство было видно заблаговременно, он разложил перед собой карту местной республики, а рядом положил фотоаппарат с телевиком, — красная линия, обозначавшая железную дорогу, приближалась к государственной границе — там, за этой границей, обозначенной двойной жирной линией, почему-то не было ни возвышенностей, ни низменностей, ни рек, ни железных, ни шоссейных дорог, а только сплошное белое поле, словно все там было покрыто снегом, кроме нескольких населенных пунктов, обозначенных нейтральными кружками, — за окном промелькнула станция — Борис Львович еле успел прочесть ее название, скорее даже догадался, потому что уже выучил это название по карте, — станция, от которой железная дорога еще более приближалась к государственной границе, а потом шла совсем вплотную к ней и параллельно, — за окном виднелись какие-то однообразные равнины, а там, дальше, холмы и даже горы, — вероят-

но, то, что было за холмами, а может быть даже сами холмы и были тем, что на карте обозначалось белым, как северный полюс, цветом — потом вдалеке появились какие-то деревеньки — еле заметные игрушечные домики, — и вдруг совсем рядом с поездом, где-то внизу, так что Борису Львовичу даже пришлось привстать, чтобы охватить все это взглядом, побежала колючая проволока — два ряда проволоки, а между ними мелькающие полосатые столбики, — "Таня, Турция!" — закричал Борис Львович, одной рукой опуская стекло, а другой подтаскивая Таню к окну, — в купе ворвался горячий и сухой ветер — Борис Львович высунул в окно руку до самого плеча, и рука его, рассекая воздух, мчалась над колючей проволокой, — ему даже показалось, что она выходила за ее пределы, — значит, те деревни на плоскогорье и на низком холме были не наши, — но почему они были пустынны? — может быть, белая карта была права? — хотя разве на таком расстоянии можно увидеть людей? — еле различимые домики под плоскими крышами, а в них крестьяне, может быть, даже бедные, но собственники, и им не надо ходить ни в какой колхоз, и там совсем другие законы, но земля и там, и здесь была одинакова, и дома тоже ничем не отличались от здешних домов — над плоскокрышыми домиками возвышался силуэт какой-то вышки, похожей на элеватор, — "Мечеть! Минарет!" — одновременно воскликнули Борис Львович и Таня — "Ну, конечно, они же мусульмане", — сказала Таня — "Как это я сразу не догадался", — подумал Борис Львович — там, за холмами, наверное, было еще много деревень, и все с минаретами, потому что деревни без минаретов там так же немыслимы, как у нас деревни без сельсоветов, и люди шли в эти минареты, не крадучись, а торжественно, потому что это было их обязанностью, — схватив фотоаппарат и нацелив телеобъектив на деревню и минарет, Борис Львович стал щелкать — кадр за кадром, даже чуть высунув телеобъектив в окно, словно он обстреливал окружающую местность, — он торопился, потому что деревня с каждой минутой уменьшалась и вскоре вообще должна была скрыться за холмом, а кроме того его могли заметить пограничники и сообщить на ближайшую станцию, а может быть даже прямо по рации машинисту, — чуть подальше опять потянулась колючая проволока — снова два ряда, потом еще, — наверное, это была нейтральная земля, и на ней росла такая же чахлая трава и такой же колючий кустарник, как и там дальше, на плоскогорье, и как на другой, нашей стороне, но это была абсолютно запретная зона, и только деревянные вышки стоя-

ли в ней, с отвесными деревянными лестницами, ведущими к обзорной площадке, прикрытой навесом, и такие же вышки стояли дальше, за проволокой, — навесы поддерживались деревянными столбами, но на площадках никого не было, — наверное, это были не наши вышки, и только на одной, дальней, виднелись какие-то неподвижные фигуры — наверное, турецкие часовые — Борису Львовичу даже показалось, что они в фесках и со старинными ружьями — они с Таней взбирались по отвесной лестнице — Борис Львович впереди, одной рукой держась за перекладины, а другой протягивая паспорта — свой и Танин — турецкие пограничники со смуглыми лицами и в фесках, отставив в сторону ружья образца 1896 года, наклонились со своей площадки к Борису Львовичу и Тане и, протянув к ним руки, помогали взобраться на вышку, — как те бородатые, с золотистыми от загара лицами и ясными скандинавскими глазами, протягивавшие им руки с вершины снежного конуса, — ни тем, ни другим не нужны были их паспорта — им и так все было понятно — знакомый сладковато-горький ком подступил к горлу Бориса Львовича, — отойдя в самый угол купе, чтобы его не заметили, он щелкнул несколько раз эту вышку с неподвижными фигурами часовых — впрочем, это могли быть и наши часовые, а может быть просто дополнительные столбы, поддерживающие навес, и минарет в деревне с плоскокрышыми домами тоже мог оказаться пограничной вышкой или просто элеватором — ряды колючей проволоки постепенно уходили куда-то в сторону, а вместе с нею и вышки, — по карте тоже должно было так быть — последнее, что увидел Борис Львович, была песчаная дорога, по которой, наверное, никогда не ездили, уходившая куда-то вдаль, параллельно рядам проволоки, и терявшаяся среди дальних холмов, — стало быстро темнеть, как будто наступил вечер, — поезд шел по какой-то лощине, по обе стороны которой возвышались горы, — Борис Львович достал транзистор, но из приемника доносился лишь сухой треск, потому что стенки вагона не пропускали радиоволн, — Борис Львович знал это, но на всякий случай решил попробовать, — вечером они ели курицу — Таня подкладывала Борису Львовичу кусочки белого мяса, а сама обсасывала крылышки, но ночью Бориса Львовича мучила изжога, потому что все-таки это была сухомятка, а вечером следующего дня они прибыли в Москву, — сквозь мокрое от дождя окно расплывались яркие огни вокзала, но Андрея они увидели сразу, хотя поезд еще не остановился, — в руке у него была почему-то дорожная сумка — он стоял среди толпы

встречавших и, вытянув шею, напряженно всматривался в окна вагонов — Борис Львович и Таня стали стучать ему в окно, но он не сразу увидел их, потому что был близорук и носил очки, — заметив их, он помахал им рукой и пошел вслед за вагоном, но как-то неловко, потому что его стали оттеснять другие, — они стояли на перроне, Борис Львович, Таня и Андрей, под мелким осенним дождем — Таня прижала к себе Андрея, как она это делала всегда, боясь, что его у нее отнимут, и наклонив его голову к себе, целовала в щеки и в лоб, — Борис Львович тоже чмокнул его в щеку, для чего ему пришлось слегка приподняться на цыпочки, — у Андрея была нежная, как в детстве, кожа и жестковатая, хотя и редкая, щетина, и Борису Львовичу почему-то неприятно было, что у Андрея растет борода и что он бреется каждый день, — мог бы это делать хотя бы через день, — но фигура у Андрея была все такая же тщедушная, и он по-прежнему сутулился — в его сумке было пальто для Бориса Львовича, потому что когда они уезжали, было еще лето, — их толкали, потому что они мешали проходу, — Борис Львович натягивал на себя пальто, а потом они путались в вещах — кому что взять — Андрей шел впереди, оглядываясь на родителей, не то раздражаясь, что они отстают, не то боясь, что их затолкают, — в такси Таня с сыном сели сзади, и Борис Львович напряженно прислушивался к тому, о чем они говорили, но разговор шел о каких-то пустяках, и Борис Львович то и дело поворачивался к ним, пытаясь острить и каламбурить, как он всегда это делал, сын обычно понимал его с полуслова, — но теперь все его остроты повисали в воздухе, наталкиваясь на что-то непреодолимое, словно между ним и сидящими сзади женой и сыном была воздвигнута стеклянная перегородка, — все же они ехали домой, и Андрей привез Борису Львовичу пальто, значит, он жил дома — в прихожей их встретила мать Бориса Львовича, Тамара Борисовна, — стол был уже накрыт к ужину — Борис Львович быстро обошел все комнаты, везде зажег свет, подтянул гирю на ходиках, висевших в прихожей, — все было на месте: его письменный стол, книги, кресла в комнате матери, а в комнате у Андрея, над его тахтой — поврежденная штукатурка с расходящимися от нее трещинами — Андрей когда-то играл в своей комнате в мяч — все это было свое, не то что в гостинице — как все-таки хорошо дома, особенно после того, что им пришлось перетерпеть во время поездки, — впрочем, теперь вся эта история с гостиницей выглядела скорее как развлечение, и Борису Львовичу даже не терпелось поскорее рассказать об этом за столом, когда все сядут

ужинать, — как он проучил эту администраторшу с землистым лицом, закутанную в шарф, — "Та-ня! Та-ня!" — призывно, словно в лесу, закричал он, переходя из комнаты в комнату, — "После длительных скитаний мы домой вернулись с Таней, на вокзале сын Андрей встретил нас за пять рублей!" — произнес он, входя в свой кабинет, — Таня и Андрей сидели за низким круглым столиком, за которым он обычно работал друг против друга, тихо беседуя о чем-то, с серьезными лицами, — когда он вошел, они замолчали, словно говорили о его болезни, о которой сам он не должен был знать, — встав с кресла, Таня повернулась к Борису Львовичу, словно загораживая собой сына, — "Они женятся, а потом хотят уехать", — сказала она — Андрей закурил от какой-то импортной зажигалки, картинно затягиваясь и выпуская дым, но пальцы его почему-то дрожали, — они дрожали у него с тех пор, как его избили, и у него было сотрясение мозга — его избили в какой-то незнакомой компании, куда он случайно попал, избили ни за что — какой-то верзила в свитере и с длинными волосами — Борис Львович отвез тогда Андрея в больницу и каждый день навещал его, и беседовал с врачами, и ходил к своим коллегам-юристам, и в милицию, и к знакомому прокурору, и в институт, где учился верзила, и у него прыгало и выпадало сердце, и вместо одних слов он почему-то произносил другие, но верзила так и остался безнаказанным, — накануне отъезда Бориса Львовича и Тани Андрей разбил хрустальную вазу, которую Таня купила за несколько дней до того, — просто швырнул ее на пол, потому что Таня сказала, что они с ним не поедут, — не могут поехать из-за Тамары Борисовны, и пусть Андрей на это не рассчитывает — "Тогда я знаю, что мне делать!" — крикнул Андрей — на следующий день он принес новую вазу, точно такую же, купленную им на какие-то свои карманные деньги, — почти каждый день он приносил домой письма "оттуда", которые ему давали почитать, — Борис Львович и Таня углублялись в чтение этих писем, а Тамара Борисовна демонстративно хлопала дверью и запиралась у себя в комнате — она считала, что Борис Львович и Таня потворствуют Андрею, в особенности Борис Львович, — он просто растлевает его вместо того, чтобы обуздать, — между Андреем и Тамарой Борисовной происходили баталии — Андрей звонил Борису Львовичу на работу и просил, чтобы он утихомирил Тамару Борисовну, но та оставалась неумолимой и кричала Андрею, что он идиот и мягкотелый моллюск, потому что поддается влиянию всяких провокаторов, — он запускал в бабушку

тапком, и Борис Львович тоже покрывался испариной, потому что Тамара Борисовна не видела, что происходит, не хотела видеть — ей было хорошо и так, а у Бориса Львовича лежали в ящике письменного стола работы по юриспруденции Советской России 20-х годов, и эти рукописи он боялся показать даже своим знакомым, — и Андрей тоже писал рассказы, которые нельзя было послать ни в одну редакцию, и не мог устроиться на работу, — а насчет того, что Борису Львовичу приходилось прятать лицо и Андрею тоже, в особенности после того, как его избили, — а еще раньше, когда он учился в школе, несколько ребят из параллельного класса стали стенкой — это происходило в школьном дворе, — они стояли тесно друг к другу, сомкнувшись плечами, — и когда Андрей хотел их обойти, вся эта стенка стала молчаливо двигаться то вправо, то влево, и один из них, толстый, белобрысый, с узкими, как у свиньи, глазами крикнул ему: "Сарра!" — и при этом нарочно картавил, — Андрей метался из одного угла двора в другой, а они улюлюкали, — а потом, когда им надоело, белобрысый толкнул его коленкой под зад так, что Андрей шлепнулся вместе с портфелем на асфальт — портфель отлетел куда-то в сторону, и очки тоже разбились, — но дома Андрей ничего не рассказал, — просто сказал, что потерял очки, и только много лет спустя выпалил это Тамаре Борисовне во время одной из баталий — Тамара Борисовна только пожала плечами и крикнула, что на себе она "этого" никогда не чувствовала, — "Правильное решение", — сказал Борис Львович, глядя на лицо сына, темноглазое, но чуть скуластое, как у матери, — и даже хотел добавить, что давно пора, но пол под его ногами почему-то вдруг качнулся, как в гостинице, когда он вернулся от директорши, и вместе с полом качнулись книжные полки и люстра, и на секунду ему даже показалось, что в комнате стало темно.

VII

Минута молчания

Сквозь колеблющийся слой воды в ванне Борис Львович видел свой волосатый живот и зеленоватую бородавку, словно каменистое морское дно где-нибудь возле Пицунды, где вода почему-то всегда была прозрачной и полированные камни зыбились, и дрожали, и казались большими, чем на самом деле, благодаря оптическо-

му эффекту, — но все равно видно было, что бородавка не увеличилась, а даже как-то подсохла, и если бы Борис Львович захотел, он бы смог легко ее сковырнуть — шум льющейся из крана воды, которую Борис Львович всегда пускал в ванну, чтобы восполнить утечку, мешал ему различить слова — Таня разговаривала по телефону с Андреем, но от этого было даже как-то еще уютнее, — как в молодости, когда он приезжал на каникулы или на праздники домой и принимал ванну, а в железной печке ярко полыхало и гудело пламя, и он время от времени подбрасывал туда еще уголь или деревянные чурки, не вылезая из ванны, а только чуть приподнимаясь, чтобы не иссякли запасы горячей воды, — откуда-то из кухни или из столовой слышались голоса родителей, — неужели его мать, Тамара Борисовна, была тогда моложе, чем он сейчас? — и голос тети Шуры, их домработницы, — в столовой уже был накрыт стол, и отец то и дело что-нибудь подхватывал с тарелки, — Тамара Борисовна запрещала ему это, потому что ему это было вредно, а кроме того за стол надо было садиться всем вместе — ждали только Бориса Львовича, — а потом он женился и стал приезжать уже с Таней, и она тоже участвовала в хлопотах по приготовлению ужина, — так же, как и сейчас, он приоткрывал горячий кран, чтобы вода в ванне не остывала, а потом погружался с головою, оставив на поверхности только рот и нос, чтобы можно было дышать, и тогда звуки голосов и расставляемой посуды, достигавшие его ушей через слой воды, сливались, превращаясь в какой-то подземный гул, и к этому примешивался еще шум льющейся из крана воды, тоже преображавшийся в какое-то клокотанье, и все это переносило его в какие-то еще более ранние времена, которых он почти не помнил, но, очевидно, это тоже было купанье, после которого его заворачивали в мохнатое полотенце, а потом давали ужинать в постель, — сейчас на кухне его тоже ожидал ужин — Таня уже давно побрякивала там посудой и что-то жарила, а Тамара Борисовна несколько раз хлопала крышкой холодильника — они с Таней почти не разговаривали сейчас — только по делу — и Тамара Борисовна старалась заходить на кухню, когда Тани там не было, — голос Тани, говорившей по телефону, сливался с хлопаньем крышки холодильника и с шарканьем ног Тамары Борисовны, превращаясь в уютный подземный гул, — "Та-ня! Та-ня!" — призывно закричал он, присаживаясь в ванне и чуть приоткрывая дверь в коридор, чтобы лучше слышать, о чем говорила Таня с Андреем, — они с Инной еще не расписались, но Андрей почему-то ночевал там и иногда забегал лишь на минут-

ку, — Борису Львовичу все казалось, что это какое-то недоразумение: они с Таней вернулись из отпуска и живут дома, а Андрей почему-то ночует в другом месте и по вечерам звонит домой, — не для того, чтобы сообщить, что придет поздно и чтобы они не волновались, а чтобы рассказать, что Лушка, Иннина собачка, очень похожа на кошку и даже царапается, а хвост у нее трубой — на следующий день после приезда Тани и Бориса Львовича Андрей сказал, что будет ночевать у Инны, — вечером Борис Львович и Таня пошли пройтись — подходя к дому, они всматривались в окна — в окно комнаты Андрея — на минуту им показалось, что там горит свет — старый торшер с выцветшим голубым абажуром, который Таня давно собиралась выбросить и сменить на настольную лампу, чтобы Андрей не портил свое зрение, а Борис Львович был против, потому что Андрей все равно будет читать лежа, и это будет только бессмысленная трата денег — они даже замедлили шаг, но такой же голубоватый свет виднелся во многих окнах дома — просто отражались огни уличных фонарей — окно Андрея холодно поблескивало, как окна всех темных комнат, но все-таки, придя домой, они заглянули в его комнату, и Борис Львович даже зажег свет, но только верхний — торшер был действительно старый и даже поломанный, а на стене, над тахтой, белело пятно от осыпавшейся штукатурки, — Борис Львович снова погрузился в ванну с головой — голос Тани, говорившей с Андреем, звуки на кухне и шум льющейся воды снова слились в уютный гул, возвращая Бориса Львовича в прошлое, словно он прикладывал к ушам гигантские морские раковины, как это делал в детстве, — он тоже когда-то переехал к Тане, не расписавшись, и его приятели говорили ему, что еще не поздно, и вообще молодости свойственны всякие проказы и увлечения — "Та-ня! Та-ня!" — снова призывно закричал Борис Львович, привстав и выглядывая в коридор, — "Я не могу сейчас, ты же слышишь, я разговариваю", — она беседовала с Андреем тихо и серьезно, как тогда после приезда, когда Борис Львович вошел в свой кабинет, а они сидели за круглым столиком и тихо беседовали о чем-то, — и точно так же они беседовали в те короткие минуты, когда Андрей забегал домой, чтобы пообедать или переодеться, словно они что-то скрывали от Бориса Львовича, — во время одного из таких посещений Таня, став между сыном и Борисом Львовичем, как в тот первый раз после приезда, сказала, что Андрей с Инной решили ехать не "туда", а "за океан", потому что "там" в любой момент снова всегда могла вспыхнуть война, и "там" даже

девушки служат, а Андрей — мужчина, и его обязательно призовут, и в этом отношении она с Инной совершенно согласна, — Борис Львович удивился, как это он сам не додумался до этого, и попросил сына только об одном: не работать "там" против "наших", потому что он, Андрей, не должен забывать, что они с Таней остаются здесь заложниками, — и когда он говорил это, пол снова качнулся под его ногами, как тогда, в день их приезда и как в гостинице, — а Андрей закурил и сказал, что он все хорошо понимает, — но у Бориса Львовича опять качнулся пол под ногами и показалось, что в комнате потемнело, — в ванную услужливо заглянула Тамара Борисовна: "Тебе что-нибудь дать?" — "Закрой дверь", — грубо сказал Борис Львович, потому что ему неприятно было, что мать видела его голым, хотя ее это нисколько не стесняло — в этом был весь ее характер — и кроме того она особенно охотно предлагала ему свои услуги, когда в отношениях между Борисом Львовичем и Таней возникало хотя бы малейшее напряжение — во всяком случае так объясняла ему Таня — Тамара Борисовна обидчиво и подчеркнуто независимо зашаркала подошвами своих шлепанцев, удаляясь на кухню, — и все-таки все это было какое-то недоразумение, не имевшее к тому же никакого отношения к нему, Борису Львовичу, особенно когда он погружался в ванну с головой и слушал шум морских раковин, — "Скажи ему, что он Карла!" — закричал Борис Львович снова, вынырнув на поверхность, — Карл был племянником Бетховена, единственной его привязанностью на склоне лет, и своим беспутным поведением ускорил смерть великого композитора, — Борис Львович, когда-то увлекавшийся Бетховеном, часто рассказывал об этом за столом и ему казалось, что только Андрей понимает его, — слово "Карла" придавало всему этому нечто смягчающее и вместе с тем юмористическое, как полагал Борис Львович, — "Слышишь, что я говорю?" — кричал Борис Львович, закрывая кран, чтобы лучше слышать Танин разговор по телефону, — "Передай ему, что он Карла!" — повторил он, встав на ноги и высунувшись в коридор, — но Таня только махнула рукой в его сторону, словно отгоняя назойливую муху, а когда он снова погрузился в подводный гул, перемежая его с рассматриванием своего живота с зеленоватой неопасной сухой бородавкой, она неожиданно вошла в ванную и сказала, что послезавтра Андрей окончательно переезжает к Инне.

Был воскресный день, и они встали не слишком рано и не слишком поздно, как всегда в субботу или в воскресенье, когда пред-

стояли какие-то дела — Андрей еще спал — эту ночь он провел дома — последнюю ночь, и Борис Львович и Таня, осторожно, на цыпочках вошли в комнату сына — Таня тихонько открыла шкаф, в котором лежали вещи Андрея, и стала вынимать их и аккуратно складывать на комод и на стул — Андрей спал, как всегда, откинув руку с тонкими, почти еще детскими пальцами, так, что она свешивалась с кровати, другую положив под щеку, — чуть приоткрыв рот, — Таня тоже обычно спала так же безмятежно и глубоко — в выходные дни или в каникулы Андрей мог спать сколько угодно, — Борис Львович даже предлагал поставить такой эксперимент: вот не будить его, и все — интересно, до скольких он проспит: до часу или до четырех? — потому что сам Борис Львович обычно не спал уже с шести утра, — но Таня, когда Андрей спал, всегда ходила на цыпочках и говорила Борису Львовичу: "Т-шш", даже если он разговаривал тихо, — она запрещала ему заходить в комнату Андрея, хотя Андрей от этого не просыпался, — но сегодня его нужно было собрать, а Таня почему-то хотела дать ему как можно больше простынь или пододеяльников, как будто он был невестой, у которой должно было быть приданое, — Борис Львович неловко топтался в углу комнаты возле книжного шкафа, точно ему что-то надо было там взять, — Андрей на секунду открыл глаза — темные, как у Бориса Львовича, с чуть голубоватыми белками — "молочные", как их почему-то называла Таня, — и тут же закрыл их, погрузившись в прежнюю безмятежность, — "Т-шш", — сказала Таня Борису Львовичу, приложив ладонь к губам и на секунду оторвавшись от простыней и пододеяльников, — в детстве Андрей жил в другом городе, у родителей Бориса Львовича, и когда Таня и Борис Львович приезжали на праздники или просто так, на несколько дней, Андрей прибегал к ним в комнату в длинной, до пят, байковой ночной рубахе — он шлепал босыми ногами по полу и взбирался к ним на постель — "Папа и мама приехали!" — гордо объявлял он всем знакомым — оказывается, у него тоже были родители, как и у других детей, и даже лучше, потому что они жили в Москве, там где были Мавзолей и Красная площадь с курантами, — эти родители были какие-то ускользающие, редкие и потому особенно интересные, — а на следующий день после их приезда Андрей всегда просыпался рано, словно это был день его рождения и в соседней комнате его ждал подарок, — бабушка не пускала его будить родителей, но он все-таки прорывался к ним и шлепал босыми ногами по полу и, взобравшись на постель, устраивался между Борисом Львовичем и

Таней, в своей длинной байковой рубашке, с такой же бархатистой кожей — стопки белья лежали на комоде и на стуле, готовые погрузиться в чемодан, и Борис Львович и Таня пошли доставать этот чемодан откуда-то с полатей между кухней и прихожей, — потом они завтракали на кухне — они втроем и Тамара Борисовна — все вместе, словно ничего не произошло и не должно было произойти, и Таня, как обычно, делала Андрею бутерброды — с сыром и с колбасой — Борис Львович всегда возмущался этими бутербродами, и Тамара Борисовна тоже — неужели Андрей не может сам себе сделать бутерброд? — и всем рассказывали об этом, и все осуждающе кивали, но Таня отмалчивалась и продолжала делать Андрею бутерброды, стараясь положить побольше масла, а Андрей не спеша съедал один бутерброд за другим, словно все это так и полагалось, — за окном шел мелкий осенний дождь, и на кухне горел свет, — Таня суетилась возле плиты и с бутербродами, а Тамара Борисовна ела молча и руки ее, когда она наливала себе чай, дрожали — Андрей не любил чая, и Таня, как обычно, налила ему томатный сок, — пока он пил свой сок, она уже снова ушла в его комнату, чтобы упаковывать чемодан, а потом инструктировала его, сколько она ему даст простынь и наволочек и где что лежит, — Андрей курил и рассуждал о политике, а в перерывах — о Лушке, которая похожа на кошку, и его тонкие пальцы чуть дрожали, когда он подносил зажигалку к сигарете.

Он стал надевать свою нейлоновую куртку, и Таня стала что-то срочно к ней подшивать, — Борис Львович снова топтался возле книжного шкафа — Тамара Борисовна молча шаркала по своей комнате — Андрей, продолжая рассуждать о политике и о Лушке, натянул починенную куртку — Таня втолковывала ему что-то напоследок, проводя по куртке влажной щеткой, потом она принесла ему чемодан и поставила рядом — появилась Тамара Борисовна, остановившись в дверях, — Борис Львович вышел в прихожую, — наступила странная тишина, какая бывает перед тем, как начинают заколачивать гроб, и только размеренно тикали ходики, — Таня вдруг расплакалась и бросилась на шею к сыну, крепко прижав его к себе, и стала покрывать поцелуями его лицо и волосы, — Тамара Борисовна тоже заплакала и тоже громко, — а Борис Львович кусал себе губы, чтобы удержаться, — Андрей поочередно поцеловал всех, потом еще раз, и глаза у него тоже стали влажными, — на секунду опять стали слышны ходики — Борис Львович открыл входную дверь, чтобы поскорей все это закончить, — взяв чемодан,

Адрей вышел на лестницу, а Таня и Тамара Борисовна подошли к двери и вышли почти что на площадку, слушая, как он спускается по лестнице, — Борис Львович тоже подошел к ним и стал позади, приподнявшись на цыпочки и вытянув шею, но шагов Андрея уже не было слышно. Таня побежала на балкон, — Борис Львович тоже вышел за ней следом — они стояли под дождем, на пронизывающем осеннем ветру — в узком проезде между домом и бульваром показалась фигура Андрея — в нейлоновой куртке, ссутулившаяся, с чемоданом в руке — он пошел по бульвару, на секунду исчез за деревьями с желтой, почти уже осыпавшейся листвой, потом снова показался, уже на противоположной стороне улицы, но где-то уже совсем вдалеке — маленькая фигурка с чемоданом — подошедший троллейбус закрыл ее, а когда он тронулся, Андрея уже не было видно — троллейбус увез его, и Борис Львович и Таня, не чувствуя ни сырости, ни ветра, следили за мокрым от дождя троллейбусом, пока он не скрылся у них из глаз.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА **"ЖУРНАЛ"**

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр. 12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва–Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"

выпускает новую книгу

НИНА ВОРОНЕЛЬ. **ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ – СОРОК ВОСЕМЬ**

(сборник фантастических пьес)

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Предполагаемый объем — 200 стр. Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow–Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Давид Шрвер (Петров)

МОНОЛОГ ЛОТА

Посвящается Эмилии Поляк (Шрвер)

Не оглядывайся, жена.
Слава Богу, еще жива
Наша плоть,
Наша кровь
И любовь.
Позади дорога длинна,
Впереди тайга, как стена.
Не оглядывайся, жена.
Не пройти наши годы вновь.

Не оглядывайся, жена.
Это год седьмой,
Роковой.
Оголтелые племена
Жгут обманные письмена
За моей и твоей спиной.

Не оглядывайся, жена.
Кара Божья предрешена.
Воспылает, как факел, Отказ.
В адском пламени
Корчится мразь.
Из Египетских — эта казнь.

Степь горит,
Дым валит,
Вопль и вой.
И Архангельскою Трубой
Голос Лота, мой голос: Жена!
Не оглядывайся, не на...

Не оглядывайся, жена.
Перепутаны стремена,
Тонут люди и корабли,
Задыхаются овцы в пыли,
И младенцы плывут в крови.
Уходи из этой земли.
Здесь Содом и Гоморра,
И мразь.
Из Египетских эта казнь.

Не оглядывайся, жена.
Это древней земли семена
Прорастают в твоей душе.
Не оглядывайся, жена.
Ну еще немного, уже...
И откроется взору страна,

Где библейские письмена —
В каждом храме и шалаше.
Не оглядывайся, жена,
Мы с тобою на рубеже.

октябрь 1986. Москва

Д. Шраер — профессиональный литератор, отказник, живет в Москве. Стихотворение взято из подборки, пришедшей по каналам Самиздата, и печатается без ведома автора.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Вышел в свет первый номер литературного альманаха "САЛАМАНДРА".
Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев, М. Каганская и другие.
Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).
Цена экземпляра при заказе — 15 долл.,

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ЮБИЛЕЙНОЕ ИРОНИЧЕСКОЕ

Посвящается 76-летию замечательного человека Тедди Колека, легендарного мэра Иерусалима.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

перевод

с идиш, ладино, иврита, арабского, муграби, латинского, амхарского и греческого

Анонима Окуня

Предисловие

Удивительный, необычайный город Иерусалим! Да и город ли вообще. Вот, к примеру, настоящие города, города великие, великолепные, с душой своей и характером: Рим, Париж, Венеция, Барселона, Прага, Петербург... Да и ведь (не дай Бог) разрушь до основания Рим, скажем, или Париж, и — где Рим? Где Париж? А Иерусалим — до камушка разнеси, плугом распахай (что бывало), он все равно Иерусалимом остается. Не город он — Место. Место, где между человеком и небом кратчайшее в мире расстояние. Не город, а провокация, не дающий ни днем, ни ночью покоя вопрос: Кто ты? Зачем ты? Почему ты?

И все-таки город тоже. Город, где шуршат шины автомобилей на улице Пророков; где окутанные дымом жаровен улицы Агриппас пьют пиво солдаты и вкушают шофера такси вареный из коровьей ноги суп. Где за столиками кафе улицы Бен-Иегуда лакомятся почти парижскими круассонами самые красивые женщины в мире, а в темном баре Финка, что на углу улиц Гистадрут и короля Джорджа, тянут бренди и арак одетые в пиджаки и жилеты морщинистые старцы, помнящие времена Оттоманской империи и британского мандата.

Город, где шумят в автобусах курчавые школьники, торопятся куда-то бородатые хасиды, звенят

жестянками требовательные нищие, кричат продавцы газет и тихо бредут, неся в руках карты, иноземные туристы.

О, Иерусалим! Все в тебе прекрасно, даже то, что прекрасно не совсем. Прозрачны твои дни и благоуханны ночи. Ужасны твои хамсины и благословенны твои дожди. Замечательна ткань на волнующихся боках твоих регулировщиц и благородна форма ермолок на головах твоих ученых мужей. Чуден аромат твоих роз и прельстителен запах фалафеля и шварма. И все в тебе легенда: синагоги и рынки, долины и присутственные места, камни и чиновники, суды и забегаловки, дворцы и автомобильные стоянки.

Легенды Иерусалима... Разносит ли их ветер, пересчитывающий белье в переулках Меа Шеарим? Или это оливы в долине Кедрона нашептывают их древним гробницам? А может, это просто эхо наших шагов в узких улочках Старого города? Или они рождаются поцелуями влюбленных, где-нибудь в закоулках Нахлат Шива, под деревьями улицы царя Давида?

И вот, малая часть этих легенд ныне перед тобою, читатель. Прими же их с любовью и восторгом, коих они, безусловно, заслуживают. Впитай их в сердце свое и пусть отныне они всегда будут с тобой.

Переводчик.

Случай из юности Колека

Это случилось давным давно, еще до создания государства Израиль. Столица наша, Иерусалим, была городом малым, грязным, пыльным. Не было ни деревьев на улице Бен Иегуды, ни садов, ни парков. Одним словом, погулять, пройтись или чашку кофе выпить по-приличному – об этом и говорить не приходится. Поэтому молодой Колек отправлялся гулять по окрестностям. Однако во время прогулок душа его не была спокойна. Вот уже не первый год был он женат, но детей не было у него и не предвидилось.

Идет он, не видит ни замершей в небесах волны Моавского хребта, ни блистающей полосы Мертвого моря не наблюдает. Ни розовые дуги Иудейских гор, ни дрожащее серебро олив, ни животный мир: гордые изумрудные ящерицы, коварные мохнатые пауки, страшные дерзкие муравьи – ничто ему не мило, ничто не в силах развеять сковавшие его грусть и печаль.

Так ноги его сами собой принесли на некую горку – глянь, а

под горкой ужасно! Некий ишмаэлит в шапке-арафатке*, схватив еврея злодейским образом за горло, свободной рукою бьет камнем по голове да так, что кровь тому не только весь пиджак залила, но и брюки, и даже не земле лужею стоит. Неподалеку от этого несчастья расположился мужчина, всплеснув руками, по виду христианин, но какой — не ясно.

Понял Тедди, что увещевания тут не помогут, решимость надобна. Схватил он свою любимую винтовку маузер — Бах! — прострелил злодею руку с камнем. Подбежал, смотрит: трое, все в состоянии самом прискорбном находятся: еврей хрипит, голова пробита, мусульманин кровью тоже исходит, христианин же в нервном обалдении обомлел.

Взял Тедди их всех троих на спину и понес к себе домой. Много дней и ночей не спали они с женой. Врачеванием занимались, настойками пострадавших поили, питали бульонами для крепости, повязки меняли, обмывали губками, ставили компрессы, творили молитвы, меняли постельное белье.

И вот как-то на исходе субботы встали все трое со своих лож как ни в чем ни бывало, здоровые, сильные, и говорят: "В благодарность за то, что ты нас спас от греха смертоубийства, а затем преданно за нами ухаживал, даруют тебе небеса много детей. Будут они подчас, как мы были, вздорны и неразумны, однако же все тебя будут почитать и в тебе одном видеть защиту и надежду". Сказали и исчезли.

Только потом, когда стал Тедди Колек мэром Иерусалима, отцом всех живущих в нем от мала до велика, без различия пола, веры и возраста, понял он, что те трое были ангелы.

Тедди Колек и оле-хадаш

Жил был в Иерусалиме один оле-хадаш, приехавший из Изгнания на родину евреев. А в то время опять приключился в стране кризис: ни работы, ни заработков, только горести и напасти. И дошел тот оле до последней степени отчаяния: весь в долгах, банки в минус не дают, даже электрическая компания свет ему отключила. И вот, как-то в канун праздника Песах сидит он дома — в печали и сокрушении сердца.

* — головной убор, иной раз называемый — куфия

Вдруг стук в дверь. Открыл, смотрит – стоит человек, невысокий, полный, в пиджаке.

"Шалом, – говорит человек, – можно войти?" "Как, – спрашивает,– поживаете, еврей?"

"Как поживаю?" – отвечает оле-хадаш, – а у самого слезы в глазах стоят.

И стал жаловаться гостю, показывать неоплаченные квитанции, угрожающие от банковских адвокатов разные письма и тому подобное.

"Не будет ли у вас чего-нибудь закусить?" – спрашивает.

"Увы, – отвечает хозяин, – уж простите меня, ранее хоть карточка кредитная была, да и ту вчера отобрали, не на что в Супер-соль за продуктами сходить".

"Может, кофе какого, чаю?" – вопрошает опять гость.

"И этого, извините, нет, – опечаленный отвечает оле-хадаш. – Вот, разве что осталась у меня заветная бутылка вина, коию хранил на свадьбу дочери своей, так если согласитесь..."

"Ну, разве что по рюмочке", – ответил пришелец.

Достал оле бутылку, два бокала стеклянных достал, налил.

"Как вас звать, простите", – спрашивает. "Тедди, – отвечает гость,– Тедди Колек".

"Ну что ж, – говорит оле, – Лехаим!"

"Лехаим", – ответил гость.

Чокнулись они. Выпили. Потянулся было оле за бутылкой, вдруг раз – и во всей квартире зажегся свет. Повернулся – а гостя нет. Исчез. Смотрит – стоят два бокала полных. Бутылка заветная – запечатанная. Лежат на столе и квитанции – на всех штамп: "уплочено". Кредитная карточка-"виза" лежит, чековая книжка. И телевизор стоит. Цветной. "Сименс".

Случай из детства Тедди

Маленький Колек был на редкость смышленным и милым ребенком – любимцем Вены. Уже в четыре года он говорил на пяти языках, играл на виолончели, рояле и кларнете, а также знал наизусть всего Гете и Шиллера. Сам Франц-Иосиф, император австрийский, любил вечерами играть с чудо-ребенком, а уж когда навещали императора разные другие короли или императоры, то первым делом показывали им Тедди – гордость австрийского народа.

Родители же не знали, как лучше употребить такое везение. То

ли маленького Колека — в юристы, то ли по придворной части определить. За всем этим делом никак не удосужились родители дать Колеку еврейское образование. И вот, как-то приехал к Францу-Иосифу французский император. "Где — говорит, — Ваше императорское величество, знаменитый чудо-ребенок, вундеркинд Тедди Колек?"

Послали за Колеком, и вот сидят они втроем — Франц-Иосиф, французский король и Колек, кофий по-венски со сливками кушают и беседуют. И все-то Колек знает в свои четыре года, и обо всем этом поговорить интеллигентно может, и до того заговорил французского гостя, что стало тому обидно: мол у Франца-Иосифа есть такой ребенок, а у него нет. Давай он ему каверзы строить: а, мол, Гей-Люсака, ты мальчик, знаешь, или там про Каролингов-Меровингов слыхивал? А Колек вежливо так ему все отвечает, да еще и присовокупит невзначай как бы: да мол, конечно, об этом еще Фройд* сказал в беседе с государем Францем-Иосифом и т. д. Стыдно стало Французу: мало того, что на все вопросы ответил ему Колек, так еще перед императором Францем его необразованность выставил, потому что про Фройда французский император не знал. Насупился он, усы встопорщил: подумаешь Фройд, а вот Дрейфуса ты знаешь?

Молчит Колек.

"То-то, — обрадовался французский государь — у нас во Франции про него все знают, а ты вот и не знаешь".

Нахмурился император Франц: вот как, оказывается, его чудо-Колек не знает того, что во Франции всякий знает.

"Иди, — говорит, — домой".

Вот идет Тедди по улицам, плачет, а навстречу красивый такой мужчина с черной бородой. "Что с тобой, — говорит, — мальчик?" А Колек горько плачет, рыдает, слова вымолвить не может. Завел его этот мужчина в ближайшее кафе, стал чаем отпаивать. Выпил Колек чаю и грустно так говорит: "Плачу я из-за Дрейфуса, из-за него стенаю". Изменился в лице мужчина, спешно заплатил за чай и домой побежал. А как прибежал домой, стал быстро-быстро писать статьи и все подписывал — Теодор Герцль**. Так на него горе юного Колека повлияло, что он основал сионизм.

Да и сам Колек понял, что не будет ему теперь житья в Вене. Стал халуцем и уехал в Палестину.

---

*См. в этом номере статью Фрейда. — Прим. ред.

**См. в этом номере статью Гутиной. — Прим. ред.

Однажды сидел Тедди Колек в Саду Независимости на скамейке и размышлял, где ему денег раздобыть, дабы украсить Иерусалим еще больше. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нему высокий такой господин с бородкой и говорит на иврите: "Простите, мол, не найдется ли у Вас закурить?" "Не курящий." — отвечает ему Тедди. А господин этот был с собачкой. С черным пуделем. И говорит бородатый господин Колеку: "Вы, я, извините, вижу, в задумчивости находитесь! Быть может, я Вам чем помочь могу?" А Колек меж тем давно догадался, с кем это он разговаривает. "Отчего ж, — отвечает, — очень даже можете". "Нужно мне, — говорит, сто милльенов долларов в Иерусалимскую фондейшн, а еще проблемный район Катамоны отремонтировать, дабы был там Дом Культуры — Матнас, чистота, красота, порядок".

— А что же, — обрадовался бородатый тот господин, — но не даром. Вы, любезный, мне расписочку, а я...

— Чего уж там, — махнул рукой Колек, — ясное дело. Но с условием, чтоб Катамоны за ночь, как Рехавия были. Не справишься, денежки-доллары мои, а про расписку забудь и не проси.

Ну, ударили они по рукам. Сатана, стало быть, чек на сто милльенов выписал, а Колек обязательство о продаже души подписал. Меж тем, наклонился Сатана к пуделю, сказал тому по-немецки (черти промеж собой всегда по-немецки разговаривают), пес и исчез. Тедди же, будто того не заметив, говорит: "Пока суть да дело, не пойти ли нам в Синематеку кино посмотреть?" "А что ж, — говорит Сатана, — с удовольствием".

Сходили они в кино, а потом в ресторацию "Мишкенот-Шананим". Сатана на вопрос, какую кухню предпочитает: "Ашкеназийскую, — говорит, — я, видите ли, в некотором роде ек*." Пошутил так. Ну, поели они селедочки рубленой, печеночки, гефилте фиш, водочки выпили. Хоть и патриот Тедди, а водочку Смирнова взял, нашей-то "Кармель-Мизрахи" только жуков травить. А перед тем, как куриный бульон-консоме кушать, сходил Колек в туалет. Покушали они, значит, бульон-консоме, а с мясом под кислосладким соусом отведали вина "Гамла". Делают это вино на Голанских высотах евреи-поселенцы, но в стране Израиля его не продают, только за границу. Это, должно, злодейская "Кармель-Мизрахи"

* ек — прозвище немецких евреев.

им запретила — только, говорит, за границу, а здесь не дадим, засудим. Поэтому этим замечательным вином израильскому простому жителю возможно только в Америке наслаждаться, но Тедди исхитрился все же его из-под полы добывать и всегда при себе несколько бутылок имел.

Ну, затем, как водится, кофий с меренгами и штруделем, а тут уж, глядишь, и утро настало.

— Ну, — говорит Сатана, сам себя по пузу гладит. — Давай, Колек, расписку!

— С нашим удовольствием, — отвечает Колек, — а все же, желательно мне сперва на Катамоны поглядеть.

Улыбнулся Сатана, но возражать не стал. Сели они в колековский "Форд-сиерра" и поехали. Приезжают, а Катамоны, как были — одна грязь и запустение. Сатану чуть удар не хватил: весь красный стал, руки трясутся, губы прыгают. "Где, — кричит, — мой помощник? Где он?"

Улыбнулся Тедди, снял трубочку телефона-автомата, позвонил. Глянь — появляется джип, вылазют из него три молодца-сержанта "Мишмар-ха-Гвуль" — Стражи пограничной, а за ними на веревке пудель волочится: язык на боку, хвост дрожит, шерсть свалялась, сам скулит, жалобно так. "Ну, — говорит Тедди, а сам "кабалу" свою на мелкие кусочки рвет. — Извольте, господин мой, чек сюда подать, а я Вам собачку верну". Насупился Сатана, да делать нечего. Подал он Колеку чек, пальцем щелкнул и исчез с мопсом вместе.

Хитер был Сатана, а того не взял в расчет, что Колек в Вене родился, по-немецки запросто и понимать, и писать мог. Смекнул он, что Сатана пуделю велел за ночь Катамоны отстроить. Так он перед бульоном-консоме не в туалет пошел, как все думали, а в Пограничную стражу про подозрительную собаку позвонил.

Ну, а те ребята свое дело хорошо знают. Счастье, что вообще живой скотина осталась.

Так Тедди Колек и Сатану обманул, и сто милльенов заимел. Вот только Катамоны так Катамонами и остались.

Чудо на Рамотской дороге

Раз надумали строить в Рамоте, западной части Иерусалима, бассейн, дабы рамотские жители, мужчины и женщины, в жаркие дни могли спасаться в нем от зноя, а зимой укреплять тело вод-

ными процедурами. Жившим неподалеку ортодоксам пришлось не по нраву, что мужчины совместно с женщинами и девицами в воде потехи творить будут. Опять же завидно стало, что у рамотцев бассейн есть, а у них нет. Вот и стали они в ночи выходить из своих обиталищ на рамотскую дорогу и метать камни в рамотских партикулярных граждан, направляющихся в центр и наоборот.

Вот как-то выстроились они черными рядами, талесы развевают и мечут камни. Многие партикулярные жители полегли на месте, а другие, не в силах превозмочь религиозную силу, дрогнули и уверенность в себе потеряли. Казалось, еще немного и предмет их радости, гордости и похвальбы — бассейн будет разрушен. Вдруг перед упоенными бранным успехом ортодоксами возник небольшого роста человек в белом пиджаке-смокинге и властной рукой повелел им: "Остановите сие безответственное безобразие и немедля вернитесь в свои жилища к женам и детям!" "Кто таков ты есть, чтобы нам здесь указывать?" — крикнул Главный Ортодокс, сморщенный старец.

"Я, — ничуть не смутясь, ответствовал ему пожилой человек, — я мэр вам, этого города хозяин Тедди Колек".

"Ах, Колек, — вскричал страшным голосом Главный Ортодокс. — Так вот тебе, получай!" И мощным движением руки, ухватив целую скалу, запустил ею в бесстрашную фигуру градоначальника. В немом ужасе наблюдали рамотные люди как, описав кривую дугу, ударила скала в грудь Тедди Колека. Ну, думают, все, вот и конец Колеку пришел. Но не тут-то было. Отскочила скала от груди Колека, словно резиновый мячик, полетела назад и вдарила Главного Ортодокса промеж глаз под меховую шапку.

И вдруг все побросанные зловредными ортодоксами камни сами собой зашевелились и полетели в них один за другим, только свист в воздухе стоит да вопли уязвленных. Пораженные великим этим чудом, бежали ортодоксы с Рамотской дороги, попрятались по своим обиталищам и более никогда не осмеливались рамотным партикулярам препоны чинить.

Колек же свой пиджак-смокинг в химчистку отдал: негоже мэру в грязном ходить.

Отчего Голда померла

Когда молодой Колек приехал в Эрец-Исраэль, он первым делом запустил себе на лице красивые черные усы. Такие это были заме-

чательные усы, что полюбоваться на них приходили люди аж из Багдада, Дамаска и Феса. В Америке в те времена усы никто не носил. Все, как один, ходили с бритыми мордами, словно актеришки. Когда же дошел до Америки слух о колековых усах, то тамошнее еврейское население заволновалось и многие даже ездили в Палестину с целью самим убедиться в немыслимой красоте колековских усов. Некоторые даже совсем оставались в Эрец-Исраэль и называли себя халуцим.

Вот как-то приехал в Америку некий еврей из Палестины собирать деньги для ишува и для привлекательности в местах лекций вывешивал портрет Колека с усами.

Так случилось, что одна юная еврейка, увидев этот портрет и усы на нем, до того взволнована была, что не спала много ночей и решила тоже быть халуцой. А была та юная еврейка — Голда Меир.

Вот приехала она в страну Израиля и ну работать! В руках ее кипит, спорится, а сама все на Колека поглядывает, мол, обрати на меня, Колек, свое внимание! А Колек до того усами был занят, что на девушек внимания почти не обращал, ну, чистый Нарцисс!

Раз такое дело, Голда давай еще пуще работать, стараться и так и этак, и до того доработалась, что стала премьер-министром всей страны.

А тут подоспел праздник Судный день, когда все по синагогам сидят — молятся. Вот в этот самый день и не выдержала Голда, велит Колеку явиться. Ну, вот и пришел. А она ему, мол, Тедди, усы твои меня с ума свели, нет моих сил терпеть более; мол, буду твоей сей секунд и немедленно. Хвать его и давай целовать. Вот они милуются, а в дверь стучат. Они же — никакого внимания. А это министры собрались оттого, что враг, прослышав, как Голда с Колеком милуются, немедля перешел все границы и напал по-коварному.

Министры же без Голды и пальцем шевельнуть боялись, потому что она министрам работать не давала, всю работу хотела сама делать, дабы Колека прельстить. Они за дверью в крик, слезы, да ничего не слышит влюбленная Голда.

Совсем министры в отчаяние впали, да ведь делать что-то надобно. Взяли они все скопом тогда Даяна. "Ты, — говорят, — военный министр, тебе и расхлебывать". Раскачали его и головой в дверь — бац! Выбил Даян дверь, полетел, да глазом за кроватную шишку зацепился (оттого он потом всегда с повязкой ходил). А там уж

министры на колени падают, рыдают, кричат: "Помилуй, матушка премьер-министр, война!"

Ну, там все спешно решать кому куда, а Колек, видя, что из-за его усов такое произошло, махнул рукой и сбрил усы.

Только война кончилась, Голда ему опять велит во дворец явиться. Увидела его, потемнела: "Где усы?" — вопрошает грозно. А Колек ей в ответ: "Мне, — говорит, — товарищ премьер-министр Голда Меир, родина дороже усов!" Поняла Голда, что Колек прав, да только сердцу не прикажешь. С горя начала она курить по три пачки сигарет в день и вскоре умерла.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ **КАССИР ВЕЧНОСТИ (ПЬЕСЫ И ЭССЕ)**

350 стр. 19 долл.

...Талантливый композитор вынужден приписать свои творения вымышленному "народному гению", но вот "гений" является за славой собственной персоной...

...Кухарка, тронутая палочкой Феи, становится распорядительницей культурного ведомства, а Фея, ставшая кухаркой, оказывается лицом к лицу с похотливым кухаркиным мужем...

...Забредший на волжский дебаркадер Христос предстает перед хмельным скопищем человеческих уродцев, и они готовы распять подозрительного чужака...

И рядом с этими жуткими в своей правдивости, лишь оттененной фантистичностью, сценами советского быта — праздничная процессия Каннского фестиваля; закулисные тайны бродвейских театров; иронические портреты западных феминисток — иной мир, иные проблемы...

Эта книга — двуликий Янус, обращенный как к тем, кто ищет в литературе напряженного сюжетного драматизма, так и к тем, кто хочет с ее помощью понять окружающую новую жизнь.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва–Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Зигмунд Фрейд

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ

...К осени 1938 года у Фрейда уже оставалось мало сил. Все их остатки он вложил в свое последнее, прозвучавшее как взрыв, произведение. То был "Моисей и монотеизм", по сути — три эссе и два предисловия, написанные значительно раньше и подкреплявшие психоаналитическими соображениями гипотезу (уже выдвигавшуюся неоднократно другими) о том, что Моисей был египтянин. Даже проведенное кем-нибудь другим, это исследование, где делалась попытка доказать столь спорную идею, обречено было вызвать бурное недовольство; вышедшее из-под пера человека, который — несмотря на свое отрицание еврейской религии — утверждал, что "в главном" он заедино с евреями, оно легко могло быть расценено как интеллектуальная измена.

Страстное ощущение Фрейдом своего еврейства не может быть поставлено под сомнение, и поэтому "Моисей и монотеизм" произвел тем большее впечатление на ортодоксальные круги. За много лет до того, в письме Максу Графу, который хотел крестить своего сына, Фрейд недвусмысленно писал: "Если вы не дадите своему сыну вырасти как еврею, вы лишите его таких источников силы, которые не могут быть замещены ничем другим. Пусть он борется с жизнью как еврей, а вы — помогите ему обрести всю ту силу, которая ему для этого понадобится. Не лишайте его этого преимущества". А еще в 1909 году он говорил Карлу Юнгу, что тот призван стать Иошуа бин-Нуном, который завоюет обетованную страну психоанализа, куда ему, Фрейду, подобно Моисею, не суждено вступить. Артуру Шницлеру, в ответ на поздравление с 70-летием, он писал: "Эмо-

ционально еврейство все еще весьма существенно для меня", — а издателю швейцарско-еврейского еженедельника "Юдише прессен-централе": "Я всегда очень сильно ощущал родство со своей расой и укреплял это чувство в своих детях..." Когда местное отделение "Еврейского научного института" приветствовало его прибытие в Англию, он ответил его членам весьма решительно: "Вы несомненно знаете, что я всегда охотно и с гордостью принимал свое еврейство, хотя мое отношение к любой религии, включая нашу, критически негативно".

Однако понадобился приход к власти Гитлера с его теорией еврейства как особой и зловредной разновидности людей, чтобы Фрейд всерьез задумался над вопросом о подлинной сущности еврейства, об особенностях его исторического развития и о причинах, традиционно ведущих к его преследованиям. Его ответом на эти вопросы было возрождение к жизни гипотезы о том, что Моисей был египтянином, который разошелся с официальной религией фараонов и, собрав вокруг себя группу последователей, вывел их из Египта. Арнольду Цвейгу он однажды сказал, что его книга будет называться "Этот человек Моисей", с подзаголовком "исторический роман" — и добавил, что эта работа, видимо, никогда не будет опубликована. Свой пессимизм Фрейд причудливо обосновывал тем, что Австрия находится под властью католицизма, а такая гипотеза оскорбит католиков. К тому же, выдвинутая основателем психоанализа, она может привести к запрету этого учения и психоаналитических публикаций в стране.

Другое, более серьезное объяснение своих колебаний Фрейд дал спустя несколько недель в письмах тому же Арнольду Цвейгу и Эйтингтону. Он признавал, что ощущает шаткость своих исторических обоснований. Специалистам, — писал он, — легко будет дискредитировать меня как профана". Цвейгу он добавлял: "Так что оставим лучше эту затею..."

Но он не сумел надолго ее оставить, потому что она "мучила (его) как бездомный призрак". В 1937 году он решил свою проблему тем, что довел до конца два из трех очерков, составляющих книгу, и опубликовал их в своем журнале "Имаго". В первом он снова выдвигал довольно простой тезис, что Моисей был египтянином, а во втором ("Если бы Моисей был египтянином...") изобретательно пересматривал библейскую версию истории, исходя из предположения, выдвинутого в первом. Как ни провокативна была публикация, она обходила главный анализ, содержавшийся в третьем и самом пространном очерке, который, по словам самого Фрейда, "был действительно открыт для возражений и опасен (поскольку там содержалось) — приложение (моих выводов) к проблеме происхождения монотеизма и религии вообще". Этот анализ он тогда сохранил в тайне, видимо полагая, что не опубликует его никогда.

Редактируя две первых главы для "Имаго", он проделал то же самое с третьей и в начале 1938 года отредактировал и ее. Она таила в себе особое очарование для Фрейда, поскольку развивала выводы, к которым он некогда пришел в "Тотеме и табу", где религия сводилась "к коллективному неврозу, а ее невероятная власть над людьми объяснялась точно так же, как власть невроза над больными пациентами...". Но вопреки его утверждению в предисловии, написанном еще до отъезда из Вены, что он не говорит тут ничего нового, третья глава ("Моисей, его народ и монотеистическая ре-

лигия") была намного более резкой, чем "Тотем и табу". Там он исследовал зарождение религии в доисторические времена; здесь он одним ударом подрывал основы еврейской веры и христианской церкви. Но Гитлер — "новый враг, которому я не хотел бы способствовать ни в чем, куда опаснее старого (католицизма. — прим. переводчика), с которым мы уже научились жить в мире", — еще не подчинил себе Австрию. Следовало ублаготворить старого врага, и решение было очевидным. Последняя часть "Моисея и монотеизма" должна была остаться "в укрытии до тех пор, пока не сможет безопасно появиться на свет или пока кто-нибудь другой, кто придет к тем же выводам, не скажет: "В те мрачные времена жил человек, который замышлял то, что я сделал"...".

Все изменилось после "аншлюсса" и эмиграции Фрейда в Лондон. "Едва лишь я прибыл в Англию, как ощутил неодолимый соблазн познакомить мир с моими результатами и начал пересматривать третью часть своего эссе, чтобы согласовать ее с первыми двумя, уже опубликованными", — писал он. Результат, как он сам признавался во втором предисловии, написанном уже в Лондоне, был художественно неуклюжим. Тем не менее его влияние на еврейство представлялось слишком существенным, и когда планы Фрейда стали известны, его стали посещать многие еврейские ученые (в том числе самый выдающийся тогда библеист профессор Яхуда), уговаривая отказаться от публикации.

Фрейд отчетливо сознавал, на что идет. "Нечего и говорить, что я нисколько не хочу оскорбить свой народ, — писал он Чарлзу Зингеру. — Но что я могу поделать? Всю свою жизнь я отстаивал то, что считал научной истиной, даже когда это было неприятно и небезопасно для моих последователей. Я не могу кончить жизнь актом отречения".

Он торопился. Хотя в Амстердаме уже было договорено о немецком издании, он непрерывно писал Эрнсту Джонсу, жена которого переводила книгу на английский, упрашивая ускорить работу. Напомним, что и поначалу его удерживал от публикации только страх за будущее психоанализа в Австрии, а не боязнь еврейского протеста, но он окончательно разъяснил свою позицию, когда встретился с президентом "Еврейского научного института" Яакобом Мейтлисом. Не теряя времени и наверняка побуждаемый гостем, который, как вся еврейская община, жаждал узнать, что готовит им Фрейд, он тотчас перешел к своей теории монотеизма. "Он не отдает предпочтения ни одной религии, — записал Мейтлис. — Все религии созданы людьми, и он не видит ни в одной следов святости. Задача науки — вскрыть эту истину и освободить духовную эволюцию от всех позднейших наслоений и чужеродных элементов. Он понимает, что его возненавидят за это. И тем не менее он доволен, что его книга вскоре появится. "Она рассердит евреев", — добавил он...

"Моисей и монотеизм" появился на немецком языке в Амстердаме в марте 1939 года, и в день получения авторских экземпляров Фрейд написал Гансу Захсу: "Моисей сегодня появился здесь в двух экземплярах... Мне кажется, это достойный уход...". Однако Цвейгу (в числе самых немногих) он признавался и в другом, видимо сожалея, что опубликовал книгу в столь ужасное для еврейства время: "Именно теперь, когда у них все отнято, мне довелось отнять у них самого великого их человека".

"Моисей и монотеизм" был расценен широкими кругами — и не только ортодоксальным еврейством — как одна из самых неудачных фрейдовских работ. Очевидная причина этого состояла в хаотической структуре, сложившейся в результате особенностей ее написания, редактирования и переписывания. Возраст также налагал свои ограничения... Однако в главной своей части книга, как ни странно, лучше вынесла нападки исследователей Библии, чем упреки биологов. Ибо в ней, в отличие от "Тотема и табу", отвергаемое биологией ламарково "наследование приобретенных признаков" не только составляло неотъемлемую часть аргументации, но и объявлялось главной причиной многовекового сохранения чувства вины в еврейской истории, якобы передаваемого из поколения в поколение.

Фрейду оставалось жить всего шесть месяцев... Весь сентябрь его состояние продолжало ухудшаться. Он почти не мог есть, пить и спать*. Утром 21 сентября, когда Шур** сидел у его кровати, Фрейд сказал ему: "Дорогой Шур, вы наверняка помните наш первый разговор. Вы тогда обещали не оставлять меня, когда наступит конец. Теперь мне не осталось ничего, кроме пытки, и я не вижу смысла продолжать".

Шур не забыл... "Когда он снова впал в беспамятство, — писал он позднее, — я ввел ему два кубика морфия. Вскоре он почувствовал облегчение и мирно заснул. Через двенадцать часов я повторил эту дозу. Силы его были настолько исчерпаны, что он впал в кому и больше уже не просыпался. Он умер в три часа утра 23 сентября 1939 года...".

Из книги Рональда Кларка "Фрейд: человек и его дело".

Часть 1. Моисей как египтянин

Лишить народ человека, которого он прославляет как величайшего из своих сынов, — не из тех поступков, на которые решаешься с легким сердцем, особенно если сам принадлежишь к этому народу. Никакие соображения, однако, не заставили бы меня отказаться от истины в пользу так называемых "национальных интересов". Тем более, что в данном случае разъяснение истинной стороны проблемы может лишь углубить понимание сути этих интересов.

** Начиная с 1923 года, когда у него был обнаружен рак полости рта, Фрейд перенес 33 тяжелейших операции, последнюю — в августе 1939 года, в Лондоне, за месяц до смерти, которая последовала в возрасте 83 лет. (Прим. переводчика.)*

*** Макс Шур в течение одиннадцати лет был личным врачом Фрейда. (Прим. переводчика.)*

Этот человек Моисей, освободитель народа, даровавший ему его религию и законы, жил в такие отдаленные времена, что первым делом возникает вопрос, существовал он вообще или является легендарной фигурой. Если он действительно жил, то это было в XIII–XIV веках до н. э.; сведения о нем содержатся только в еврейских священных книгах и еврейской письменной традиции. Огромное большинство исследователей, хотя и без окончательной исторической уверенности, считает, что Моисей действительно существовал и что исход из Египта, который он возглавил, действительно имел место. Эти историки не без основания утверждают, что вся последующая судьба Израиля просто не может быть понята, если с этим не согласиться. Наука сегодня вообще стала более осторожной и относится к традиции с большим доверием, чем на заре исторических исследований.

Первое, что настораживает нас в личности Моисея, — его имя, которое на иврите пишется "Моше". Возникает законный вопрос: откуда оно взялось? что оно означает? Как известно, на этот вопрос отвечает история исхода. Из нее мы узнаем, что египетская принцесса, которая вытащила ребенка из нильских вод, нарекла его этим именем, добавив "этимологическое" разъяснение: "Поскольку я вытащила его из воды...". Но это разъяснение явно недостаточно. "Библейское толкование имени Моисея — "тот, что вытащен из воды", — пишет автор "Юдише лексикон", — это народная этимология и не согласуется с активной формой его значения на иврите: "Моше" — это в лучшем случае тот, кто вытаскивает"*. К этому возражению можно добавить еще два: во-первых, вряд ли можно приписывать египетской принцессе знание ивритской этимологии; а во-вторых, как мы увидим, вода, из которой был вытащен ребенок, скорее всего не была водой Нила, да и вообще какой бы то ни было реки.

С другой стороны, многие и уже давно высказывали предположение, что имя "Мозес" взято из египетского словаря. Ограничусь цитатой из Брестеда ("На заре сознания"), основной труд которого, "История Египта", считается весьма авторитетным. "Существенно отметить, что имя Мозес является египетским. Это попросту египетское слово, означающее "дитя", которое является сокращением таких имен, как "Амон-мозе" (Амон-дитя) или

* От ивритского глагола "лимшот" — вытаскивать (например, из воды). (Прим. переводчика.)

"Пта-мозе" (Пта-дитя), а они сами, в свою очередь, вероятно являются сокращениями полных выражений "Амон (дал) дитя" или "Пта (дал) дитя". Сокращенное "дитя" довольно рано стало удобной заменой громоздкого полного имени, и слово "Мозе", "дитя" — не редкость на египетских памятниках. Отец Моисея скорее всего дал своему сыну имя какого-нибудь египетского бога, вроде Амона или Пта, но это божественное имя постепенно утерялось при употреблении, пока ребенка не стали называть просто "Мозе". Дополнительное "с" в конце появилось при переводе на греческий язык и не связано с ивритом, в котором это имя произносится просто "Моше"..."

Я привел цитату буквально и не беру на себя ответственность за все ее детали. Меня однако удивляет, что упоминая все эти имена, Брестед прошел мимо аналогичных богоподобных имен египетских царей: А-мозе (Амос), Тут-мозе (Тутмос) и Ра-мозе (Рамсес).

Можно было бы ожидать, что автор, признавший "Мозе" египетским именем, сделает вывод (или хотя бы предположение), что его носитель и сам был египтянином. В наши времена такие умозаключения — от имени к расе — не порицаются, и они тем более законны и убедительны в случае более ранних и примитивных времен. Но насколько мне известно, ни один историк не сделал такого вывода, включая тех, кто, подобно Брестеду, готов был допустить, что Моисей был "знаком со всей египетской мудростью".

Можно лишь гадать, что их остановило. Возможно, слишком глубокое уважение к библейской традиции. Возможно, им показалось чудовищным само предположение, что этот человек Моисей мог быть неевреем. Как бы то ни было, признав его имя египетским, они не сделали из этого никаких выводов о его происхождении. И если мы действительно придаем вопросу о национальности этого великого человека серьезное значение, мы должны приветствовать любые новые факты, которые могут пролить свет на этот вопрос.

Именно это я пытаюсь сделать в своем небольшом очерке. Новое в нем — это приложение психоанализа. Поэтому достигнутые здесь выводы будут приемлемы, пожалуй, только для тех, кто знаком с аналитическим подходом и способен оценить его заключения. Для них, я надеюсь, этот очерк представит определенную ценность.

В 1909 году Отто Ранк, тогда еще находившийся под моим влиянием, опубликовал по моему предложению книгу, озаглавленную "Мифы о рождении героев". В ней он обсуждал тот факт, что "почти все цивилизованные народы на ранней стадии своей истории прославили в мифах и воспели в эпосе своих легендарных царей и принцев, основателей религий, династий, империй и городов, короче — своих национальных героев. При этом особенно фантастическими чертами наделялась история их рождения и раннего детства, и исследователям хорошо известно неоднократно их поражавшее и удивительное сходство, можно сказать — тождество таких рассказов, даже относящихся к совершенно разным народам, порой далеко удаленным друг от друга географически".

Следуя Ранку, мы реконструировали (с помощью метода Гальтона) "типичный миф", чтобы сделать более явными основные особенности таких рассказов, и получили следующую формулу.

"Герой является сыном знатных родителей, чаще всего царя.

Его рождению препятствуют трудности, вроде полового воздержания или временной стерильности родителей; порой родители вынуждены держать свою связь в тайне из-за запретов или других внешних причин. Во время беременности матери или даже раньше некий оракул (или сон) предостерегает отца, что рождение сына повлечет за собой угрозу его безопасности.

В результате отец (или заменяющий его человек) приказывает убить новорожденного или подвергнуть его другой крайней опасности; в большинстве случаев ребенка кладут в корзину и бросают в воду.

Затем ребенка спасают животные или бедные люди, вроде пастухов; его выкармливает самка животного или бедная женщина.

Выросши и пройдя череду приключений, герой открывает, кто его родители, мстит отцу и, признанный народом, становится славным и могущественным".

Самой древней из реальных исторических личностей, с которыми связан подобный миф, был аккадский царь Саргон, который примерно в 2800 году до н. э. основал Вавилон. В наших интересах уместно привести слова, сказанные им о самом себе: "Я Саргон, великий царь, царь Аккада. Моя мать была жрицей, своего отца я не знаю, а брат моего отца жил в горах. В городе Азупирани, на берегах Евфрата, моя мать, жрица, зачала меня. Втайне родила она меня. Она положила меня в камышовую корзину, залила отверстие смолой и опустила в реку. Поток не поглотил меня,

а принес к Акки-водоносу. Акки-водонос, добрый человек, извлек меня из воды. Акки-водонос воспитал меня как своего сына. Акки-водонос сделал меня надсмотрщиком в своем саду. Там меня возлюбила Иштар. Я стал царем и правил сорок пять лет".

Самыми известными именами в перечне, открываемом Саргоном, являются Моисей, Кир и Ромул. Но Ранк вдобавок перечисляет и многих других мифических или эпических героев, которым точно такая же биография приписывалась полностью или частично: Эдип, Парис, Персей, Гильгамеш и другие.

Работа Ранка вскрывает источники и цели подобных мифов. Мне достаточно лишь упомянуть ее выводы. Герой обычно оказывается противником своего отца, мужественно противостоит ему и в конце концов побеждает. Миф возводит истоки этой борьбы к самому началу жизни героя, поскольку тот рождается вопреки воле отца и спасается вопреки его злым намерениям. Помещение в корзину явно символизирует рождение: корзина — это матка, река — околоплодные воды*. Зафиксированы бесчисленные сны, в которых рождение представляется как спасение из воды. Когда воображение приписывает такой миф реальной знаменитой личности, оно попросту подгоняет ее жизнь под типичную схему. Внутренним источником такого мифа является так называемый "семейный роман" ребенка, то есть отраженный в его психике процесс постепенных перемен в отношении к родителям, в особенности к отцу. Первые годы жизни ребенка проходят под знаком огромной переоценки отца, поэтому "цари", "принцы" и т. д. в мифах, сказках и снах попросту символизируют повелителя-отца. Позднее, под влиянием соперничества с отцом и реальных разочарований, происходит постепенное высвобождение из-под власти родителей и возникает критическое отношение к ним. Следовательно, две семьи в мифе, знатная и бедная, символизируют просто два представления об одной и той же, собственной семье, через которые ребенок проходит на разных стадиях своей жизни.

Не будет преувеличением сказать, что эти психологические толкования объясняют как поразительное сходство, так и широчайшее распространение "мифов о рождении героя". Тем более

* Вот почему Моисей был вытащен не из "нильской воды". — Прим. переводчика.

интересно, что миф о рождении Моисея стоит среди них особняком, потому что в одном существенном пункте он противоречит всем остальным.

Мы говорили о двух семьях, с которыми миф связывает судьбу ребенка. Мы видели, что психоаналитическое толкование сводит их в одну-единственную, собственную, реальную семью, и все различие между ними — чисто стадиальное. В типичной форме мифа первая семья (та, в которой ребенок рождается) является знатной или даже королевской; вторая (в которой он вырастает) — бедной и скромной. Только в истории Эдипа положение несколько иное: ребенок, родившийся в одной царской семье, воспитывается в другой, тоже царской. Тут сам миф как бы указывает на тождество обеих семей. Социальный контраст между "двумя семьями" (который подчеркивает героическое "восхождение" великого человека) имеет и еще одну функцию, особенно важную в случае реальных исторических героев: миф, в данном случае, гарантирует герою знатность происхождения и этим поднимает его исходный социальный статус. Так, царь Кир был для мидян всего лишь чужеземным завоевателем. Но миф о знатном происхождении превратил его во внука их прежнего царя. Аналогичное происходит и в мифе о Ромуле; если такой человек существовал, то он скорее всего был безвестным авантюристом; миф же делает его потомком и, следовательно, законным наследником царского дома Альба Лонга.

В случае Моисея происходит обратное. Здесь первая семья, обычно столь знатная, оказывается довольно простой: Моисей — сын еврейских левитов. Зато вторая семья — та бедная, в которой герой обычно вырастает, — превратилась в правящее семейство Египта. Это отклонение от стереотипа давно бросалось в глаза многим исследователям. Эдвард Мейер и вслед за ним другие предположили поэтому, что исходная форма мифа о Моисее была иной. Это фараон в действительности увидел пророческий сон, что сын его дочери-принцессы станет угрозой для него и его царства. Вот почему ребенок-Моисей сразу же после рождения был брошен в воды Нила. А спасли его — евреи, которые и воспитали его, как своего. Позднее же "национальные причины", по выражению Ранка, привели к постепенному преобразованию мифа в ту форму, в которой он известен нам теперь.

Однако простые рассуждения показывают, что такого рода "стандартный" миф в случае Моисея попросту не мог возникнуть.

Такой миф мог быть либо египетского, либо еврейского происхождения. Первое можно сразу исключить. В самом деле, у египтян не было причин превозносить Моисея — для них он не был героем. Стало быть, легенда возникла среди евреев и была (в своей обычной форме "мифа о знатном происхождении") приписана их вождю. Но такая обычная форма в данном случае была совершенно непригодна: зачем народу легенда, по которой его национальный герой — знатный чужеземец?

Далее, миф о Моисее (в его нынешней форме) разительно не соответствует скрытым целям стандартного "мифа о рождении". Если Моисей — не царского происхождения, такая легенда не может превратить его в "героя"; если же он еврей, она ничего не добавляет к его статусу. Действенной остается лишь одна маленькая деталь: спасение вопреки мощным противодействующим силам. (Интересно, что аналогичная деталь повторяется в истории Иисуса, где Ирод играет роль фараона.) Поэтому мы имеем право заключить, что во времена более поздней и довольно неуклюжей обработки легендарного материала евреи почему-то сочли попросту необходимым приписать своему герою-Моисею определенные приметы из стандартного мифа о рождении типичных героев, хотя именно Моисею, в силу его особенных обстоятельств, они не подходили.

На этом неудовлетворительном и даже неубедительном выводе нам и пришлось бы закончить наше исследование, ничего не добавив, в сущности, к вопросу, был ли Моисей египтянином, если бы не существовал другой и более плодотворный подход к самому "мифу о рождении".

Вернемся к двум упоминаемым в нем семьям. С точки зрения психоаналитической интерпретации они — одна и та же семья. С точки зрения мифа это две семьи, знатная и богатая. Но если миф относится к реальной исторической личности, то существует еще одно различие — между реальностью и вымыслом. Одна из семей — та, в которой он реально родился и вырос, — действительно существовала. Другая — плод вымысла, она придумана в мифических целях. Как правило, в случае реальных героев реальной бывает бедная семья, вымышленной, приписанной — знатная. Но в случае Моисея что-то и тут не сходится*. Попробуем тогда

* Фрейд имеет в виду, что по логике, как только что продемонстрировано, Моисей-египтянин происходил действительно из знатной семьи. — Прим. переводчика.

прояснить дело иным способом. В случае реальных героев вымышленной обычно является та семья, где ребенку якобы угрожает опасность, а реальной — та, в которой он (согласно мифу) вырастает. Если набраться смелости и принять этот способ различения реальности и вымысла за общее правило (которому должна тогда подчиняться и легенда о Моисее), то мы внезапно оказываемся перед настежь распахнутой дверью. Моисей — египтянин (возможно — знатного происхождения), которого с помощью "мифа о рождении" народ преобразовал в еврея. Это и есть наш окончательный вывод! Даже эпизод с корзиной теперь становится на место; наш вывод заставляет думать, что его функция была перевернута и притом довольно насильственно: в обычном мифе с помощью корзины избавляются от "своего" ребенка; в данном случае принцесса инсценирует спасение "чужого", якобы еврейского.

Отличие Моисеевой легенды от всех других того же рода связано, видимо, с коренной особенностью жизни героя. В то время, как другие мифические герои постепенно поднимаются над исходным скромным уровнем, героическая история человека Моисея началась с того, что он опустился — с египетских высот на уровень сынов Израиля.

Наш небольшой экскурс был предпринят для того, чтобы найти новые, свежие доводы в пользу предположения, что Моисей действительно был египтянином. Мы видели, что довод "от имени" не считается доказательным*. Нужно приготовиться к тому, что и новый подход — через анализ "мифа о рождении" — будет принят так же. Нам, скорее всего, возразят, что обстоятельства зарождения и переделки легенд слишком темны, чтобы строить на них подобные выводы, и что все попытки извлечь из них историческую правду заранее обречены на провал в силу невнятности и противоречий, окружающих героическую личность Моисея, а также несомненных признаков намеренных искажений и наслоений, накопившихся вокруг него за века. Лично я не разделяю такого пессимизма, но и не считаю себя вправе с ним полемизировать.

Но если мы не можем достичь большей уверенности, зачем

---

* Так, Мейер пишет: "имя Мозе вероятно принадлежало Пинхасу из первой династии Сило ... оно несомненно было египетским, но это не доказывает, что династия была египетского происхождения... разве что имела связи с Египтом".

вообще я вынес это расследование на суд широкой публики? К сожалению, даже на этот вопрос я могу ответить только обиняками. Я могу лишь сказать, что если кого-нибудь увлекут изложенные выше соображения и он примет всерьез, что Моисей был знатным египтянином, перед ним откроются интересные и далеко идущие возможности. Сделав определенные предположения, он сможет понять, какие причины руководили Моисеем в его необычной затее, а отсюда — прийти к возможному объяснению многих особенностей тех законов и религии, которые Моисей даровал евреям. Все это, в свою очередь, позволит выдвинуть некоторые соображения о природе монотеистической религии вообще. Но такие ответственные рассуждения не могут базироваться на одной только психологической вероятности. Даже если принять, что Моисей был египтянином, нужно иметь хоть какое-то прочное историческое основание, чтобы оградить вытекающие из этого следствия от упрека в том, что они являются плодом чистой фантазии и весьма далеки от всякой реальности. Таким основанием могло бы послужить какое-нибудь объективное свидетельство, относящееся к тем временам, когда жил Моисей и происходил исход из Египта. Но таких свидетельств что-то не видно, и потому нам действительно лучше, пожалуй, покончить на этом с обсуждением возможных следствий, вытекающих из предположения, что наш Моисей на самом деле был египтянином...

Часть 2. Если бы Моисей был египтянином...

В первой части этого очерка я пытался найти новые доводы в пользу того, что этот человек Моисей, освободитель и законодатель еврейского народа, был не евреем, а египтянином. То обстоятельство, что его имя принадлежит египетскому словарю, было подмечено давно, хотя и не оценено по достоинству. Я добавил к этому, что анализ мифа о рождении с необходимостью приводит к выводу, что он был египтянином, в котором народ хотел видеть еврея. В заключение я указал, что такой вывод открывает важные и далеко идущие возможности; но я не был готов тогда их отстаивать. Чем более решительны подобные умозаключения, тем более осторожным следует быть, излагая их, чтобы не выставить под удар здание без надежного фундамента,

вроде колосса на глиняных ногах. Никакая вероятность, даже самая соблазнительная, не может гарантировать от ошибки. Даже если все элементы загадки кажутся сошедшимися, как в сложившейся головоломке, нужно помнить, что кажимость — это еще не истина, а истина — не всегда то, что кажется таковой. И вообще, не так уж лестно оказаться в том же ряду, что схоластики и талмудисты, которые довольствуются изощренностью собственного ума, нисколько не заботясь, насколько их хитросплетения согласуются с истиной.

Несмотря на то, что эти опасения тяготят меня сегодня не меньше, чем прежде, в борьбе моих противоречивых желаний победило все же решение дополнить первую часть нижеследующим продолжением. Но и оно, само по себе, тоже является лишь частью целого — и далеко не самой важной его частью.

I

Допустив, что Моисей действительно был египтянином, мы поначалу выигрываем только то, что оказываемся перед очередной трудной загадкой. Можно ожидать, что когда некое племя готовится к какому-то великому свершению, кто-то из его членов становится (или избирается) вождем. Но трудно понять, что могло побудить знатного египтянина (возможно — принца, жреца или аристократа) возглавить толпу культурно отсталых иммигрантов и покинуть вместе с ними свою родную страну. Хорошо известное презрение египтян к иноземцам делает такой поступок особенно невероятным. Я даже склонен думать, что именно поэтому историки, признавшие его имя египетским и приписавшие ему всю египетскую мудрость, не решились обсудить очевидную возможность, что он вообще был египтянином.

За первой трудностью следует вторая. Не нужно забывать, что Моисей был не просто политическим вождем живших в Египте евреев; он был также их учителем и законодателем, а главное — человеком, который заставил их принять новую религию, которая до сих пор называется "моисеевой". Но способен ли один человек с такой легкостью создать новую религию? И если уж он хочет навязать какую-то религию другому, не будет ли самым естественным навязывать ему свою собственную? Евреи в Египте наверняка имели какую-то религию, и если Моисей, да-

вший им взамен новую, был египтянином, то нельзя отвергнуть с порога возможность, что эта новая, другая религия попросту была — египетской.

Но тут-то мы и наталкиваемся на трудность: резкое противоречие между еврейской религией, приписываемой Моисею, и религией Египта. Первая была невероятно жестким монотеизмом. Существует только один Бог — единственный, всемогущий, непостижимый. Созерцать его невозможно; запрещено делать его изображения; даже Имя его нельзя произносить. Напротив, в египетской религии существовало невообразимое множество богов самого разного происхождения и значения. Некоторые из них были воплощениями натуральных стихий — неба, земли, солнца и луны. Другие были абстракциями, вроде Маат (Справедливость, Истина), третьи — гротескными созданиями, вроде карликовой Бес. Но большинство из них составляли местные божки, напоминавшие о тех временах, когда страна еще была разделена на многочисленные провинции. Все они имели облик животных, словно еще не успели расстаться со своим прообразом — древним животным тотемом. Между ними нет даже четкого различия по функциям. Гимны в их честь говорят о каждом одно и то же и беззаботно отождествляют их друг с другом, безнадежно запутывая весь пантеон. Имена одних сочетаются с именами других, превращаясь порой в простые эпитеты. Так, во времена расцвета так называемого "Нового царства" главный бог города Фивы именовался Амон-Ра, причем в этом сочетании первая часть означала бараноголовое городское божество, а вторая — ястребиноголового солнечного бога из провинции Он. В религиозных церемониях в честь всех этих богов (как и в повседневной жизни египтян) широко использовались магические заклинания, формулы и амулеты.

Некоторые из этих различий можно легко объяснить принципиальным отличием последовательного монотеизма от безграничного политеизма. Другие явно связаны с разницей в интеллектуальном уровне: одна религия близка к примитивной, другая воспаряет к вершинам утонченной абстракции. Возможно, именно поэтому кажется иногда, что противоположность моисеевой и египетской религий является чуть ли не сознательной и намеренно подчеркнутой — к примеру, там, где одна сурово осуждает всякую магию и колдовство, в другой они процветают в изобилии; а там, где египтяне с ненасытным жаром создают все новые

подобия своих богов в камне, глине и металле, другая религия категорически запрещает творить любые подобия живых или даже воображаемых существ.

Существует еще одно различие между этими двумя религиями, в объяснение которого мне бы не хотелось вдаваться. Ни один древний народ не посвятил так много сил преодолению смерти, не предпринимал таких тщательных приготовлений к загробной жизни, как египтяне; не случайно самым популярным и неоспоримым из египетских богов был именно Озирис, правитель иного мира. Напротив, ранняя еврейская религия начисто отказывалась от бессмертия и даже не упоминала о возможности загробной жизни. Это тем более примечательно, что, как показало последующее развитие, вера в такую жизнь вполне согласуется с монотеизмом.

Я надеялся, что приняв египетское происхождение Моисея, покажу, какой это проливает свет и какие дальнейшие стимулы дает. И вот, первый же вывод из этого предположения — о том, что религия, которую он дал евреям, была его собственной, египетской, — натолкнулся на различие, да где там! — на полную противоположность этих двух религий.

II

Но тут открывается новый подход, основанный на одном странном факте из истории египетской религии, который был обнаружен и по достоинству оценен лишь сравнительно недавно. Оказывается, можно все-таки думать, что Моисей дал евреям некую свою, тоже египетскую религию — хотя это не обязательно была господствующая религия Египта.

Во времена великой Восемнадцатой династии, когда Египет впервые стал мировой державой, примерно в 1375 году до н. э., на трон взошел некий молодой фараон, который поначалу взял себе имя Аменхотеп (IV), по примеру своего отца, а затем сменил это имя — да и не только одно имя. Этот фараон задался целью навязать своим подданным новую религию, которая отличалась от их древних традиций и всех знакомых обычаев. То был последовательный монотеизм, первый в своем роде, насколько нам известно, в истории человечества, а из этой веры в единого Бога вытекала религиозная нетерпимость, неведомая древним ни до, ни

после того. Однако правление Аменхотепа продолжалось всего семнадцать лет; вскоре после его смерти (в 1358 году) новая религия была отвергнута, а память о царе-еретике предана проклятию. Развалины его новой столицы, построенной в честь единого Бога, да надписи на могильных плитах — вот и все источники, из которых мы узнаем то немногое, что нам о нем известно. Все связанное с этим необыкновенным, поистине уникальным человеком вызывает величайший интерес.

Новое всегда имеет корни в том, что уже было. Корни египетского монотеизма тоже можно с определенной уверенностью проследить на некоторое время вспять*. В жреческой школе храма Солнца в Он (Гелиополис) издавна развивалась идея универсального божества и его нравственных законов. Маат — богиня справедливости, правды и порядка — считалась дочерью солнечного бога Ра. Уже при Аменхотепе III, отце и предшественнике реформатора, поклонение солнечному богу было на подъеме — вероятно, как оппозиция преклонению перед Амоном из Фив, который стал слишком могущественным. Было заново открыто древнее имя солнечного бога — Атон (или Атум), и в этой религии Атона молодой фараон нашел учение, которое даже не надо было создавать — достаточно было к нему примкнуть.

Примерно в то же самое время возникли политические обстоятельства, которые оказали длительное воздействие на египетскую религию. Благодаря победоносным походам великого завоевателя Тутмоса III Египет стал мировой державой. Он подчинил себе Нубию на юге, Палестину, Сирию и часть Мессопотамии на севере. Египет стал империей, и это отразилось в религии становлением универсальности и монотеизма. Поскольку власть фараона теперь простиралась на Нубию и Сирию, боги тоже должны были выйти за национальные пределы, и новый бог египтян должен был стать подобным фараону — единственным и всемогущим повелителем всего известного египтянам мира. Кроме того, было лишь естественным, что по мере расширения границ Египет открывался чужеземным влияниям — некоторые жены фараона были азиатскими принцессами (возможно, даже Нефертити, любимая жена Аменхотепа IV), и не исключено, что идеи монотеизма тоже пришли прямиком из Сирии.

---

* Здесь я следую за книгами Брестеда и соответствующими главами "Кембриджской древней истории".

Аменхотеп никогда не отрицал своего вклада в культ солнца. В двух гимнах Атону, которые сохранились на могильных плитах и были, вероятно, сочинены им самим, фараон восхваляет солнце, как создателя и хранителя всего живого в Египте и вне его, с такой страстью, которую можно встретить разве что в написанных столетия спустя еврейских псалмах в честь Ягве. Но Аменхотеп не ограничился этим поразительным предвосхищением наших нынешних познаний о благотворности солнечного света. Нет сомнений, что он пошел дальше: он поклонялся солнцу не только как материальному объекту, но и как символу божества, всесилие которого проявляется в его сиянии*.

Но мы принизили бы значение фараона, если бы видели в нем всего лишь поклонника и покровителя религии Атона, уже существовавшей до него. Его деятельность была куда более энергичной. Он добавил кое-что, превратившее доктрину универсального бога в монотеизм: исключительность. В одном из его гимнов это выражено следующими словами: "О Ты, единственный Бог, нет других Богов, кроме Тебя". А при оценке любой новой доктрины, нельзя ограничиваться только тем, что она утверждает; не менее важно, что она отвергает. Было бы ошибкой думать также, будто новая религия возникла сразу во всем всеоружии, как Афина из головы Зевса. Напротив, все указывает, что во времена Аменхотепа она постепенно приобретала все большую ясность, последовательность, жесткость и нетерпимость. Возможно, это произошло под влиянием яростной оппозиции со стороны жрецов Амона, которые однако по-настоящему подняли голову только после смерти фараона.

Во всяком случае на шестом году царствования Аменхотепа эта оппозиция так усилилась, что фараон решил поменять свое имя, в которое входило частью имя ныне опального Амона. Он стал называть себя Эхнатоном. (По Брестеду это означает примерно то же, что прежнее имя: "Бог доволен".) Он изгнал старого бога

---

* Брестед: "Как бы ни было очевидно гелиопольское происхождение новой государственной религии, она не была простым поклонением солнцу; в одном месте слово Атон используется вместо старого "бог" (нутер), и этот бог явно отличается от материального солнца... Фараон явно обожествлял ту силу, с которой солнце проявляет себя на земле". То же самое говорит Эрман в книге "Религия Египта": "Употребляются слова, которые в абстрактной форме выражают, что поклоняются не самому солнцу, а Существу, проявляющемуся через него".

не только из своего имени, но также изо всех надписей и даже из имени своего отца, Аменхотепа III. Вскоре после смены имени Эхнатон покинул старую столицу, Фивы, где главенствовал бог Амон, и основал новую ниже по реке, назвав ее Ахетатон (Горизонт Атона). Развалины этого города известны сегодня как Тель-аль-Амарна. (Именно в этих развалинах была в 1887 году найдена переписка египетских царей с их азиатскими вассалами, которая дала неоценимые сведения о древней истории.)

Преследования коснулись прежде всего Амона — но отнюдь не его одного. Повсюду в Египте были закрыты старые храмы, запрещены традиционные богослужения и конфискована собственность жрецов. В своем рвении фараон дошел до того, что учинил расследование древних надписей, дабы удалить из них слово "Бог", если оно употреблялось во множественном числе. Неудивительно, что все эти приказы породили фанатическую ненависть притесняемых жрецов и недовольного населения, которая вырвалась наружу сразу после смерти фараона. Культ Атона не привлекал людей; поклонение ему, вероятно, ограничивалось тесным кругом придворных. Конец Эхнатона окутан тайной. Известно, что ему наследовало несколько членов его семьи, но все они правили очень недолго. Уже его сын Тутанхамон вынужден был вернуться в Фивы и заменить в своем имени слово "Атон" на "Амон". Затем наступил период всеобщей анархии, пока военачальник Харемхаб, захвативший трон в 1350 году, не восстановил порядок. Великая Восемнадцатая династия была истреблена; ее завоевания в Нубии и Азии были утрачены; и в эти же печальные времена была восстановлена старая религия. С культом Атона было покончено, столица Эхнатона была разрушена и разграблена, а сам он — предан проклятию как совратитель.

Отметим некоторые негативные особенности этого культа, которые будут важны нам для дальнейшего. Прежде всего, он отвергает всякую мифологию, магию и волшебство*. Далее, интересен способ, которым представлялся Бог-Солнце, — не маленькой пирамидой с соколом над ней, как прежде, а почти продуманно — круглым диском, из которого исходят лучи, кончающиеся в человеческих руках. При всей любви к фигуративному

* Вейгал в книге "Жизнь и дни Эхнатона" говорит, что Эхнатон не признавал адских ужасов, от которых следует-де защищаться магическими заклинаниями. "Все эти заклинания он предал огню. Джины, духи, чудовища, полубоги и сам Озирис вспыхнули ярким пламенем и превратились в прах".

искусству, характерной для периода Амарны, не сохранилось ни одного фигуративного изображения солнечного бога Атона — да и не могло, скажем с уверенностью, сохраниться. (Вейгал: "Эхнатон запретил делать идолы и кумиры в честь нового бога. Истинный Бог, говорил фараон, не имеет обличья; и этого мнения он придерживался всю жизнь".)

Наконец, мы видим полное молчание относительно бога Озириса и его царства мертвых. Ни гимны, ни могильные надписи Амарны ничего не упоминают о том, что было, вероятно, ближе всего египетскому сердцу. Вряд ли можно найти более яркое противоречие с массовой религией Египта*.

III

Я рискну сделать следующий вывод: если Моисей был египтянином и передал евреям свою религию, то религия эта была эхнатоновой, то есть культом Атона.

Я уже сравнивал выше еврейскую религию с массовой религией Египта и показал, как отличны они друг от друга. Теперь я сравню эту религию с культом Атона в надежде показать, что поначалу они были идентичны. Понятно, это нелегкая задача. О культе Атона мы знаем довольно мало — об этом позаботились мстительные жрецы Амона. Моисееву религию мы знаем только в ее окончательной форме, запечатленной еврейскими жрецами через восемь веков после Исхода. Если, несмотря на это, нам удастся найти подтверждения своей гипотезы, ценность их будет тем более высока.

Кажется, самый простой способ доказать тождественность моисеевой религии культу Атона — это сравнить исповедания веры в обоих случаях. Боюсь, однако, что такой путь нам не подходит. Еврейское исповедание веры, как хорошо известно, гласит: "Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай Эхад". Если сходство египетского имени Атон с еврейским Адонай (и сирийским божественным именем Адонис) не простая случайность, а следствие исходного тождества звучания и значения, то приведенную формулу можно перевести так: "Слушай, Израиль, наш Бог Атон

* Эрман: "Об Озирисе и его царстве больше не упоминается". Брестед: "Озирис абсолютно забыт. Он не упоминается ни в одном тексте Эхнатона и ни на одной из могил Амарны".

(Адонай) — единственный Бог". Увы, у меня нет нужных познаний в этом вопросе, и я ничего не мог найти в соответствующей литературе; да, пожалуй, нам и не стоит так облегчать себе задачу. Впрочем, мы еще вернемся к проблеме божественного имени.

Как сходство, так и различия обеих религий легко обнаружить — но это мало что дает. Если ограничиться самым принципиальным совпадением, то оно состоит в том, что обе религии — это разновидности строгого монотеизма. В некоторых отношениях еврейский монотеизм даже бескомпромиссней — он, например, запрещает любые зримые изображения Бога. Самое же существенное различие, если не считать имени Бога, состоит в том, что еврейская религия начисто отвергает поклонение солнцу, которого придерживались египтяне. Если же сравнить еврейскую религию со старой, массовой египетской религией, то невозможно избежать впечатления, что кроме принципиальной противоположности тут еще есть элемент сознательного противопоставления. Это впечатление можно объяснить, если в нашем сравнении заменить еврейскую религию культом Атона, который Эхнатон и в самом деле намеренно противопоставлял массовой египетской религии. Нас удивляло, и вполне законно, что еврейская религия ничего не говорит о загробном мире, хотя такое представление вполне согласуется с самым строгим монотеизмом. Но и это удивление исчезает, как только мы перейдем от еврейской религии к культу Атона и предположим, что эта особенность была заимствована евреями из него — ведь Эхнатон был вынужден бороться с массовыми верованиями, в которых бог смерти Озирис играл большую роль, чем все другие боги. Совпадение культа Атона с еврейской религией в этом важном пункте — первый сильный довод в пользу нашей концепции. Но мы еще увидим, что он не последний.

Моисей не только дал евреям новую религию; совершенно несомненно, что он ввел также обычай обрезания. Это важное для наших рассуждений обстоятельство никто вообще, кажется, не учитывал. Следует, впрочем, сказать, что ему противоречит библейский текст. В этом тексте обычай обрезания возводится ко временам патриархов — как символ завета, заключенного между Богом и Авраамом. С другой стороны, тот же текст в одном из особенно темных абзацев упоминает, что Бог взъярился на Моисея за то, что тот пренебрег этим священным обычаем, и даже обещал в наказание покарать его. Жена Моисея, мидианитка, спасла мужа от гнева Господня тем, что быстренько проделала необходимую

операцию. Но все эти библейские детали — на самом деле — искажения исходного текста, которые не должны нас смущать; мы вскоре займемся их причинами. Остается несомненным, что вопрос об обрезании имеет один-единственный ответ: оно пришло из Египта. Геродот, этот "отец истории", рассказывает, что обычай обрезания давно практиковался в Египте, и его слова подтверждаются исследованием мумий и рисунков на саркофагах. Ни один другой народ восточного Средиземноморья, насколько нам известно, не имел такого обычая; можно с уверенностью сказать, что семиты, вавилоняне и шумеры не были обрезаны. Сама Библия подтверждает это в отношении жителей Ханаана — в рассказе о дочери Яакова и царе Шхема*. Мысль о том, что евреи в Египте восприняли обычай обрезания каким-либо иным путем, не через религию, дарованную им Моисеем, можно отвергнуть как абсолютно несостоятельную. Теперь, запомнив, что обрезание было широко распространено в Египте, попробуем на минуту предположить, что Моисей был в действительности евреем, который задумал освободить своих соотечественников от служения египетским властителям и вывести их из страны, чтобы они обрели независимое, самостоятельное существование, — чего он в конце концов и достиг. Какой смысл был одновременно навязывать им обременительный обычай, который превращал их, так сказать, в египтян и неизбежно подкреплял воспоминания о Египте, если его цель была прямо противоположной — оторвать свой народ от страны рабства и преодолеть его тоску по египетским "мясным горшкам"? Нет, то, с чего мы начали, и то, чем мы кончили, настолько несовместимо, что я осмелюсь предположить следующее: если Моисей дал евреям не только новую религию, но и обычай обрезания, то он наверняка был не евреем, а египтянином, а потому и моисеева религия была скорее всего египетской; учитывая же ее противоположность массовой религии Египта, она могла

---

* Используя Библию столь произвольно и деспотически, то есть принимая ее, когда это мне удобно, и отвергая, когда ее детали противоречат моим выводам, я сознательно подставляю свой метод под огонь суровой критики. Но это единственный способ использовать материал, достоверность которого, как нам наверняка известно, весьма подпорчена сознательными искажениями. Надеюсь, когда мы покажем причины этих искажений, кое-что в таком отношении к Библии станет оправданным; в любом случае, Библия не дает надежных оснований, да и все другие авторы трактуют ее так же.

быть только религией Атона, с которой еврейская религия имеет несколько примечательных совпадений.

Как я уже отмечал, мое предположение, будто Моисей был не евреем, а египтянином, порождает новую загадку. То, что он сделал, вполне понятно, если это сделал еврей, но необъяснимо для египтянина. Однако если мы отнесем Моисея к временам Эхнатона и свяжем его с фараоном, загадка тотчас разрешается и возможные причины такого поступка напрашиваются сами собой, отвечая на все наши недоумения. Предположим, что Моисей был знатным аристократом, возможно даже членом царской семьи, как и утверждает миф. Он несомненно был выдающимся, амбициозным и энергичным человеком; быть может, в отдаленном будущем он даже видел себя на престоле фараона, вождем народа, правителем империи. Будучи тесно связан с фараоном, он стал убежденным сторонником новой религии, и ее основные принципы, которые он глубоко постиг, стали его жизненными убеждениями. После смерти фараона и наступившей реакции он увидел, что все его мечты и планы развеялись как дым. Если только он не готов был отречься от дорогих ему убеждений, ему нечего было делать в Египте — он потерял родину. В этот тяжелый час он пришел к поразительному решению. Мечтатель Эхнатон оторвался от народа и позволил своей империи рухнуть. Активная натура Моисея изобрела план создания новой империи, с новым народом, которому можно даровать религию, отвергнутую египтянами. Это была, на мой взгляд, героическая попытка сразиться с судьбой, компенсировать себе — сразу в двух направлениях — утраченное в катастрофе Эхнатона. Возможно, во время этой катастрофы Моисей был правителем той пограничной провинции (Гошем), в которой (уже в "гиксоский период") поселились некоторые семитские племена. Их-то он и избрал на роль своего нового народа. Историческое решение!

Он установил связь с ними, стал их вождем и возглавил их Исход "мышцей простертой". В полном противоречии с библейской традицией мы можем смело предположить, что Исход проходил мирно и не вызвал преследования. Это оказалось возможным благодаря авторитету Моисея и отсутствию в тот момент центральной власти, которая могла бы его предотвратить.

По нашей реконструкции Исход из Египта должен был произойти где-то между 1358-м и 1350-м годами до н. э. — иными словами, сразу после смерти Эхнатона, но еще до того, как Харемхаб

восстановил государственную власть. Целью странствия мог быть только Ханаан. После того, как владычество Египта рухнуло, туда хлынули орды воинственных арамеев, которые разрушали и грабили все на своем пути и тем самым показали, где еще может найти себе место под солнцем предприимчивый народ. Мы знаем об этих завоевателях из корреспонденции, найденной в Амарне. Там они именуются "хабиру", и это имя неизвестными путями перешло на еврейских завоевателей, "ивриим", которые пришли позже и не могли еще упоминаться в текстах Амарны. Племена, наиболее близкие к египетским евреям, также жили на юге Палестины, в Ханаане.

Предположенные нами причины Исхода в целом объясняют также вопрос об обрезании. Мы знаем, как люди и народы относятся к этому древнему, почти непонятному сегодня обычаю. Те, кто его не практикует, видят в нем нечто странное и даже отвратительное; но те, кто придерживается этого обычая, гордятся им. Они чувствуют свое превосходство, аристократизм и смотрят сверху вниз на других, считая их нечистыми. Даже сегодня турок, когда он хочет оскорбить христианина, называет его "необрезанной собакой". Вполне вероятно, что Моисей, прошедший обрезание как египтянин, относился к нему точно так же. Евреи, с которыми он покинул родную страну, должны были стать улучшенным суррогатом египтян, оставленных позади. Они не должны были ни в коем случае быть ниже их. Он хотел сделать из них "народ святых", — об этом прямо говорит нам библейский текст, — и в знак этого посвящения ввел обычай, который по меньшей мере уравнял их с египтянами. Более того, ему было только на руку, что этот обычай отделял их от других и препятствовал смешиваться с прочими племенами, которые могли встретиться во время странствия — точно так же, как египтяне чурались всех чужеземцев*.

---

* Геродот, посетивший Египет около 450 года до н. э., отмечает некоторые особенности египтян, потрясающе сходные с известными чертами евреев в более поздний период: "Они набожнее всех других народов. Они также отличаются от них многими обычаями, вроде обрезания, которое ввели раньше других из соображений чистоты и еще отвращением к свинине, которое несомненно идет от рассказа о том, что Сет убил Гора в облике черного кабана; наконец, — своим почитанием коров, которых они никогда не едят и не приносят в жертву, опасаясь оскорбить рогатую Изиду. По этим же причинам не один египтянин или египтянка никогда не поцелует грека и не станет резать своим ножом, варить в своей посуде или есть мясо

Кажется, однако, что позже еврейская традиция вдруг начала ощущать гнет тех идей, что мы только что представили. Признать, что обрезание — это египетский обычай, введенный Моисеем, было бы почти равносильно признанию, что и религия, дарованная Моисеем, была египетской. А у евреев были серьезные причины отрицать это; в итоге, они стали замалчивать и правду об обрезании.

IV

Дойдя до сих пор, я готов услышать упрек, что построил всю свою конструкцию (которая относит Моисея-египтянина ко временам Эхнатона, приписывает политическому положению страны его решение возглавить еврейский народ и утверждает, что религия, которую он навалил на этот народ, была культом Атона, только что отвергнутым египтянами) — что я построил все это здание чересчур уверенных предположений без всяких подтверждений в историческом материале. Я не думаю, что такой упрек оправдан. Я уже во введении говорил о собственных сомнениях, поставил, так сказать, вопросительный знак перед скобками, и не считаю нужным каждый раз теперь повторять его внутри этих скобок.

Я и сам могу подбросить несколько критических поленьев в огонь последующей дискуссии. Зависимость еврейского монотеизма от монотеистического эпизода египетской истории, это основное ядро моей концепции, была подмечена и раньше некоторыми исследователями. Я не привожу тут их имен, потому что ни один из них не сумел объяснить, как стала возможной такая зависимость. Но даже если она олицетворилась в личности Моисея, как я предположил, нельзя исключить и другие возможности. Нельзя, например, исключить, что и после низвержения официального культа Атона монотеистическая тенденция в Египте могла сохраниться. Школа жрецов в Он, откуда пошла эта традиция, могла пережить катастрофу и вовлечь целые поколения — уже после Эхнатона — в орбиту своей религиозной мысли. Вполне воз-

чистейшего быка, если он зарезан греческим ножом... С узколобым высокомерием взирают они на всех прочих, считая их нечистыми и более далекими от богов, чем они сами". Разумеется, нельзя не вспомнить здесь также и обычай жизни в Индии. Кстати, что могло навести еврейского поэта XIX века Гейне на мысль обозвать свою религию "заразой, что идет от берегов Нила, извращенными верованиями древних египтян"?

можно поэтому, что Моисей участвовал в этом деле, даже если он и не жил во времена Эхнатона, и не находился под его личным влиянием, а просто был последователем или даже членом школы в Он. Такое предположение могло бы отодвинуть дату Исхода и приблизить ее к общепринятой (XIII век до н. э.). Но во всем остальном оно не имеет никаких преимуществ. Зато нам пришлось бы отказаться от достигнутого понимания мотивов, которые руководили Моисеем, равно как и от мысли о том, что Исход был ускорен анархией, царившей тогда в Египте. Цари Девятнадцатой династии правили уже твердой рукой. Все внутренние и внешние условия, благоприятствовавшие Исходу, совпали только на короткий период после смерти еретического царя.

В еврейской апокрифической литературе можно найти многочисленные мифы и поверья, которые в течение веков окружили титаническую фигуру первого вождя евреев и основателя их религии и во многом затмили и затемнили его личность. В этих источниках могут оказаться и те фрагменты здравой традиции, для которых не нашлось места в Пятикнижии. Одна из таких легенд увлекательно рассказывает, как амбиции нашего человека Моисея проявлялись уже в раннем возрасте. Однажды, когда фараон подбрасывал его на руках, трехлетний Моисей ухитрился стащить с его головы корону и водрузить ее на свою собственную голову. Фараон был поражен этим предзнаменованием и поспешил посоветоваться с мудрецами. (Аналогичную, хотя и несколько измененную историю рассказывает Иосиф Флавий.) В другом месте рассказывается о победных войнах, которые Моисей вел в Эфиопии, как египетский военачальник, и о том, как он вынужден был бежать из страны, потому что опасался зависти придворных или даже самого фараона. Сама библейская история наделяет Моисея некоторыми вызывающими доверие чертами. Она описывает его как вспыльчивого, темпераментного человека — во время одной из таких вспышек гнева он убил жестокого надсмотрщика, который издевался над еврейским рабом, в другой раз, раздраженный изменой своего народа, в гневе разбил скрижали Завета, полученные на горе Синай. Сам Господь в конце концов наказал его за нетерпение, — хотя нам не рассказывают, с чем оно было связано. Поскольку раздражительность — не из тех свойств, которые стоило бы возвеличивать, можно думать, что тут есть зерно исторической правды. Нельзя исключить и такую возможность, что многие личные черты, которые евреи

на первых порах приписали своему Богу, сделав его ревнивым, суровым и неумолимым, в действительности относятся к их воспоминаниям о Моисее, — ибо в действительности не этот незримый бог, а этот человек Моисей вывел их из Египта.

Еще одна черта, приписываемая ему, представляет для нас особый интерес. Рассказывают, что Моисей был "косноязычен" — иными словами, заикался или с трудом говорил, — и поэтому для разговоров с фараоном ему приходилось призывать на помощь Аарона (которого называют моисеевым братом). Это опять-таки может быть исторически достоверным и кое-что добавлять к живому портрету нашего великого человека. Но с другой стороны, "косноязычие" Моисея может иметь иное, куда более примечательное объяснение. Здесь в слегка искаженном виде можно видеть следы воспоминаний о том, что Моисей говорил на другом языке и не мог общаться со своими семитскими "неоегиптянами" без помощи переводчика — во всяком случае, на первых порах. Тогда это было бы еще одним подтверждением нашего тезиса: Моисей — египтянин.

Представляется, что теперь мы окончательно исчерпали последовательность наших рассуждений. Из предположения, что Моисей был египтянином, доказано оно или нет, на данном этапе больше ничего извлечь нельзя. Нет такого историка, который не согласился бы, что библейский рассказ о Моисее — это благочестивый миф, который в собственных интересах подменил собой былую традицию. Но какова была эта исходная традиция, мы не знаем. Хотелось бы, конечно, узнать, и каковы были цели произведенных в ней изменений, но этому мешает полное отсутствие необходимых исторических данных. Нас не должно смущать, что наша реконструкция не включает многих очаровательных деталей библейского текста: десяти казней, перехода через море, торжественного дарования закона на горе Синай. Но гораздо хуже, что мы вошли в противоречие с некоторыми серьезными современными исследованиями.

Эти современные историки, примером которых является Эдуард Мейер, принимают библейский текст в одном принципиальном пункте. Они согласны, что еврейские племена, которые позже стали народом Израиля, в какой-то определенный момент приняли новую религию. Но по их мнению это произошло не в Египте и не у подножья одной из гор Синайского полуострова, а в многоводном оазисе Мерибат-Кадеш в южной Палестине, между восточ-

ной оконечностью Синайского полуострова и западной Аравией. Здесь евреи стали поклоняться богу Ягве, вероятно — племенному божеству живших поблизости мидианитов. Возможно, и другие соседние племена тоже поклонялись этому богу.

Ягве был, по всей видимости, божеством вулкана. Но, как мы знаем, в Египте нет вулканов, а горы Синайского полуострова никогда не были вулканическими. С другой стороны, проявления вулканической активности вплоть до поздних времен имели место по западной границе Аравии. Один из тамошних вулканов и мог быть той горой Синай-Хорев, на которой по поверьям находилось убежище Ягве. Несмотря на все искажения, которые претерпел библейский текст, мы можем восстановить, по Мейеру, первоначальный характер этого бога: то был жуткий, кровожадный демон, который выходил по ночам и избегал дневного света.

Посредником между народом и этим богом, акушером новой религии был некий человек по имени Моисей. Он был зятем мидианитского жреца Йетро и пас свои стада, когда услышал божественный зов. Йетро посетил его в Мерибат-Кадеш, чтобы преподать ему инструкции.

Эдуард Мейер говорит, это верно, что он нисколько не сомневается в исторической правдивости рассказа о египетском рабстве и о катастрофе, постигшей египтян, — но он явно не знает, куда этот рассказ приткнуть и что с ним делать. Только обычай обрезания он готов считать заимствованием у египтян. Но он добавляет к нашим прежним рассуждениям два важных новых факта: во-первых, что Иошуа призывал народ принять обрезание, "чтобы избежать египетских попреков"; а во-вторых, что по Геродоту финикийцы (вероятно, те же евреи) и сирийцы в Палестине сами признавали, что заимствовали обрезание у египтян. Однако идея Моисея-египтянина не увлекает Мейера. "Моисей, каким мы его знаем, это прародитель жрецов Кадеша; стало быть, он был связан с тамошним культом, он был героем генеалогического мифа, а не реальной исторической личностью". Таким образом, ни один из тех, кто принимает Моисея за историческую фигуру (за исключением таких, которые считают, что традиция в целом и есть историческая правда), не сумел заполнить его пустой контур конкретным содержанием, описать его как живую личность, рассказать нам, чего он достиг и в чем состояла его миссия в истории.

Зато Мейер, не зная устали, готов еще и еще рассказывать о

связи Моисея с Кадешем и мидианитами. "Личность Моисея так тесно связана с мидианитами и их священными местами в пустыне...". "Личность Моисея неразрывно связана с Кадешем; его связь с мидианитским жрецом через брак с дочерью этого жреца дополняет всю картину. Напротив, его связь с Исходом и вообще вся история его юности оказываются абсолютно второстепенными и придуманы лишь для того, чтобы сделать историю Моисея связной и последовательной". Мейер отмечает также, что все детали, содержащиеся в истории юности Моисея, позже попросту отбрасываются. "Моисей среди мидианитов — это уже не внук египетского фараона, а пастух, которому открылся Ягве. В рассказе о десяти казнях его родство с фараоном больше не упоминается, хотя оно могло быть весьма эффективно использовано, а приказ об убийстве израильских первенцев совершенно забыт. В рассказе об Исходе и гибели египтян Моисея вообще нет; он там не упоминается. Все те признаки героя, которые предполагает история его рождения и детства, совершенно отсутствуют во взрослом Моисее; теперь он только посланец Бога, чудотворец, которого Ягве наделил сверхъестественной силой".

И действительно, невозможно отделаться от впечатления, что этот Моисей в Кадеше и у мидианитов (которому традиция приписывает даже сооружение медного змия в качестве идола-исцелителя) — совершенно другой человек, чем тот "вычисленный" нами царственный египтянин, который открыл своему народу религию, сурово запрещающую всякую магию и волшебство. Наш египетский Моисей отличается от мидианитского Моисея не меньше, чем универсальный бог Атон от демона Ягве на его божественном вулкане. И если мы допускаем, что в этих выводах современных историков есть хоть малейшая крупица истины, то мы должны признать, что нить, которую мы рассчитывали протянуть от предположения о Моисее-египтянине, порвалась вторично и на этот раз, кажется, без всякой надежды снова ее связать.

V

Тем не менее неожиданно, сам собой, открывается выход и из этого тупика. Попытки увидеть в Моисее историческую фигуру (а не просто жреца Кадеша) и вернуть ему его традиционную славу продолжались и после Мейера — Грессманом и другими ис-

ториками. В 1922 году Эрнст Селлин ("Моисей и его значение") сделал открытие решающего значения. Он обнаружил в книге пророка Осии (вторая половина восьмого века до н. э.) безошибочные следы давнего предания, которое свидетельствовало, что основатель еврейской религии Моисей был насильственно убит во время восстания своим жестоковыйным и строптивым народом. Одновременно религия, которую он основал, была заброшена. Это предание встречается не только у Осии; оно повторяется у большинства пророков; Селлин считает даже, что именно оно легло в основу всех последующих ожиданий Мессии. Ближе к концу вавилонского изгнания в еврейской среде возникла надежда, что этот жестоко замученный человек, Моисей, вот-вот вернется из загробного мира и выведет свой раскаявшийся народ, — а возможно, не только этот народ, — в страну вечного блаженства. (Обсуждение буквально ощутимой здесь параллели с Основателем другой религии не входит в круг наших теперешних рассуждений.)

Естественно, я не полномочен решать, правильно ли истолковал Селлин соответствующие места из Пророков. Но если он прав, то обнаруженное им предание следует признать исторически достоверным, — ибо такую историю не имеет смысла придумывать, для этого нет никаких очевидных причин. А если указанные события действительно произошли, легко понять, что их хотели бы предать забвению. Мы вовсе не обязаны принимать на веру все детали предания. К примеру, Селлин полагает, что местом происшествия был Шиттим к востоку от Иордана; мы, однако, увидим, что это не согласуется с нашими рассуждениями.

Примем предположение Селлина, что египтянин Моисей был убит евреями, а основанная им религия — заброшена. Это позволяет нам продолжить нить наших рассуждений, не вступая в противоречие с надежными результатами исторических исследований. Однако в других аспектах мы рискнем пойти независимым от историков путем. Нашим исходным пунктом остается Исход из Египта. По всей вероятности вместе с Моисеем страну покинуло значительное число людей, — маленькая кучка не удовлетворила бы амбиции этого человека с его грандиозными планами. Видимо, иммигранты пробыли в стране достаточно долго, чтобы превратиться в многочисленный народ. Мы однако не очень удалимся от истины, если предположим, вслед за большинством исследователей, что в египетском рабстве находилась лишь часть тех племен, которые впоследствии составили еврейский народ. Иными словами,

племя, вышедшее из Египта, объединилось затем с другими, родственными ему племенами, которые жили между Египтом и Ханааном. Этот союз, из которого родился народ Израиля, был скреплен принятием новой, общей для всех племен религии Ягве; согласно Мейеру, это произошло в Кадеше под влиянием мидианитов. После этого народ почувствовал себя достаточно сильным, чтобы предпринять вторжение в Ханаан. Такая последовательность событий не согласуется с предположением, будто поражение Моисея и его религии произошло в Шиттиме, к востоку от Иордана — эта катастрофа должна была случиться задолго до объединения племен.

Несомненно, еврейский народ образовался из множества весьма различных составных частей, но главное различие пролегало между теми, кто испытал египетское рабство и все последующие события, и всеми остальными. В этом плане можно сказать, что народ образовался из двух частей, и это согласуется с тем, что некоторое время спустя он распался именно на две части — царство Израиля и царство Иуды. История любит такие повторения, в которых прежние союзы распадаются, а прежние различия снова выходят на первый план. Наиболее впечатляющий и хорошо известный пример тому дала Реформация, которая спустя тысячу лет снова выявила границу между той Германией, что была под властью римлян, и той, которая всегда оставалась независимой. В случае евреев мы не можем подтвердить столь же судьбоносное воспроизведение прежнего положения вещей. Наши сведения о тех временах слишком скудны, чтобы обосновать предположение, будто северное Царство состояло из давних жителей Палестины, а южное — из вернувшихся из Египта; но и в этом случае более поздний распад не мог не быть связанным с предшествующим объединением. Выходцев из Египта было, видимо, меньше, чем остальных, но они стояли на более высоком культурном уровне. Они оказали более значительное влияние на последующую судьбу народа, потому что принесли с собой традицию, которой у тех не было.

Вероятно, они принесли с собой кое-что еще, хоть и не столь ощутимое, как традиция. Одна из величайших загадок древнееврейской истории связана с появлением левитов. Говорят, что они принадлежали к одному из двенадцати колен израилевых, колену Леви, но ни в одном предании нет и намека на то, где проживало это племя первоначально и какая часть завоеванного Ханаана была ему отведена. Левиты занимали самые важные посты

и в то же время отличались от жрецов. Левит — не обязательно священник; но это и не название касты. Наше толкование Моисея подсказывает нам объяснение. Нельзя поверить, что такой знатный человек, как Моисей, пришел к чужому народу без свиты. Он должен был привести с собой своих ближайших людей, писцов, слуг. Это и были первые левиты. По библейской традиции Моисей и сам левит. Но тут в Библии ощущается явное искажение истинного положения дел: в действительности, это левиты были людьми Моисея. Такое предположение подкрепляется фактом, на который я указывал в своем предыдущем эссе: в более поздние времена египетские имена встречаются только среди левитов. Можно предположить, что какое-то число этих моисеевых спутников избежало судьбы вождя и его религии. Впоследствии их численность возросла, и они смешались с народом, среди которого жили, но остались по-прежнему верны своему хозяину, чтили его память и сохраняли его учение. Ко времени союза с последователями Ягве они составляли влиятельное меньшинство, культурно превосходившее всех прочих.

Я допускаю, — и это пока только допущение, — что за время от падения Моисея и до принятия религии в Кадеше миновало два поколения, то есть прошло около столетия. У меня нет возможности определить, когда произошла встреча "неоегиптян" (как я буду называть вышедших из Египта) с их кровными родственниками — до или после того, как те приняли религию Ягве. Это не влияет на конечный результат. То, что произошло в Кадеше, было компромиссом, в котором безошибочно угадывается роль, сыгранная племенем Моисея.

Здесь мы опять должны привлечь на помощь обычай обрезания, который уже сослужил нам немалую службу. В религии Ягве этот обычай превратился в закон, и поскольку он неразрывно связан с Египтом, узаконение его означает некую уступку людям Моисея. Они — или левиты среди них — не хотели отказаться от этого символа своей посвященности. Они хотели сохранить от своей религии хотя бы это и в обмен готовы были признать новое божество и все, что говорили о нем мидианитские жрецы. Возможно, они сумели выторговать и другие уступки. Я уже упоминал, что еврейский ритуал предписывает определенную сдержанность в употреблении имени Бога. Вместо Ягве нужно говорить Адонай. Очень соблазнительно привлечь и эту заповедь как свидетельство, но это будет всего лишь догадка. Запрет на произношение имени

Бога, как известно, — древнее табу. Почему оно было возобновлено в еврейских заповедях, не вполне ясно; не исключено, что это случилось под влиянием нового фактора — памяти об Атоне. Нет оснований думать, что эту заповедь выполняли очень уж строго: слово Ягве свободно употребляется при образовании множества богоподобных имен, вроде Иоханан, Йохи, Иошуа. Тем не менее есть нечто особенное в этом слове. Как известно, исследователи Библии различают два источника Шестикнижия — так называемых "Ягвиста" и "Элогиста", потому что первый употребляет священное имя Ягве, а второй — Элогим. Конечно, Элогим — это не Адонай, но мы позволим себе привести тут цитату из Хьюго Грессмана: "Различие имен — явное свидетельство первоначального различия богов".

Мы приняли, что узаконение обряда обрезания является свидетельством компромисса при основании новой религии в Кадеше. В чем состояла эта религия, говорят нам оба источника, "Я" и "Э"; их свидетельства совпадают, а значит — восходят к какому-то одному общему источнику, письменному или устному. Ведущей задачей в Кадеше было утвердить величие и силу нового бога Ягве. Поскольку люди Моисея приписывали такое огромное значение своему Исходу из Египта, заслуга освобождения их оттуда была тоже объявлена делом Ягве. Новый Бог был наделен чертами, которые запечатлевали грозное величие вулканического божества: столб дыма, который по ночам превращался в огненный столп; буря, которая разделила воды так, что преследователи погибли, когда водные стены сошлись опять. Сам Исход и основание новой религии были таким образом сближены во времени, а разделявший их длительный период времени — выброшен. Дарование Десяти Заповедей тоже было отнесено не к Кадешу, а к подножию некой священной горы в Синае, окутанной дымом и огнем вулканического извержения. Однако этот рассказ лишал славы человека Моисея: ведь, в конце концов, это он, а не вулканический божок, вывел народ из Египта. Моисею надлежала какая-то компенсация, и в награду он был перенесен в Кадеш (или Синай-Хорев) и заместил собой мидианитского пастуха. Мы еще увидим, что это решение удовлетворяло и другие, нестерпимо важные нужды. В результате было, так сказать, достигнуто равновесие. Ягве получил возможность распространить свое могущество с безвестной мидианитской вершины на дальний Египет, а деятельность Моисея была перенесена в Кадеш и земли к восто-

ку от Иордана. Так он слился с образом человека, который намного позже него основал религию Ягве, с зятем мидианитского Йетро, дав этому человеку свое имя Моисей. Мы однако не знаем никаких личных особенностей этого второго Моисея, он полностью заслонен первым, египетским Моисеем и угадывается, разве что, по некоторым намекам, скрытым в противоречиях библейского текста, где этот текст описывает личность Моисея. С одной стороны, Моисей характеризуется как властный, вспыльчивый, зачастую даже яростный человек, а с другой — о нем же говорится, что он был самым терпеливым и "кротким" из людей. Ясно, что два последних качества не укладываются в образ египетского Моисея, задумавшего столь величественный и трудный план для своего народа. Возможно, они как раз и принадлежали второму, мидианитскому. Но с нас, я думаю, достаточно того, что мы отделили их друг от друга и допустили, что египетский Моисей никогда не был в Кадеше и не слышал имени Ягве, тогда как мидианитский Моисей никогда не бывал в Египте и ничего не знал об Атоне. Чтобы слить этих двух людей в одного, предание или легенда должны были привести египетского Моисея к мидианитам; и мы видели, что этому были даны разные объяснения.

VI

Я опять готов принять упреки, что развиваю свою реконструкцию древней истории израильских племен с неоправданной и чрезмерной уверенностью. Такие упреки не кажутся мне даже чересчур суровыми, потому что они находят отклик в моей собственной душе. Я и сам знаю, что эта реконструкция имеет свои слабости, — но она имеет и сильные стороны тоже. В целом однако преобладают доводы за то, чтобы продолжать нашу работу в том же направлении. Доступные нам библейские свидетельства содержат ценные — да что там! бесценные — исторические сведения. Они однако искажены намеренными воздействиями и дополнены плодами поэтического воображения. Мы уже сумели выделить одно из таких искажающих воздействий. Дадим этому открытию руководить нами и далее. Оно побуждает нас к поиску других аналогичных воздействий. Если мы найдем способ распознавать следы этих воздействий, мы сумеем пролить еще больше света на истинный ход событий.

Начнем с того, что говорят нам критические библейские исследования о том, как было написано Шестикнижие (то есть пять книг Моисея и книга Иошуа Бин-Нуна), ибо только эти книги представляют для нас интерес. Древнейшим считается источник "Я" ("Ягвист"), в авторе которого современные исследователи видят священника Эбиатара, современника царя Давида. Несколько позже (неизвестно, когда именно) появился так называемый Элогист — автор из северного Царства. После гибели этого царства в 722 году до н. э. некий еврейский священник объединил оба текста и внес в них собственные дополнения. Его компиляция обозначается ЯЭ. В седьмом веке была добавлена пятая книга, Второзаконие, причем было объявлено, что она, вся целиком, только что была найдена в Храме. Полностью переписанный текст Шестикнижия, который называется "священническим" (или "жреческим"), относят ко временам разрушения Храма (586 год до н. э.), изгнания и возвращения на родину. В пятом веке до н. э. текст подвергся окончательной ревизии и после этого он уже никогда существенно не менялся*.

История царя Давида и его дней была, видимо, записана одним из его современников. Это первая настоящая историческая хроника, созданная за пять столетий до Геродота, этого "отца истории". Можно по достоинству оценить это достижение, если предположить, как в моей гипотезе, влияние египтян. Некоторые исследователи допускают даже, что первые израильтяне, писцы Моисея, были и изобретателями алфавита. (Если им действительно запрещалось делать изображения, у них была причина отказаться от иероглифического письма и найти письменные знаки для звуков нового языка.) Разумеется, мы не знаем, в какой мере хроники древних времен базировались на более ранних источниках или устных преданиях и какое время протекло между са-

* Исторически достоверно, что еврейский тип окончательно сложился в результате реформ Эзры и Нехемии в пятом веке до н. э., то есть после изгнания, во времена благосклонного персидского владычества. По нашим представлениям, это было спустя девять столетий после Моисея. В этих реформах задача освящения народа воспринималась очень серьезно: отделение евреев от других народов было достигнуто с помощью сурового запрета на смешанные браки; Пятикнижие, этот подлинный свод законов, было канонизировано в его окончательном виде; его исправление ("священнический кодекс") было завершено. Представляется несомненным, однако, что реформы не ввели ничего нового, а лишь продолжили и упрочили прежние тенденции.

мими событиями и записью рассказа о них. Однако сам текст, каким мы его видим сегодня, достаточно говорит нам о своей истории. В нем запечатлены следы противоборства двух различных, диаметрально противоположных сил. С одной стороны, в него были внесены определенные искажения, фальсифицирующие рассказ в угоду скрытым тенденциям, сокращающие и расширяющие его до тех пор, пока он не превращается в свою противоположность. С другой стороны, в нем торжествовала набожная терпимость, которая диктовала сохранить все, как есть, и была равнодушна к тому, согласуются детали друг с другом или друг друга отрицают. Поэтому в Шестикнижии почти на каждом шагу можно встретить разительные пробелы, настораживающие повторы, очевидные противоречия, следы подробностей, о которых вовсе не хотели бы рассказывать. Искажение текста не так уж отличается от убийства. Вся трудность — не в том, как это сделать, а в том, как скрыть следы. Даже само слово "искажение" может толковаться двояко, и такая трактовка вполне законна, хотя нынче уже не употребительна: искажение может означать не только "изменение внешнего вида", но и "изменение сути" — путем всевозможных перестановок и перекручиваний. Вот почему во многих случаях таких искажений можно рассчитывать найти скрытый или изъятый материал в каком-нибудь другом месте того же текста, хотя и в переработанном виде, да еще и оторванный от исходных связей. Но не всегда легко его распознать.

Те искажающие воздействия, которые мы хотим обнаружить, наверняка повлияли на предания еще до того, как те были записаны. Одно из этих воздействий, вероятно — самое сильное, мы уже обнаружили. Я уже говорил, что когда в Кадеше был учрежден культ бога Ягве, пришлось придумать что-то для его прославления. Точнее было бы сказать, что он был не столько "учрежден", сколько "утвержден", для него было расчищено место; а для этого нужно было уничтожить все остатки прежней религии. С религией давних жителей Палестины справились успешно: от нее действительно не осталось и следа. С вышедшими из Египта племенами было труднее: они решительно не хотели отказываться от воспоминаний об Исходе, от своего человека Моисея и от обряда обрезания. Полбеды, что они были в Египте — теперь они его снова покинули, и отныне все следы египетского влияния действительно могли быть уничтожены. Их Моисей был развенчан с помощью переброски его к мидианитам в Кадеш и превращения в

пастуха, который основал религию Ягве. Обрезание, этот самый компрометирующий признак египетского влияния, пришлось сохранить, но — вопреки самым очевидным фактам — его постарались всеми силами отделить, насколько возможно, от египетской почвы. Загадочный абзац в книге Исхода, где говорится, что Бог разгневался на Моисея, не сделавшего себе обрезания, и тогда жена-мидианитка спасла ему жизнь торопливой операцией, можно истолковать только как намеренное отрицание очень важного факта. Вскоре мы увидим еще один прием, с помощью которого ухитрились опорочить другое нежелательное свидетельство.

Конечно, мы не сочтем чем-то новым, скорее — продолжением той же тенденции, когда увидим попытку отрицать, что Ягве был для евреев совершенно новым, чужим богом. С этой целью были привлечены мифы о праотцах Аврааме, Исааке и Иакове. Ягве утверждает, что он-то и был богом этих праотцев; но совершенно бесспорно — он и сам это признает, — что они не поклонялись ему под этим именем. (Запрет произносить новое имя Бога нисколько не становится от этого более понятным, скорее уж — более подозрительным.)

Ягве не разъясняет, под каким же именем ему поклонялись прежде. И вот эта нарочитая путаница создала благодарную возможность нанести смертельный удар по сторонникам египетского происхождения обряда обрезания. Было заявлено, что Ягве уже раньше потребовал от Авраама принять этот обряд — как знак завета, заключенного между богом и потомством Авраама. Это было особенно неуклюжее изобретение. Когда выбирают знак, отличающий кого-то от других, берут обычно то, чего у других нет, — уж наверняка не то, чем могут похвастаться миллионы. Израильтянин, оказавшийся в Египте, обнаружил бы, что все египтяне — его братья по Ягве, связанные тем же заветом. Тем, кто создавал текст Библии, вряд ли был неизвестен тот факт, что обрезание — давний египетский обычай. Отрывок из Иошуа, приведенный Мейером, открыто это признает, — и тем не менее этот факт старались любой ценой отрицать.

Трудно ожидать от религиозного мифа тщательного внимания к логическим связкам. В противном случае чувства народа могли бы по справедливости быть оскорблены поведением божества, которое сначала заключает союз с праотцами племени, включающий взаимные обязательства, а затем забывает своих партне-

ров-людей на целые века, пока ему вдруг не приходит в голову снова открыться их потомкам. Еще более удивительна концепция бога, внезапно "избирающего" себе некое племя и превращающего его в "свой народ", а себя — в его бога. Я уверен, что это единственный такой случай в истории человеческих религий. Во всех других случаях бог и народ связаны безраздельно; они с самого начала заедино. Верно, порой случается, что народ избирает нового бога, но никогда не бывает так, что бог избирает себе народ. Возможно, мы лучше поймем это уникальное происшествие, если задумаемся над отношением Моисея к евреям. Моисей спустился к еврейскому народу, это он сделал их своим племенем, это они были его "избранным народом"*.

Была и другая причина связать патриархов с новой религией Ягве. Они жили в Ханаане; воспоминания о них были связаны с определенными местами в этой стране. Возможно, они сами были местными ханаанскими героями или местными божествами,

---

* Ягве был, несомненно, вулканическим божеством. Жители Египта не имели никаких причин поклоняться ему. Я наверняка не первый, кому бросилось в глаза сходство имени Yahve с корнями другого божественного имени — Yupiter, Jovis. Составное имя Иоханан, включающее в себя ивритское слово Ягве и сходное по значению с английским Годфри и его пуническим эквивалентом Ганнибал, стало одним из самых распространенных имен в христианской Европе — в виде Иоганн, Джон, Жан, Хуан. Итальянцы, превратив его в Джованни и назвав один из дней недели Джоведи, снова извлекли на свет божий сходство, которое, вероятно, означает многое — а быть может, и ничего. Здесь открываются далеко идущие, хотя и весьма небезопасные возможности. В те отдаленные и темные века, которые историческая наука начинает изучать, страны восточного Средиземноморья были, по-видимому, ареной частых и яростных вулканических извержений, которые не могли не произвести глубокое воздействие на их жителей. Эванс предполагает, что разрушение дворца Миноса на Крите тоже было следствием такого извержения. На Крите, как и во всем Эгейском мире, почиталась тогда великая Богиня-Мать. Ее неспособность защитить своих поклонников от ударов еще более могучей силы, могла стать причиной ее замены мужским божеством, и тогда вулканический бог был первым кандидатом на освободившийся престол. Зевс до сих пор именуется "сотрясателем Земли". Вряд ли можно сомневаться, что в те отдаленные времена женские божества повсеместно заменялись мужскими (поначалу, как правило, их сыновьями). Особенно показательна судьба Афины-Паллады, которая несомненно была местной разновидностью материнского божества. Революция в религиозном сознании низвела ее до роли дочери, лишила матери и навечно запретила ей самой материнство, наложив на нее табу девственности.

которым пришедшие в Ханаан израильтяне начали поклоняться в ранний период своей истории. Взывая к их теням, евреи как бы доказывали, что родились и выросли в Ханаане, и это освобождало их от того малоприятного ореола, которым обычно окружены завоеватели-чужеземцы. Это был хитроумный ход: бог Ягве давал им всего лишь то, чем их предки некогда уже владели.

В более поздних добавлениях к библейскому тексту успешно проведена тенденция устранить всякое упоминание о Кадеше. Местом, где была основана новая религия, окончательно становится божественная вершина Синай-Хорев. Мотивы, которыми руководствовались при этом, не вполне ясны; возможно, хотели преуменьшить роль мидианитов. Но все эти более поздние добавления, особенно в "священническом кодексе", служат и другой цели. Теперь уже не было причин целенаправленно менять описание отдаленных событий — такие изменения уже были сделаны давным-давно. Зато была предпринята попытка отнести к более ранним временам законы и учреждения нынешнего периода, объявить их частью моисеева закона и на этом основании приписать им божественную и обязательную силу. Как бы ни была при этом фальсифицирована картина прошлого, сама такая попытка не лишена психологического оправдания. Она была следствием того, что за восемь веков, прошедших от Исхода до канонизации библейского текста Эзрой и Нехемией, религия Ягве претерпела ретроградное развитие, которое завершилось ее слиянием (возможно — даже прямым отождествлением) с исходной религией Моисея.

И вот важнейший итог такого развития: судьбоносное содержание еврейской религиозной истории.

VII

Среди всех прочих событий еврейской предыстории, воспетых поэтами, жрецами и хроникерами, было одно выдающееся событие, которое евреи нестерпимо хотели бы забыть — по самым понятным и благородным человеческим причинам. Этим событием было убийство их вождя и освободителя Моисея, о котором Селлин догадался из намеков, там и сям разбросанных у пророков. Догадку Селлина нельзя считать фантастической; она достаточно правдоподобна. Моисей, прошедший школу Эхнатона, действовал

теми же методами, что фараон: он отдавал приказы и навязывал народу свою религию. (В те времена иных способов влияния и не было.) Возможно, учение Моисея было еще более бескомпромиссным, чем религия его учителя; ведь у него не было нужды сохранять связь новой религии с культом Солнца, поскольку идеи школы Он были пустым звуком для его пришлого народа. Моисея ожидала та же судьба, что Эхнатона — судьба, которая ожидает всех просвещенных деспотов. Еврейский народ Моисея был совершенно неспособен принять столь одухотворенную религию и найти в ней ответ на свои нужды — как, впрочем, и египтяне времен Восемнадцатой династии. В обоих случаях конец был одинаков: те, кто чувствовали себя насильно опекаемыми и лишенными прав, восстали и сбросили с себя иго навязанной им религии. Но если покорные египтяне ждали, пока судьба освободит их от священной персоны их властелина, жестоковыйные евреи взяли судьбу в собственные руки и сами расправились с тираном*.

И нельзя сказать, что библейский текст, в дошедшем до наших дней виде, не подготавливает нас к такому обороту событий. Рассказ о "странствиях в пустыне", — которые могут обозначать период правления Моисея, — упоминает о череде яростных восстаний против вождя, подавленных, по приказу Бога, с дикой жестокостью. Нетрудно вообразить, что одно из этих восстаний закончилось иначе, чем это утверждает текст. Упоминаются также, хотя и мельком, случаи отхода людей от новой религии — в эпизоде с золотым тельцом, который, благодаря хитроумному повороту рассказа (разбитые Моисеем скрижали, что символически означает: он сам "разбил", нарушил закон), приписывается самому Моисею, вызывая этим его необузданный гнев.

Затем наступают времена, когда народ начинает сожалеть об убийстве Моисея и пытается забыть об этом преступлении. Видимо это произошло к моменту прихода в Кадеш. Искусственно сблизив Исход и принятие новой религии во времени и объявив Моисея, а не другого основателя, ее провозвестником, в Кадеше

* Поистине поразительно, как редко на протяжении многотысячелетней египетской истории приходится слышать о насильственном свержении или убийстве фараона. Удивление только возрастает, когда сравниваешь этот факт с азиатской историей. Можно, разумеется, объяснить это различие тем, что египетская историческая хроника подчинялась исключительно официальным целям.

сумели не только удовлетворить претензии людей Моисея, но и с неменьшим успехом изгладить из анналов неприятный факт его насильственного устранения. В действительности совершенно невероятно, чтобы Моисей участвовал в церемонии в Кадеше, даже если его жизнь и не была насильственно укорочена.

Здесь следует попытаться восстановить последовательность событий. Я отнес Исход из Египта ко временам гибели Восемнадцатой династии (1350 год до н. э.). Он мог произойти и несколько позже, потому что египетские хроники включают последующий период анархии в правление Харемхаба — фараона, который восстановил порядок и царствовал до 1315 года до н. э. Следующий — и единственный — опорный пункт нашей хронологии дает стелла Мернепты (1225—1215 годы до н. э.), на которой прославляется победа над Израилем (Изирааль) и истребление его семени (!). К сожалению, ценность этой надписи сомнительна: она доказывает лишь, что израильские племена к тому времени уже осели в Ханаане. Ссылаясь на эту надпись, Мейер справедливо заключает, что Мернепта не мог быть фараоном времен Исхода, как это предполагалось ранее. Исход должен был произойти в более ранний период. Вопрос о том, кто был тогда фараоном, кажется мне несущественным. Тогда попросту не было никакого фараона, потому что Исход совпал с периодом междуцарствия. Однако стелла Мернепты не помогает нам установить дату братания племен и принятия новой религии в Кадеше. Мы можем сказать только, что это наверняка произошло между 1350-м и 1215-м годами. Взяв этот промежуток, предположим, что Исход имел место ближе к его началу, а события в Кадеше — ближе к концу. Основную же часть промежутка мы отведем тому, что случилось между этими двумя событиями. Потребовалось, разумеется, значительное время, чтобы страсти, вспыхнувшие после убийства Моисея, охладились и влияние людей Моисея, левитов, возросло до той степени, на которую указывает компромисс в Кадеше. Это могло занять, как минимум, два поколения, шестьдесят лет. Тогда дата, указанная на стелле Мернепты, становится слишком близкой, а так как мы знаем, что в нашей гипотезе одно предположение базируется на другом, мы вынуждены признать, что тут в конструкции обнаруживается слабое место. К сожалению, все, что связано с заселением евреями Ханаана, очень запутано и неясно. Конечно, мы могли бы облегчить себе дело, допустив, что слово "Израиль" на стелле не относится к тем племенам, за судьбой ко-

торых мы следим и которые позже объединились под названием Израиля. В конце концов, на них ведь перешло и название "Хабиру" ("ивриим"), упомянутое в период Амарны.

Впрочем, когда бы ни произошло упомянутое объединение племен в народ путем принятия общей религии, вполне допустимо, что это событие все равно прошло бы незамеченным в мировой истории. Новая религия могла быть сметена историческим потоком, Ягве занял бы свое место в той длинной процессии умерших богов, которую так живо изобразил Флобер, а все двенадцать колен его народа могли "затеряться" — не только те десять, следы которых так настойчиво ищут англосаксы. Бог Ягве, с которым мидианитский Моисей связал новый народ, вряд ли был особенно примечательным божеством. Грубый, примитивный провинциальный божок, кровожадный и яростный, он обещал своим поклонникам "землю, текущую молоком и медом", и повелел изгнать ее обитателей "силой меча". Поистине поразительно, что, несмотря на все исправления библейского текста, в нем осталось так много примет первоначальной натуры Ягве. Нет уверенности даже, что его культ был подлинным монотеизмом и потому отрицал божественность других богов. Вполне достаточно было, что Ягве сильнее всех остальных. И если последующие события пошли совсем иным путем, тому может быть только одно объяснение: некоторая часть народа получила от египетского Моисея совершенно иную и более одухотворенную концепцию Бога — единственного Бога, которому подчинен весь мир, столь же вселюбящего, сколь и всесильного, Бога, который не терпит магию и ритуал и провозглашает высшей задачей человечества жить по справедливости и не по лжи. Ибо как бы скудны ни были наши сведения о этической стороне религии Атона, бесспорно существен тот факт, что Эхнатон неизменно характеризовал себя в надписях как "идущего путем Маат" (справедливости, правды). В дальнем плане не так уж важно, что евреи очень скоро отошли от учения Моисея и разделались с ним самим. Традиция осталась, и постепенно, в ходе веков, привела к тому, чего не дано было достичь самому Моисею. Бог Ягве, которому, со времен Кадеша, приписывалась моисеева заслуга освобождения народа, присвоил себе незаслуженную славу; но этот узурпатор дорого поплатился. Тень бога, место которого он захватил, оказалась сильнее живого Ягве, и в итоге исторического развития забытый было моисеев Бог окончательно вытеснил божество вулкана. Нет сомнений,

что только вера в этого другого Бога позволила народу Израиля вынести все испытания и сохраниться до наших времен.

Теперь уже невозможно определить, какую роль сыграли левиты в окончательной победе моисеева Бога над Ягве. Когда заключался компромисс в Кадеше, они возвысили свой голос за Моисея, воспоминания о котором еще были свежи в их памяти. В последующие века левиты слились с народом или со жрецами и их главной обязанностью стало соблюдать и осуществлять ритуал, хранить священные тексты и переписывать их в соответствии с надобностью. Но разве жертвоприношения и церемонии не были по сути своей той самой черной магией, которую безоговорочно отвергало прежнее учение Моисея? И вот из толщи народа возникла нескончаемая череда людей, не всегда прямых потомков первых левитов, — людей, увлеченных исподволь растущей, великой и мощной традицией, и именно эти люди, пророки, стали усердно проповедывать древнее моисеево учение: Бог отвергает все ритуалы и жертвоприношения, он требует только веры и жизни по справедливости и не по лжи (Маат). Усилия пророков увенчались непреходящим успехом: проповедь, в которой они воскресили древнее учение, навечно стала содержанием еврейской религии. Таким образом, заслуга еврейского народа, сумевшего сохранить от гибели такую традицию и породить пророков, давших ей выражение, сама по себе достаточно велика, даже если первый толчок был дан извне, великим пришельцем.

Вся эта трактовка событий могла бы породить разочарование, когда б не благодарная возможность сослаться на мнение других, более авторитетных исследователей, которые трактуют роль Моисея в истории еврейской религии точно в том же плане, что и я, хотя и не признают его египетского происхождения. Селлин, например, говорит: "Таким образом мы видим, что подлинная религия Моисея, его вера в единого этического Бога, отныне становится достоянием небольшого круга людей среди его народа. Нелепо сразу же искать ее следы в официальном культе, в религии жрецов, в общенародных верованиях. Все, чего можно ожидать, — это рассеянных там и сям искр зажженного им духовного пламени; его идеи не погибли, а исподволь продолжали влиять на убеждения и обычаи, пока наконец, раньше или позже, в результате подходящих событий или под воздействием какой-то личности, глубоко уверовавшей в них, они не вышли наружу с еще большей силой и не восторжествовали в умах широких народных масс.

Раннюю религиозную историю давних израильтян следует рассматривать именно под таким углом зрения. Восстанавливать моисееву религию по тем данным, которые имеются в исторических описаниях религии первых пяти ханаанских веков было бы величайшей методологической ошибкой". Пауль Вольц высказывается еще более категорично: "Дерзновенный труд Моисея поначалу вряд ли был вообще понят, и его учение с трудом пробивало себе дорогу, с течением столетий все глубже и глубже проникая в души, пока, наконец, не воспламенило великих пророков, которые продолжили дело одинокого основателя".

И поскольку моей единственной целью было найти место египетского Моисея в схеме еврейской истории, я могу на этом закончить. Теперь можно свести все наши выводы в одну кратчайшую формулу: хорошо известная дуальность этой истории — слияние двух народов в один; два царства, на которые он потом разделяется; два имени Божества в библейских источниках, одно из которых сначала вытесняется другим, а затем победоносно возвращается; два основателя религии с одним и тем же именем Моисей, которых нужно отличать друг от друга, — все это является неизбежным следствием самой первой дуальности: одна часть народа прошла через событие, которое верно было бы назвать травматическим испытанием, тогда как другая была от него избавлена. Конечно, многое еще нужно обсудить, объяснить и доказать. Только тогда мы могли бы надежно гарантировать интерес к этому чисто историческому исследованию. Было бы чрезвычайно соблазнительно воспользоваться частным случаем еврейской истории, чтобы попытаться понять, в чем по существу состоит скрытая природа традиции и что обуславливает ее странную власть над умами, насколько нелепо отрицать личное влияние отдельных великих людей на ход исторических событий, каким упрощением грандиозного многообразия человеческой жизни было бы сводить все движущие мотивы людей исключительно к материальным потребностям, откуда берется сила, с которой определенные идеи, в особенности религиозные, подчиняют себе отдельных людей и целые народы. Такое продолжение нашего очерка можно было бы связать с положениями, выдвинутыми четверть века назад в моей книге "Тотем и табу". Но я вряд ли могу и дальше рассчитывать на свои силы.

Перевел с английского Рафаил Нудельман

(продолжение следует)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

РОССИЯ ГОРБАЧЕВА: ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Кто о чем, а евреи — о том, что "это" значит для евреев. В то время, как в эмигрантском (мюнхенском) журнале "Страна и мир" все мыслимые русские авторы, от А до Я (от Авторханова до Янова), гадают, куда идет Горбачев и сколько он продержится, в Иерусалиме, в начале июня, израильские исследователи-репатрианты собрались на свою конференцию, посвященную идеологической ситуации в СССР и ее влиянию на советское еврейство. Цифры первых пяти месяцев года показывают, что еврейская эмиграция из СССР медленно растет: 98 человек в январе, 146 в феврале, 470 в марте, 717 в апреле и 879 в мае. Растет также и алия, то есть приток выезжающих в Израиль: с 15 процентов от общего числа выезжающих она увеличилась до 25 процентов в среднем за пять месяцев.

Однако те же цифры показывают, что весь этот поток эмиграции состоит почти полностью из отказников, порой с многолетним стажем. Тревожное отсутствие людей, недавно подавших заявления на выезд, очевидно. Это может быть следствием политики советских властей; но это может быть также следствием новой ситуации в СССР. Как и всякий раз при проблесках "либерализации", многие подпадают под власть иллюзий; евреи, вросшие в русскую жизнь и, особенно, в русскую культуру, снова прозревают возможность устремиться в первые ряды борцов за "вашу и нашу свободу"; другие, взвесив трудности эмиграции и ненадежные российские перспективы, со вздохом отдают предпочтение вторым. Короче — идеологическая ситуация в горбачевской России неизбежно ведет к смятению умов и душевной растерянности.

Однако, в чем она состоит, эта

идеологическая ситуация? Каково содержание того плюрализма, который утвердился сейчас на страницах советской прессы, отразив наличие идеологической борьбы в самом обществе? Кто с кем, кто против кого и почему? И — что это все-таки сулит евреям? Не только в прагматическом, но шире — в национальном, в историческом плане?

С первых же дней горбачевских реформ израильские исследователи (справедливость требует назвать первым имя М. Каганской) говорили, что либерализация — это либерализация для всех, а не только для советских либералов. Поэтому полемика Н. Эйдельмана с В. Астафьевым не была воспринята здесь как нечто неожиданное: выхода на сцену давно сложившегося русского национализма и ждали, и опасались. Ждали и опасались прежде всего потому, что давно и пристально за ним следили. Центр документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете (под руководством профессора Ш. Эттингера) посвятил главные усилия исследованию именно этого феномена нынешней русской жизни; в работах М. Каганской, Л. Дымерской-Цигельман, Н. Прата, М. Хейфеца, З. Бар-Селла и других были вскрыты особенности, генезис и перспективы крайнего русского национализма на современном этапе.

Июньская конференция, проведенная Центром, собрала этих и других исследователей, которые предложили свои интерпретации того, что происходит сегодня в России. Первым вопросом, который возник в ходе дискуссии, был вопрос о подоплеке нынешнего идеологического плюрализма. Доктор Михаил Агурский настаивал, что множество точек зрения, неожиданно выплеснувшееся на страницы советской печати, есть попросту отражение борьбы отдельных групп внутри советской верхушки.

"Уже во времена Сталина возникла довольно структурированная система советской политической жизни. Тогда это были три "идеологических" секретаря ЦК — Жданов, Маленков и Андреев, — которым Сталин дал "карт-бланш" на подбор нового аппарата. Они естественно подбирали своих людей, и возникли коалиции, которые начали между собой историческую борьбу... Каждая такая коалиция представляла Сталину те или иные идеи в области внешней и внутренней политики, а Сталин взял себе роль высшего арбитра. Он не связывал себя ни с одной политической идеей, ни с одним идеологическим нововведением; за них отвечали люди, которые эти идеи выдвигали, причем отвечали головой.

Таким образом были заложены исходные коалиции в Политбюро, к которым позже добавилась еще "украинская мафия", терпеливо насаждаемая Хрущевым. Эти коалиции укоренились в советском политическом аппарате, что отражается в системе назначений в нем... Эти назначения и есть так называемая "номенклатура", и когда мы видим в ней только систему привилегий, мы глубоко заблуждаемся. Номенклатура — это прежде всего политическое "постоянное место", и каждый в ней назначается и поддер-

живается той или иной коалицией на верхах. Один и тот же отдел ЦК, один и тот же институт, одна и та же газета могут включать в себя широкий круг номенклатурных работников, не зависящих друг от друга. И поэтому, например, сотрудник внешнеполитического отдела ЦК Загладин может высказывать определенные мнения, которые идут вразрез с мнениями руководителя этого отдела, Пономарева, или другого сотрудника, Брутенца. Эта политическая независимость обусловлена тем, что все они — представители различных коалиций в Политбюро или ЦК".

М. Агурский подчеркивает, что наличие коалиций в советской верхушке ведет к тому, что все назначения и мероприятия оказываются результатом борьбы, торга и компромисса, что сближает советскую систему с западной. Их главное отличие — в отсутствии гласности и законов, управляющих и регулирующих механизмы политической борьбы на верхах.

Ярким примером идеологического плюрализма может служить главная советская партийная газета "Правда". Ее политические обозреватели являются номенклатурными работниками, которые могут даже обжаловать в ЦК решения редактора, если они с ним не согласны. Каждый из них имеет поддержку определенной коалиции и выражает ее точку зрения; насколько их судьба связана с судьбой этой коалиции, видно на примере В. Большакова, карьера которого в "Правде" оборвалась после ухода бывшего редактора Зимянина.

"Так обстоит дело в партийных газетах. Но в СССР существует неписаное правило: то, что нельзя делать в газетах, можно позволить в журналах. И тут мы видим гораздо больше плюрализма, но плюрализма особенного: каждый советский партийно-политический журнал — это более однородная коалиционная структура, это вотчина той или иной коалиции. По составу их редколлегий мы можем видеть не только сами эти коалиции, но и их динамику. Например, после того, как Добрынин стал секретарем ЦК, его конкурент Арбатов, возглавивший журнал "США: вопросы политики", сумел вытеснить оттуда нескольких "людей Добрынина" — Брутенца, Замятина, Георгиева. В журнале "Коммунист" главным редактором был "человек Суслова" Косолапов; после прихода Горбачева к власти Косолапов не был избран даже в состав ЦК, а на его место пришел известный либеральный философ Иван Фролов, который включил в состав редколлегии престарелого Федосеева (давнего личного врага покойного Суслова) и даже некогда осужденного (за "антисоветскую" переписку) и исключенного из партии Лациса".

Далее М. Агурский анализирует советские художественные журналы — "Наш современник", "Молодая гвардия", "Новый мир", показывая, что

состав их редколлегий еще более резко отражает идеологию той или иной партийной группы, так что эти журналы вполне можно назвать "групповыми органами". В то время, как "Наш современник" и "Молодая гвардия" давно уже сложились как главные оплоты русского национализма, "Новый мир" с его либеральной традицией в последние месяцы все откровеннее выражает взгляды "реформаторской коалиции" в верхах, отражением чего явилось назначение в редколлегию академика Д. С. Лихачева; та же коалиция захватила журнал "Знамя", заместителем главного редактора которого назначен известный либеральный критик Лакшин. Докладчик резюмирует:

"Если мы хотим понять высказывание того или иного советского человека, газеты, журнала, мы должны прежде всего понять — какую группу он представляет, от чьего имени говорит. Люди в СССР не выступают сами по себе и не выражают свое индивидуальное мнение в одиночку. Крупные лидеры используют журналистов и писателей для выражения своих сокровенных взглядов, которые они не могут высказать на политических трибунах. Поэтому дискуссии в идеологической, партийной и художественной литературе отражают на самом деле дискуссии, которые идут на высшем партийном уровне..."

Итак, по мнению М. Агурского, нынешний советский идеологический плюрализм есть отражение борьбы коалиций на верхах. Эта крайняя точка зрения встретила решительные возражения других докладчиков. Однако еще до этого в дискуссию вступила Л. Дымерская-Цигельман, которая внесла в нее недостававший "еврейский аспект". Ее доклад назывался "Еврейский вопрос в контексте различных идеологических доктрин" и был посвящен анализу того, как сказывается наличие идеологического плюрализма на трактовке этого "вечного" вопроса.

"Поначалу мне казалось, что можно найти какую-то общую, единую концепцию еврейства, принятую в советской идеологической литературе. Однако, изучение ситуации привело меня к выводу, что, пожалуй, такой единой концепции нет. Взгляды на еврейский вопрос излагаются в рамках более общих идеологических доктрин, и подход всякий раз зависит от тех целей (в том числе, и может быть, даже главным образом — политических), в реализации которых участвуют те или иные доктрины. Стало быть, мы опять приходим к необходимости учета идеологического плюрализма".

Однако, в отличие от Агурского, который сосредоточился только на официальной идеологии, Л. Дымерская выделяет в идеологии два уровня — официальный и "общественный". Нет чистой "официальной идеологии", которая бы раз навсегда задавалась сверху, — утверждает она; эта идеология неизбежно приходит в сложное взаимодействие с общественным

сознанием и возникающими в нем идеологическими настроениями; а уже результатом приспособления, "адаптации" официальных доктрин к настроениям общества оказывается та идеология, которую мы наблюдаем в реальности.

"Даже сталинизм (который я отличаю от ленинизма) формировался под воздействием таких адаптивных механизмов и был симбиозом двух составных частей — определенным образом видоизмененной догматики марксизма и полученной "по индукции", от общества, националистической идеологии. Это было объединение двух мессианских доктрин — пролетарского мессианизма, согласно которому спасителем человечества является объединенный в международном масштабе пролетариат, и русского мессианства, которое выдвигало на роль такого спасителя русский народ. Возведение такой симбиотической идеологии сталинизма в ранг официальной и чуть ли не божественной доктрины можно датировать вполне точно — это 1936 год. Тогда же возникает, в рамках этой доктрины, и стереотип "Врага", который наделяется чертами не только "врага пролетариата", но и "врага русского народа". Первой персонификацией этого "Врага" стал, как ни странно, Бухарин; с течением времени его последовательно заменяют "антипатриоты", "космополиты" и наконец "сионисты"; апофеоз этой доктрины приходится на 1953 год".

Идеологическая реакция, последовавшая за смертью Сталина, заложила предпосылки для синтеза новой составной идеологии. Из официальной доктрины более или менее исчез сталинизм; зато в общественном сознании появились новые идеи — с одной стороны, солженицынские, с другой — зиновьевские. Те и другие предлагали свои ответы на главный вопрос: как могла возникнуть на русской почве сталинская система? Зиновьев, вслед за В. Гроссманом ("Все течет") находил ответ в особенностях самой системы, народа и общества; Солженицын, а особенно его интерпретаторы, утверждали, что это прежде всего — вина инородцев, главную роль среди которых играли евреи. Доминирующей в общественном сознании становится "солженицынщина", то есть вульгарная интерпретация идей Солженицына (за которую он не несет прямой ответственности); она начинает господствовать в Самиздате и Тамиздате, и к началу 70-х годов смыкается с официальной доктриной.

"В начале 70-х годов официальная идеология открыто воспринимает в свое русло извлеченную из общественного сознания националистическую составляющую. Процесс повторяется, но в обратном порядке: если Сталин начинал с восприятия русского мессианства, а евреи, как ипостась "мирового Врага", появились в его доктрине лишь в самом конце, то на сей раз все начинается с кампании антисионизма, который имеет откровенно антисемит-

ский характер. С появлением книги Иванова в доктрину вводится фигура "мирового еврейского Врага", причем в ее расистском варианте. В отличие от сталинских времен, здесь впервые появляются ссылки на известную работу Маркса "К еврейскому вопросу", которая постепенно становится для советской пропаганды таким же трамплином для последующих построений, как некогда — для пропаганды нацистской. Возникает концепция еврейства как классово-недифференцированной общности с определенными родовыми ("расовыми") характеристиками; "сионизму" и "еврейскому заговору" приписывается трехтысячелетняя (!) история — то есть, в сущности, весь срок существования еврейства как такового. Сионизм (еврейство) объявляется "злым началом", которое определяет судьбы всего человечества. По своей природе оно есть, в духе работы Маркса, "торгашество", то есть воплощает не только антирусское, но и антипролетарское зло. И обратно: поскольку оно есть зло не только русское, то все человечество — разумеется, под водительством русского народа и мирового пролетариата — должно сплотиться для искоренения этого зла. Так создается тотально-антиеврейская концепция в рамках советской доктрины антисионизма".

Докладчик показывает, как происходит постепенное развитие и "уточнение" этой доктрины. В работах Бегуна возникают элементы переоценки еврейской роли в предреволюционной русской истории: оказывается, это именно они разлагали царский аппарат; далее зловещая роль евреев расширяется на революцию, Брестский мир, гражданскую войну (в ней объявляется повинным Троцкий, начавший политику "расказачивания"); мало-помалу государственный антисионизм впитывает в себя все оттенки и варианты современного русского националистического мессианства, которые получили хождение в Сам- и Тамиздате; последняя книга Корнеева особенно показательна в этом отношении — она уже включает в себя даже то новое направление русского национализма, у которого не было аналогов и предшественников в прежней русской общественной мысли — так называемый "цивилизационный мессианизм".

"В работах М. Каганской был открыт грандиозный пласт советской литературы, крайне разветвленной и разножанровой по характеру, смысл которой сводится к конституированию новой мессианской версии. Речь идет о том, что существовала, якобы, "русская цивилизация" многотысячелетней (!) давности, и у истоков всечеловеческого развития стояло столкновение двух взаимоисключающих культурных начал — арийского, в его русском виде, начала добра и еврейского, злого начала. Этот новый миф настолько отличается от нацистского "мифа XX века", что Каганская

предложила назвать его "мифом века 21-го". И вот на примере последней книги Корнеева мы видим, как этот "миф XXI века" проникает уже и в партийно-политическую публицистику.

Но эпоха гласности имеет одну интересную особенность: она создает возможность столкновения различных идеологий и процессов. И это столкновение можно проследить от слоя к слою — от партийно-политической публицистики к художественной литературе, от нее — к художественной критике и далее — до прямых общественно-политических выступлений (вроде недавнего митинга так называемого "историко-патриотического" общества "Память" с резко антисемитскими заявлениями, что евреи повинны в Чернобыльской катастрофе, в спаивании русского народа... кефиром, тайно содержащим алкоголь, и в проталкивании в печать "сионистско-масонских семисвечников") ".

Это столкновение, говорит М. Дымерская, находит отражение в публикации, например, романа Белова "Все впереди" и повести Астафьева "Печальный детектив", в развернувшейся вокруг них критической полемике; в переписке Эйдельмана с Астафьевым и реплике на нее "Правды"; в атаках "Комсомольской правды", направленных против общества "Память" и его идеолога Кожинова, который в журнале "Москва", рупоре этой группы, подверг ревизии ленинский тезис о "двух культурах" в рамках каждой национальной культуры. Любопытно, по мнению докладчика, что в этом столкновении либеральная сторона только "реагирует" — откликается, но не атакует, разоблачает, но не наступает; ее выступления имеют морализаторский характер, но не называют врага по имени, не анализируют его позицию по существу. Свой анализ М. Дымерская заключает следующими словами:

"Резюмируя, я хочу сказать, что в этой картине недостает еще одной важной составляющей — еврейской. В нынешней советской идеологической ситуации евреи неизменно выступают как "объекты" исторического действия, но не его "субъекты". Я думаю, что мы уже доросли до иной роли, и эту роль надо достойно выполнить".

Доктор Нафтали Прат избрал темой доклада на конференции узкую, казалось бы, область экологии, однако и в ней сумел показать ожесточенное идеологическое столкновение разных общественных групп в нынешнем СССР, имеющее куда более широкое и сущностное значение.

"Начиная с середины 60-х годов, советские общественные науки активно ассимилируют популярную на Западе экологическую тематику, главным образом — по линии перевода и воспроизведения тех или иных западных идей и попытки обезвредить их путем включения в систему советской идеологии — обезвредить в том смысле, что все опасности приписать не технологическим и дру-

гим факторам, а капиталистической форме технического развития. При этом утверждалось, что советская система, благодаря своим социальным и политическим особенностям, может планомерно осуществлять долгосрочные комплексные программы, направленные на сохранение и улучшение природы, на преодоление отрицательных экологических последствий научно-технического прогресса...

Но по мере того, как экологическая проблематика становилась составной частью официальной идеологии, открывалась возможность проникновения в исследования по социальной экологии также и оппозиционных идей разного рода значимости. Это не была открытая политическая оппозиция, а поначалу всего лишь сопротивление определенным конкретным мероприятиям советского государства, направленное прежде всего против разрушения природы. Экология стала проявлением своеобразного идеологического плюрализма, она превратилась в своего рода "экологическую нишу" для тех критиков советского режима, которые не готовы были на открытое противопоставление себя советской системе, но были готовы высказать открытое недовольство определенными его действиями".

Н. Прат напоминает о знаменитой дискуссии вокруг озера Байкал, а в последние годы — вокруг так называемого "проекта века", предусматривавшего поворот северных рек на юг и угрожавшего радикально изменить всю природную структуру Европейской части России. Этот проект столкнулся с ожесточенной общественной критикой (видимо, ставшей возможной лишь благодаря поддержке определенных групп сверху) и был, в конце концов, отменен под давлением общественности.

Главными противниками "проекта века" были прежде всего русские писатели национального и националистического направления — Распутин, Астафьев, Белов. Но любопытно, что в их произведениях (равно как и в публицистических выступлениях их сторонников) экологическая проблематика постепенно перерастает в проблематику мировоззренческую, допускающую весьма широкие толкования и вызывающую ожесточенные споры. Так экология становится еще одним участком сегодняшней идеологической борьбы в СССР. Например, в книге Астафьева "Царь-рыба" выдвигаются религиозно-философские аспекты экологической проблематики: поднимается на щит русское язычество, обожествлявшее природу (и противопоставленное в этом плане христианству); провозглашается религиозно-нравственное отношение к "родной природе".

Националистам противостоит на экологическом фронте либерально-гуманитарная группа, которая развивает эту тематику в русле, в основном, официальной идеологии, но придавая ей глобальное значение, то есть подчеркивая ее общечеловеческий аспект. (Переход от "марксистского" к "общечеловеческому" аспекту вообще характерен для последних вы-

ступлений Горбачева.) Этот "гуманитарный" подход особенно различим в выступлениях Фролова, официального советского философа, выдвинувшегося в середине 60-х годов резкой критикой Лысенко и так называемого "творческого дарвинизма", а сейчас ставшего главным редактором журнала "Вопросы философии", где он сосредоточился, основным образом, на экологической проблематике.

Таким образом, экологическая проблематика становится одной из главных составных частей идеологии "перестройки". Это тем более важно, что идеологию "перестройки" официально (или, по крайней мере, формально) принимают как представители правонационалистического лагеря, так и глашатаи реформизма и либерализации. Принимая ее, они одновременно ведут ожесточенную борьбу за ее будущее направление. В этой борьбе активной стороной является националистический лагерь. Характеризуя его позиции, докладчик приводит несколько показательных фактов. Один из них связан с дискуссией, проведенной в 1985 году журналом "Наш современник", где, среди прочего, говорилось:

"Уже ни у кого не вызывает сомнения тот очевидный факт, что экологические последствия хозяйственной деятельности, а проще говоря — разрушение природы оборачивается для общества огромным не только экономическим, но и нравственным ущербом. Выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский на основе созданного им учения о биосфере и ноосфере пришел к выводу, что масштабы воздействия общества на природу приобрели значение могучей геологической силы. Именно поэтому надо быть особенно осмотрительными при разработке проектов, осуществление которых может повлечь за собой быстрое, необратимое разрушение ландшафта. К примеру, восточноевропейская Русская равнина — понятие не только географическое, но и историческое. (Обратите внимание на переход. — Н. П.) Пространство ее совпадает с территорией Европейской части СССР. Именно эта географическая среда, именно этот ландшафт, созданный природой в последние геологические эпохи, а позднее облагороженный трудом сотен поколений земледельцев, стал исторической колыбелью восточнославянских и многих других народов. Поэтому географическая среда, ландшафт Русской равнины, с ее спокойными величавыми реками, плодородными степями, пронизанными солнцем, с ее растительным и животным миром, то есть все то, что воспето в народных песнях и преданиях, что вошло в самое дорогое для нас понятие "великая родная земля" и что стало пространственной основой нашего отечества и его истории, о которых вслед за А. С. Пушкиным каждый мог бы сказать: "Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков", — все это для народа явля-

ется не только материальной и естественной природной, но и духовно-нравственной ценностью..."

Так экологическая проблематика "плавно и непрерывно" перетекает в выступлениях "русситов" в основные идеи националистической идеологии с ее главным призывом к религиозно-нравственному возрождению Руси. Жесточайшей атаке подвергается "занесенная с Запада" идеология "пантехницизма", некритического отношения к технике, доходящего до ее обожествления как единственного орудия прогресса и решения всех общественных задач. Любопытно, что при этом на помощь привлекаются те русские мыслители, которые никогда, в сущности, не придерживались идеологии марксизма-ленинизма, — Вернадский, Федоров, Циолковский. Прежнему, базаровскому лозунгу: "Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник" противопоставляется тютчевское: "Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик — в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык". По этой линии экологическое мышление националистов смыкается с крайними проявлениями их неоязычества, резко враждебного христианству (с его "иудейским" происхождением) и переходящего в пределе в тот миф XXI века, о котором говорит М. Каганская. В этом плане показательна другая цитата — из недавнего романа Ю. Сергеева "Становой хребет", опубликованного в том же журнале "Наш современник". Герой романа находит где-то в Сибири заброшенный скит, где старец-раскольник "раскрывает" ему тайны "древней религии россов". Вот этот отрывок, отнюдь не являющийся, как хотелось бы, может быть, думать, пародией:

"Ты поведал великий секрет многобожия, глаголец древних начертаний. Это книжье — истинное верование россов. Это была чудной красы религия, кою испоганили и убили. Это была солнечная и живая сила бога во всем — в дереве и солнце, в воде и ветре. Мы жили в природе и ведали себя ее частью. Нам принесли взамен рабскую религию, досель вольнолюбивых россов поставили на колени, навязали нам иконы никонианские с чуждыми иноземными ликами, глумливыми и слащавыми в библейской мерзости, продажности, пьянстве и похоти, в звериной жажде покорения земли нашей. Светлая религия некогда могутного народа, стоящая на честности и радости, была жестоко убита, и только волхвы хранили ее из века в век, да бабы-йоги собирали крупицами эту книжницу, дабы сохранить истину духа нашего. Я последний хранитель тайной святости, и пусть она веками еще ждет часа разумного пришествия людей истинных, свергших тысячелетнее бремя ветхого завета, нежели на усладу врагов наших попадет в костер..."

Таким "врагом" в романе Ю. Сергеева оказывается городской "профессор" с нерусским именем Витольд, смертью которого от раскольничьего самострела кончается произведение. Н. Прат заключает:

"Я хочу напомнить, что еще в 60-е годы на страницах "Литературной газеты" велись дискуссии о "земле" и "асфальте". Чтобы понять, чем могут кончиться подобные дискуссии сегодня, нелишне заглянуть в словарь Даля. Там говорится: "Асфальт — слово жидовское"..."

Таким образом, в центр дискуссии на конференции постепенно выдвинулась тема русского национализма, как главной сегодня идеологической силы, открыто заявившей о себе в условиях "гласности". Можно было бы вспомнить здесь, что еще несколько лет назад, на конференции советологов в США, русский национализм характеризовался как главным образом "умеренный", как та "ставка" и "сила", на которую, быть может, следует поставить в новой американской внешней политике. Видно, сколько воды утекло за эти годы. Крайний фланг русского национализма переродился сегодня в откровенный неонацизм. Но сохранилось ли умеренное крыло, заметно ли его присутствие на сегодняшней советской идеологической сцене? Кто его идеологи и представители?

Неожиданный, резко оригинальный ответ на эти вопросы дала М. Каганская в своем докладе "Солженицын, его читатели и интерпретаторы в России". Ее выступление снова вернуло слушателей к основному тезису М. Агурского, согласно которому весь нынешний идеологический плюрализм в СССР есть лишь отражение "номенклатурой" борьбы коалиций в верхах. М. Каганская оспаривает этот тезис:

"Одна из последних фраз М. Агурского звучала примерно так: если мы хотим понять чье-то высказывание, мы должны прежде всего знать положение этого человека в структуре власти. Я думаю, что прежде всего мы должны понимать содержание самого высказывания. Содержание же никаким местом в иерархии не определяется, оно определяется той идеологической интенцией, той идеологической концепцией, которую нужно защищать. Я утверждаю, что первичной реальностью является как раз сама идеологическая ситуация, а не якобы отражаемая ею "борьба за власть". Так называемая борьба за власть в верхах стала сегодня просто самым расхожим — и поверхностным — объяснением всего непонятного, разнообразного, странного, тревожного, что происходит сейчас в России: все объясняют борьбой за власть в разных группах. Такое объяснение, при котором всякое движение в обществе сводится к борьбе за власть, а за всяким идеологическим движением предполагается "некто", ему патронирующий и "через него" высказывающийся, — такое объяснение приводит нас к какой-то странной разновидности интеллектуального язычества древнеримских времен, когда на каждый чих предполагался свой бог (или, как тогда говорили, свой "гений"). Оно, это объяснение, напоминает и столь нелюбимую мною теософ-

скую доктрину, которая всю борьбу в "нижних сферах" объясняет борьбой в "сферах высших". Даже если согласиться, что м е х а н и з м становления идеологического плюрализма именно таков, главный вопрос по-прежнему состоит в том, что именно думают и защищают те или иные общественные группы и отдельные люди.

В этом смысле я хочу сказать, что идеологическим героем времени мне представляется не номенклатурный чиновник, который отстаивает свое положение и для этого "выбирает" одну из имеющихся в его распоряжении идеологических концепций; нет, главный идеологический герой нашего времени — это интеллигент. Средний обычный русский советский интеллигент, который сидит не в кабинете, а у себя на кухне, который размышляет и формулирует свои взгляды не в ЦК, а в кругу единомышленников. Эти взгляды он приобрел нелегким путем — частично он выстрадал их в спорах и размышлениях, частично получил из традиции, а частично — воспринял от великих идеологов того тридцатилетнего периода, когда вырабатывал свою идеологию".

По мнению М. Каганской, первым советским диссидентом и основателем диссидентского движения в СССР был в действительности ... Хрущев. Как и сейчас, в 50-е годы "освобождение" пошло сверху, но тогда общество было к нему не готово, оно не имело идеологических альтернатив и, в ужасе отворачиваясь от сталинизма, хваталось то за "неомарксизм", то за "подлинный ленинизм", то за национализм. С тех пор, однако, прошло тридцать лет, и за это время советское общество, его интеллигенция сформулировали весь тот спектр идеологий, который сегодня вышел наружу. Главным и, в сущности, чуть ли не единственным двигателем этого "пиршества плюрализма" явился опять "человек сверху" — на сей раз Михаил Горбачев. По мнению М. Каганской, не объективные, а какие-то субъективные причины заставили Горбачева провозгласить "гласность" и "перестройку"; 1985 год никакими особыми экономическими трудностями не отличался от 1984-го; государство не было ближе к тупику или развалу; следовательно, вся энергия этой новой оттепели исходила действительно от одной-единственной личности — самого Горбачева. Тем интересней и загадочней этот человек. Что им движет, какая идеология стоит за его действиями, как он к ней пришел?

"У нас есть единственная возможность ответа — это анализ его выступлений, его, так сказать, речевое поведение, его стилистический портрет. Горбачев существует в сфере весьма специфического, советского языка. Язык этот характеризуют три особенности. Во-первых, этот язык не отражает реальность; он отражает идеальное представление власти и господствующей идеологии о том, какой должна быть эта реальность. Во-вторых, язык этот

страшно консервативен: все, прошедшие через него, знают, с какой нервозностью и чуткостью воспринимается всякое изменение в этом языке — потому что если оно и не указывает на изменения в самой действительности, то уж наверняка указывает на изменение в отношении властей к этой действительности. И, в-третьих, в советском языке отсутствует прямая корреляция между означающим и означаемым, — она подменяется предельно разработанной и кодифицированной системой тропов, метафор, метонимий и так далее. Нельзя говорить — сталинский террор, но можно — "культ личности Сталина" или "нарушения социалистической законности".

Словесный портрет Горбачева исчерпывается тремя словами, но это ключевые слова: гласность, перестройка и ускорение. И хотя до сих пор не ясно, что за ними стоит, по своему внутреннему ритму они явно напоминают знаменитые "триады" типа "свобода, равенство, братство" или "самодержавие, православие, народность"; в них есть та же сакральная аура. Казалось бы, по существу, перестройка (точный смысл которой — изменение с т р о я) означает революцию, а гласность — свободу слова; но в первых своих выступлениях Горбачев все время старается распределить эту триаду в сочетании с другими, устойчивыми советскими словосочетаниями: гласность неизменно появляется рядом с "критикой и самокритикой", а "перестройка" — рядом с "ростками нового"."

Можно понять, почему гласность не отождествляется со свободой слова, — говорит далее М. Каганская. Дело не только в том, что понятие свобода слова относится как бы к числу буржуазных свобод; пожалуй, более важную роль в этом ограничительном толковании играет русская традиция: словарь Даля, например, определяет гласность, с одной стороны, через "оглашение", "огласку", а с другой — через "глас божий" и т. п.; иными словами, в русской традиции гласность имеет два плана — социальный и церковно-религиозный, но оба не имеют ничего общего с западной "свободой слова", которая ассоциируется со "свободой мысли".

Мысль эта: о связи словоупотребления (а стало быть, и идей) Горбачева с русской традицией в обоих ее планах, социальном и религиозном, — постепенно нарастает в докладе, становясь главной. В этой связи М. Каганская напоминает опубликованную в "22" статью М. Вайскопфа "Михаил Горбачев как религиозный мыслитель", высоко оцененную, в частности, Ст. Лемом. Каганская, вслед за Вайскопфом, тоже отмечает религиозно-нравственную составляющую идеологии Горбачева. Она ищет источник этих неожиданных для высшего советского руководителя взглядов.

"Поскольку я исхожу из того, что должен быть некий центр радиации, который произвел всю эту идеологическую революцию,

я хочу предложить для сравнения два высказывания. Одно из них сделал Горбачев на митинге в Бухаресте: "Если какие-либо недостатки замалчиваются, они потом неизбежно нарастают. Неправда хуже дурмана. Она может на время приглушить, загнать вглубь болезненные явления, но не излечивает их, а значит — мешает здоровому развитию". Следующий отрывок пока анонимный: "Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности, тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтобы они гнили там".

Это — Солженицын, письмо пленуму Союза советских писателей от 1969 года".

Итак, имя названо. Мысль — высказана: главный читатель и интерпретатор Солженицына в сегодняшней России — это Горбачев. Но мысль эту следует еще доказать. И Каганская подробно анализирует знаменитое "Письмо к вождям" Солженицына, вычленяя из него позитивную программу автора: борьба с пьянством, призывы к нравственности (вместо идеологии), требование вернуть религию в общество, требование дать свободу узникам совести ("инакомыслящим"), дать свободу личной инициативе в экономике, частных услугах и ремеслах, перейти от технологического гигантизма, уничтожающего родную природу, к "повороту на Северо-Восток" и шире — к отказу от внешних задач в пользу внутренних (оздоровления нации); наконец, провозглашение примата нравственного и общечеловеческого над узкопартийным, марксистским, утверждение, что только с помощью такой эволюционной программы можно спасти страну от разрушительной революции снизу. Вот как это выглядит в словах самого Солженицына:

"И не конвергенция ждет нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка... "Прогресс" должен перестать считаться желанной характеристикой общества, надо срочно отказаться от современной технологии гигантизма, устранить плачевные результаты предшествующей техники... Перестройка должна начаться немедленно, сейчас... Рисуется единый выход: отбросить мертвую идеологию, отбросить все ее чуждые мировые фантастические задачи... Это перенесение центра вниманий и усилий ... с внешних задач на внутренние. Этого требует истинное, не показное состояние ...нашего быта, нашего хозяйства. Люди не кладут сил на казенной работе, но сколько могут обманывают (а то и воруют) — и с таким народным настроением какими же еще сроками можно располагать для спасения страны. Но еще разруши-

тельнее — водка... По сравнению с нравами людей, их душевным состоянием, их отношением друг к другу и обществу — мелки и ничтожны все материальные достижения... Нам мешает идеология, ... претендующая, что она заменила нравственность... Чтобы вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет ее истории, а не только 55 лет, 5 процентов ее".

А вот высказывания Горбачева: "Мы выстрадали новое мышление, которое призвано ликвидировать разрыв между политической практикой и общечеловеческими морально-этическими нормами... Перед своим народом, и перед вами, и перед всем миром откровенно говорю: наша международная политика более, чем когда-либо, определяется политикой внутренней, нашей заинтересованностью в том, чтобы сосредоточиться на созидательной работе по совершенствованию своей страны... Нужно новое мышление, нужно преодолеть образ мысли, стереотипы и догмы, унаследованные от безвозвратно ушедшего времени..."

Программа Горбачева: борьба с пьянством и коррупцией, освобождение политзаключенных и раскрепощение культуры, "денационализация" ремесел и услуг и смещение идеологии к нравственности, а внешних задач — к внутренним, — все, что порой кажется в его собственных речах расплывчато-шаблонным, внезапно насыщается конкретностью, если сравнить ее с "Письмом к вождям", где буквально те же фразы и тезисы стоят в контексте огромной практической программы умеренного, охранительного национализма.

"В начале 70-х годов Солженицын, отвечая западным корреспондентам, которые спрашивали его о реакции на "Письмо к вождям", сказал воистину пророчески: это поколение Вождей — нет, но следующее — прочитает. Перед нами — подлинно булгаковская ситуация: "Ваше письмо прочитано!" Его письмо действительно прочитали и прочитали внимательно. Самая важная мысль Солженицына, которая должна быть столь же важной и для Горбачева, состоит в том, что Солженицын — против ломки политической системы, против революции. И вот в выступлении на "Иссык-кульском форуме" Горбачев произносит поистине потрясающую фразу: "Мы новое сознание выстрадали..." Это не просто редуцированная цитата из Солженицына — это еще и скрытая полемика со знаменитой фразой Ленина: "Россия выстрадала марксизм..." Значит, речь идет о таком "новом сознании", которое призвано вытеснить марксизм. Но это и было главное предложение Солженицына: оставить все, как есть, революции страшны, убийственны для нации, — только

избавиться от идеологии, сохранить все — но без марксизма. Это — солженицынский Горбачев, принимающий первую, главную интенцию Солженицына — интенцию национального русского возрождения. Все остальные интерпретации Солженицына, делаемые в России другими его читателями, — это уже действительно "солженицынщина", за которую он сам никак не в ответе".

Итак, со всеми скидками на партийный характер мышления и стиля Горбачева, со всеми поправками на его конкретную ситуацию, мы вынуждены сказать, что в самых главных чертах его программа — это реализация (и словесная, и практическая) программы Солженицына. Горбачев и его соратники давно и глубоко изучали в тишине своих кабинетов (а может — в шуме своих споров) "Письмо к вождям", которое так и не удосужился прочесть Брежнев.

Но не менее внимательно, хотя — по-своему, читали его и идеологи нынешней "русской партии". И сделали с в о и выводы, подхватив все преувеличенно национальное, строго говоря — националистическое; обожествив русский народ, они все его беды приписали внешним врагам, в частности — евреям.

"И это уже не Солженицын, а солженицынщина — мракобесие, расизм и неонацизм. По сравнению с этим разрастающимся кошмаром, этим параноидальным бредом, равного которому ни одно общество не видело с 1933 года, Солженицын — гуманист, демократ и либерал. При всей временной смычке с Горбачевым русские неонацисты — его главные враги в дальнем прицеле".

Если в докладе М. Каганской еврейская проблема присутствовала как своеобразный скрытый фон размышлений, то в докладе Бориса Орлова она снова стала главным предметом анализа. Темой доклада была классификация различных оценок влияния и роли евреев в становлении и трансформации советского государства. При всем кажущемся академизме вопроса, доклад Б. Орлова оказался не менее острым и спорным, чем гипотеза М. Каганской. Орлов начал с беглого обзора оценок еврейской роли в русской истории, показав, что при всем их различии общим для них является количественный подход.

"Критерием оценки во всех этих суждениях служит количественная характеристика. Оценка всегда сводится к списку имен, основанному на национальной принадлежности. Как говорил мой знакомый антисемит в Союзе (я думаю, что у всякого еврея в Союзе был свой знакомый антисемит, хотя и "хороший человек"), такое исчисление всегда сводится к "подсчету количества жида на квадратный метр российской общественной деятельности". Действительно, эти списки показывают, сколько было евреев и какова была их пропорция — большая, малая и так далее. ... Позволяет ли это оценить степень их влияния? Полагаю,

что нет. Это позволяет оценить только степень их физического присутствия в том или ином историческом явлении.

Подобный подход, основанный на статистике, не представляется мне действенным, и я готов предложить другой критерий для оценки еврейского участия в различных этапах русского исторического процесса. Первым элементом такого критерия может быть представительство еврейского народа или каких-либо его слоев, групп, классов — в индивидуальной или коллективной форме. Второй — выдвижение определенных, достаточно четко сформулированных целей, отвечающих потребностям еврейского народа в целом или какой-либо его части -- независимо от побуждений или идеологических мотивов тех, кто эти цели выдвигает; с этой точки зрения Евсекция тоже представляла интересы определенной части еврейства, стремясь внедрить коммунистическую идеологию в еврейские массы. Третий элемент всегда вызывает большие споры; он предполагает, что существуют особые, вневременные черты еврейского национального характера: если можно доказать, что евреи, участвовавшие в том или ином историческом событии, повлияли на него так, что оно приобрело эти особые "еврейские" черты, то можно говорить о "еврейском влиянии". Существуют ли такие черты? Я хочу процитировать в этом отношении замечательного русского философа и публициста Федотова: "Евреи максимально беспочвенны, интернациональны по сознанию и необычайно активны под давлением тысячелетнего пресса, для них русская революция есть дело всеобщего освобождения, их ненависть к царской правящей и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же заняло в русской революции руководящее место, но идейно оно не вносит в него ничего, естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму; при оценке русской революции еврейство можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток..."

Переходя к характеристике общей роли евреев в русском историческом процессе, докладчик продолжает:

"Я хотел бы предложить несколько иной взгляд на участие евреев в русской истории: оно случайно. Евреи случайно оказались на территории Польши, оккупированной Россией, и случайно продолжали жить на этой территории. Этим и определяется их участие в русской истории — случайностью. Покровский, анали-

зируя события 1113 года, когда громили евреев в Киеве, писал: "Евреи, собственно, первые под руку попались..." Это замечание следует иметь в виду, потому что евреи ухитряются на всех крутых поворотах русской истории (а один из таких поворотов происходит сейчас) "первыми под руку" попадаться.

Другое замечание, также связанное с ролью евреев в русской истории, принадлежит Льву Тихомирову. (Я старался выбирать людей, которые не симпатизировали еврейству, полагая, что нам следует знать, что говорят о нас и такие люди; если бы евреи это знали, они не чувствовали бы себя так спокойно.) Рассказывая о своем свидании с революционеркой Софьей Гинцбург, он вспоминает: "Она была хотя и еврейка, но вполне русская по желанию. Она конечно не имела русских исторических инстинктов..." Золотые слова! Евреи хотя и стали русскими "по желанию", по языку, лексике и мышлению, но не имеют русских исторических инстинктов. Это мешало и мешает им принять Россию — дореволюционную, послереволюционную — и нынешнюю, горбачевскую".

Б. Орлов отмечает, что в дореволюционной России евреи приняли активное участие в важнейшем историческом преобразовании страны в правовое государство: своей борьбой — в культурных, общественных, религиозных организациях, в литературе, в качестве депутатов Думы — за равноправие и полноправие они содействовали ускорению этого преобразования. Как и сейчас, главным идеологическим противником еврейства был тогда "обостренный национализм", который в дореволюционной России привел к возникновению черносотенства. По мнению Б. Орлова, черносотенство не было периферийным явлением, а отражало умонастроения широчайших слоев общества; массы, захваченные этим умонастроением, впоследствии приняли участие в революции и вошли в состав революционной армии, чиновничества, партийного аппарата; это они породили то поколение, которое сегодня пришло к власти — поколение Лигачевых, Зайковых, Ельциных; оно вышло из недр русского народа, из недр крестьянства и, находясь теперь наверху, по-прежнему сохраняет все свойственные ему предрассудки.

Что касается самой русской революции, то в основе своей она имела, по выражению того же Федотова, "национально-черносотенный характер". Короткий "интернациональный период" завершился уже в начале-середине 30-х годов, когда террор "прочистил" все слои от "инородческих" элементов — поляков, эстонцев, латышей, евреев, немцев и так далее.

"Из террора вышло новое общество — русское. Это было связано не только с физическим изменением состава людей, которые строили дальше государство. Произошла и идеологическая трансформация — от революционно-интернациональной идеологии к идеологии национально-патриотической и имперско-русской.

Можно ли упрекать в этом русский народ? Я думаю, что нет — он строит свою страну, и не евреям заниматься выдачей упреков русскому народу.

К началу 30-х годов были уничтожены все, даже коммунистические формы участия евреев в строительстве государства. В русском государстве еврею больше не было места как еврею: он был просто советским гражданином еврейского происхождения. Он продолжал "служить" этой стране, этому народу. Я полагаю, что отныне еврейское участие уже не было ни "благотворным", ни "пагубным" — оно было никаким.

Что касается идущих сейчас перемен, то они создают ощущение, что в России стараются сегодня изжить не только марксистскую идеологию, но и изжить революцию вообще, — как некий зигзаг, — чтобы вернуться к тем формам русского национального и исторического существования, которые были до нее и будут после. Это проявляется и в повышенном интересе к тому, что происходит в эмиграции, и в реабилитации авторов, которые были в белогвардейском лагере. Все это — живой интерес живого народа, который не смогла вытравить даже марксистская идеология. Какое место в этом процессе могут занять евреи? Я думаю, было время, когда мы искали аргументы, чтобы оправдать свое бытие на русской территории, доказать свою историческую укорененность в русской почве и право на равноправие. Я полагаю, что сейчас задача обратная: не поиск "укорененности" в русской почве, где у нас на самом деле нет и, как я себе представляю, никогда не было ни корней, ни исторических инстинктов, а — поиск своей исторической чуждости, изолированности, отторгнутости и неучастия в русской истории, — что позволит евреям легче перенести трудный процесс трансплантации из одной страны в другую".

Заостренная до крайности позиция Б. Орлова немедленно вызвала резкие возражения Михаила Хейфеца, доклад которого был посвящен художественной символизации споров о судьбах России в современной советской литературе. Хейфец отвергает тезис о "чуждости" евреев России на том основании, что существует и очевиден огромный взаимный интерес двух народов — еврейского и русского — друг к другу. Он приводит цитату из романа Л. Цыпкина "Лето в Бадене", где перечисляются десятки евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского, и иронически комментирует ее, напоминая, что и сам Л. Цыпкин, прекрасно понимая всю комичность этого страстного внимания евреев к писателю, который их, мягко говоря, не любил, тем не менее свой роман посвятил... тоже Достоевскому.

"Если утверждать нашу "случайность", наше незначительное влияние на русскую историю, то становится совершенно непонятно, почему же русские так много нами занимаются. Посмотрите — только за последние годы: и Белов, и Астафьев, и Леонид Бородин, и целый пласт фантастики, открытый недавно Зеэвом Бар-Селла! Какое количество книг посвящено евреям! Да украинцы, которых в Союзе 50 миллионов, не удостоились и десятой доли того интереса, который проявляют русские к евреям, когда начинают говорить о судьбах своей страны, о том влиянии, которое оказали на эту судьбу другие народы.

И тут возникает вопрос: на чем держится этот интерес? Орлов прав: исторически евреи оказались случайно на территории России. Но почему тогда все последующее привело к тому, что они сыграли такую колоссальную роль в истории и культуре России, почему они сами так сильно заинтересовались русской культурой и почему русские так же сильно заинтересовались ими? Мне кажется, я нашел ответ на эти вопросы в замечательной пьесе Венедикта Ерофеева "Шаги командора, или Вальпургиева ночь", опубликованной недавно в журнале "Континент".

М. Хейфец подчеркивает, что Ерофеев — один из крупнейших современных русских писателей. Особый вес его художественному свидетельству придает тот факт, что, по утверждению ведущих современных критиков, "каждое произведение Ерофеева подводит итог главному, что происходит в России, по ним можно отсчитывать этапы русской мысли,... судить о состоянии русской души; ни он, ни его герои не беспокоят себя мелочами, их волнуют только вопросы крайние, роковые, то есть философские".

Действие новой пьесы В. Ерофеева, — говорит М. Хейфец, происходит в сумасшедшем доме, в палате № 3, которой командует староста-диктатор Прохоров. Палата № 3 — символ сегодняшней России, ее обитатели — идеологические "модели" этой России; Сережа Клейнмихель — воплощение "коммунистических мечтаний", Вова-мужичок — типичный персонаж "деревенской" литературы, сам Прохоров — обобщенный русский человек, замордованный жуткой жизнью и в поисках выхода согласившийся принять игру начальства — быть представителем власти среди душевнобольных.

"Но вот происходит невероятное — в палату приходит новый пациент, главный герой по фамилии Гуревич. Прохоров с самого начала относится к нему настороженно и объясняет, почему: "Как только появляется еврей, спокойствия как не бывало, и начинается гибельный сюжет".

Итак, когда еврей появляется в русской среде, возникает инстинктивный страх — потому что русский человек чувствует: это гибельный сюжет. Тем не менее очень скоро выясняется, что единственный человек, который в этой палате решается бунто-

вать, — это Гуревич. С того момента, как он дает отпор избивающим больных санитарам, он становится для Прохорова и других в палате своим. И Прохоров говорит о нем: "Всем хороши эти евреи, да только вот беда — жить они совсем не умеют. Ведь его теперь вконец ухайдакают, это точно".

Развитие сюжета пьесы, — продолжает М. Хейфец, приводит к тому, что Гуревич, желая поднять больных на бунт, раздобывает где-то спирт и спаивает их; спирт оказывается метиловым, все они слепнут и умирают один за другим, в том числе и сам Гуревич, которого в конце санитар забивает насмерть, прямо на глазах у всех. Но еще до этого, во время пьяных разговоров, выясняется, что и Гуревич, и Прохоров равно мечтают переделать человечество, пересоздать мир, сделать людей счастливыми. В пьяных мечтах они рисуют себе "русскую империю", которая распространится по всему миру. Но разница между ними в том, что русские все время страшатся каких-то непременных "еврейских козней" в конце. И действительно, нарисовав им картину русского торжества над миром, Гуревич затем предрекает: "Но потом, подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют ... рассеются пылью по лицу земли ... их будет заносить муссонами со стороны Яффы ... а пока русские летят в назначенную им бездну, народ Иеговы..."

"Иными словами, русские персонажи все время ожидают, что будущее торжество России превратится в торжество евреев. Но для самого Гуревича торжество евреев кончается тем, что столицей мира становится Кана Галилейская. Не Иерусалим, а заброшенное, безвестное село, где некогда свершилось бескорыстное, незаслуженное, от широты души, от добра, чудо превращения воды в вино. Иными словами, для Гуревича в конце времен находится царство добра, которое он хочет воздвигнуть на развалинах всемирной российской империи.

По Венедикту Ерофееву русских и евреев объединяет одинаковое стремление пересоздать мир, сделать весь мир своим. Только русские все время страшатся, что если сделают весь мир своим, то — для чего? Чем станут они сами? Тогда как для еврея пересоздание мира по своему образу и подобию — это создание мира божия.

Таким образом, общая идея двух народов и причина их заинтересованности друг в друге заключается, если верить Ерофееву, в мессианстве, присущем им обоим. А отталкивание, отчуждение, подозрительность — в особенности со стороны русских — обусловлены тем, что русские все время чувствуют, что мессианство евреев имеет какую-то другую цель. Если для русских эта цель — материальная: создание царства земного, то для евреев — это создание царства небесного.

Но в высшей степени символично, что эта интереснейшая пьеса кончается гибелью и тех, и других. Мессианство русских и мессианство евреев равно ведет к гибели — и всей палаты (России), и Гуревича (еврейского народа); и санитар Боренька, добивая уже ослепшего героя, кричит ему: "Ослеп, говоришь, сучье вымя?! Раньше ты жил, как в раю, — кто в морду влепит, все видать, а теперь ты хуй чего увидишь!.."

Завершая обсуждение, Ю. Вишневская привела в своем сообщении ряд интересных фактов, свидетельствующих о том, что в нынешней идеологической ситуации в СССР складывается также и либеральная оппозиция русскому национализму. Идеология "либералов", среди которых находятся и Евтушенко, и Вознесенский, и Залыгин, и Эйдельман, и Лакшин, и многие другие, включает три главных момента, выделенные в одном из выступлений Евтушенко: борьба со сталинизмом, борьба с антисемитизмом и борьба с русским шовинизмом. Самыми яркими фигурами в борьбе со сталинизмом являются профессор Афанасьев, нынешний директор Архивного института, и известный драматург Шатров. Едва ли не ведущей фигурой в либеральном лагере является академик Д. С. Лихачев, крупнейший специалист по древнерусской литературе, в выступлениях которого постоянно звучит тема опасности русского национализма и антисемитизма. Поиски либеральной альтернативы в сегодняшней России видны в повышенном интересе к Бухарину, Мартову и даже ... Милюкову. Подмогой либеральной тенденции является сам Горбачев, начавший большую ревизию марксизма заявлением на Иссык-кульском форуме, где "общечеловеческое" было поставлено выше классового; эта установка была немедленно "теоретически обоснована" Ю. Ждановым в статье в "Правде", где реабилитируется так называемый "абстрактный гуманизм" и провозглашается, что "абсолютной ценностью обладает каждый человек, каждый народ".

Картина сегодняшней России, нарисованная участниками конференции, оказывается довольно четкой. Все они, хотя и в разной степени, видят в нынешнем идеологическом плюрализме отражение того факта, что в советском обществе и его верхах сложились альтернативные идеологические течения, вышедшие сейчас наружу и вступившие в ожесточенную борьбу, от которой зависит будущее страны, направление, по которому пойдет ее ближайшая история. В плюралистической мозаике идеологий выделяются, как главные, либеральная, умеренно-национальная и крайне националистическая. Все согласны с тем, что наибольшую идеологическую активность сегодня демонстрирует лагерь крайнего национализма с его параноидальным "цивилизационным мессианством" и явными неонацистскими тенденциями; либеральный лагерь существует только благодаря (относительному) покровительству верхов;

позиция же самих верхов трудно определима. И это последнее ставит перед нами основной вопрос: с кем они, хозяева страны? Думается, что на него нет однозначного ответа, потому что нет однозначности среди самих верхов. История послереволюционной России убедительно показывает, что на "первом круге" складывания официальной идеологии происходило смыкание сталинской идеологии с русским мессианством; факты, приведенные в докладе М. Дымерской как будто говорят, что — по крайней мере, в отношении к евреям — то же самое происходит сейчас. С другой стороны, факты так же несомненно свидетельствуют о заинтересованности горбачевской группы в поддержке со стороны либералов, об определенной близости идеологии этих двух лагерей в существенных пунктах. И если согласиться с М. Каганской, что Горбачев осуществляет программу "либерального национализма", некогда предложенную А. И. Солженицыным, то более естественным было бы смыкание горбачевской идеологии с либеральной, а не крайне националистической. Наличие двух групп фактов и оценок, столь противоположных по сути и тенденции, может говорить просто о том, что в верхах действительно существуют и борются две различные по идеологии группы, одна из которых тяготеет к умеренно-либеральному национализму, другая — к русскому мессианству; это в определенной, ограниченной мере подтверждало бы тезис М. Агурского. Тогда исход нынешней идеологической борьбы в СССР становится особенно важным, даже жизненно важным не только для самого советского общества, но — и в первую очередь — для советского еврейства. Независимо от того, кто прав в своей оценке еврейской роли в русской истории — Б. Орлов или М. Хейфец, судьба советского еврейства в случае торжества русского неонацистского национализма не может не быть трагической. Но и в случае победы (весьма сомнительной в этом раскладе) умеренно-национального направления лучшее будущее может ожидать только Россию и русский народ; евреев может ждать лишь ускоренный процесс "денационализации". Поэтому как нельзя более актуальным представляется призыв, прозвучавший в докладе организатора конференции М. Дымерской и адресованный советскому еврейству — осмыслить ситуацию и действовать, исходя из понимания ее тенденций.

Отчет составил Рафаил Нудельман

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В последние месяцы в Польше возобновилась острая дискуссия по поводу ответственности поляков за истребление польского еврейства. В статье, опубликованной в католическом еженедельнике "Тыгодник повшехны", Ян Блонский обвинил поляков в том, что они отрицают и хотят забыть свою роль в этом событии. При этом Блонский сочувственно цитирует произведения Чеслава Милоша, стихи которого красноречиво свидетельствуют о страданиях польских евреев.

В связи с этой полемикой американский еврейский либерально-религиозный журнал "Тиккун" обратился к Милошу с рядом вопросов. Чеслав Милош является всемирно известным поэтом и лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Мы предлагаем нашим читателям перевод этого интервью, которое, на наш взгляд, стоит в том же ряду, что и опубликованная нами (№ 53) беседа с западногерманским историком Нольте.

Чеслав Милош

ПОЛЯКИ И ЕВРЕИ

(интервью для журнала "Тиккун")

— У вас есть два знаменитых стихотворения, "Кампо ди Фиори" и "Бедный христианин смотрит на гетто", в которых вы призываете польский народ осознать значение антисемитизма в польской истории и, в частности, его связь с Катастрофой. Кажется ли вам, что этот призыв был услышан польским народом?

— Он обсуждался, и эти мои стихи, написанные во время оккупации, цитировались в данной связи. Меня очень беспокоят взаимные обиды евреев и поляков. Прошли уже многие десятилетия, и молодому поколению порой очень трудно понять эти взаимные счеты.

— Это понятно, ведь и молодым американцам сегодня очень трудно понять все значение рабства. Многие негры считают необходимым напоминать о тех извращениях в нашей истории, которые были обусловлены существованием рабства. Но у нас это было сто двадцать лет назад, а здесь мы говорим о событиях всего лишь сорокалетней давности.

— О да...

— Каким же, по-вашему, должно быть сегодня отношение евреев к полякам?

— Прежде всего, не нужно распространять свои обиды на молодое поколение, потому что оно не очень-то знает обо всем этом. Но сам я, разрешите подчеркнуть, принадлежу к поколению, выросшему до войны. Для меня довоенный мир — вполне живая реальность. Я нахожусь в ином положении, и поэтому

я думаю, что всякий, кто хотел бы понять проблему антисемитизма в Польше, должен обратиться к довоенным временам. Возьмите, к примеру, автобиографию Исаака Башевиса-Зингера "Любовь и изгнание". Это замечательный портрет еврейской жизни в Польше перед войной, его детства и юности, особенно юности, и он открывает перед вами картину двух обществ, живущих бок о бок, но не проникающих друг в друга, полностью изолированных. И конечно, существовала еще проблема так называемых "ассимилированных евреев", которые не считали себя евреями, ни в религиозном, ни в культурном смысле. Те, кто принадлежал к польской культуре, всячески преуменьшали свое еврейство.

— Не было ли это частично результатом существования антисемитизма? Иными словами, не было ли все дело в том, что поляки видели в еврее еврея, даже если еврей пытался не видеть в себе еврея?

— О, несомненно. Но была также проблема так называемых эмансипированных евреев, которые отвергали все, что им казалось религиозным мракобесием еврейских масс.

— В статье Шарфа "В тревоге и печали: о польско-еврейском диалоге", опубликованной в журнале "Полин", утверждается, что польские писатели и интеллектуалы по сей день затрудняются признать тот факт, что антисемитизм был не просто одним из факторов, а доминирующим фактором польской жизни накануне второй мировой войны. Куда проще говорить, что антисемитизм был привнесен нацистами и навязан польскому народу. Однако другие говорят, что даже не будь нацистского вторжения, Польша вероятно ввела бы у себя нечто подобное "Нюрнбергским законам", потому что самые крупные довоенные польские партии были открыто антисемитскими.

— В действительности дело обстояло так: в политической жизни Польши в период между двумя войнами доминировали две основные силы — польская социалистическая партия и националистический лагерь. Первый глава польского государства, Пилсудский, был из социалистов, он представлял антинационалистические тенденции. Его соратник был избран первым президентом Польши в 1922 году и несколько дней спустя убит фанатиком-националистом. Этот социалистический, прогрессивный лагерь не был антисемитским. Напротив, националистические партии объясняли убийство президента именно тем, что он представлял социалистов и так называемые меньшинства. В польской жизни были два течения. Межвоенная жизнь в Польше была весьма сложной. В еврейском обществе тоже были несколько партий. И Зингер как раз показывает бунт молодого поколения против

религиозных авторитетов. Молодые евреи уходили к левым. Это, разумеется, подливало масла в огонь, потому что националистические партии были весьма правыми, и так это шло. В общем, если присмотреться поближе, это была своего рода мозаика, очень сложная к тому же...

— Да, но сегодня, по прошествии всего этого времени, некоторые люди рассказывают, что даже те евреи, которые присоединились к левым, вынуждены были отмежевываться от своего еврейства, если хотели выжить. Многие говорят, что даже среди польских левых существовал довольно сильный антисемитизм.

— Я не хотел бы выглядеть защитником того, что невозможно защищать, но, возможно, мое положение сейчас сходно с положением Агнешки Холланд (поставившей фильм "Гневная жатва"). Она наполовину еврейка, наполовину полька, и она всегда говорит: "С евреями я защищаю поляков, с поляками — евреев". Вот и я стараюсь быть беспристрастным.

Вы упомянули очень важный факт, но не забудьте, что те евреи, которые обратились к коммунизму, стали интернационалистами, что означало полное отрицание сионизма и еврейства их отцов. Напротив, те, которые ушли в Бунд, не должны были ни в чем притворяться, потому что языком Бунда был идиш. В Польше существовал антисемитизм, который порой выражался в ощущении культурного превосходства поляков над евреями — это было абсурдно. Еврейская жизнь в межвоенной Польше была весьма сложной и напряженной, и что бы ни говорить о польском антисемитизме, остается фактом, что все эти различные движения могли выжить в Польше только потому, что численность еврейского населения там была исключительно велика. Было около трех миллионов евреев, большой процент населения. Но что касается преследования в строгом смысле этого слова, я полагаю, что поляков обвиняют в антисемитизме главным образом из-за этого ничем не оправданного чувства превосходства. Польский антисемитизм был вульгарным.

— Но разве поляки не голосовали и за антисемитские партии? Можно предположить, что одной из причин, почему эти партии поднимали на щит антисемитские идеи, было убеждение, что они найдут сочувственный отклик в польской массовой психологии.

— Несомненно. Основной доктриной этих партий, особенно национал-демократической, был антисемитизм.

— Но тогда, возможно, они и заложили основы для сотрудничества поляков с немцами в еврейском вопросе? Общая база антисемитизма давала

нацистам возможность навести мосты в отношениях с поляками, и они могли рассчитывать на это в своих повседневных операциях.

— Я не могу согласиться с тем, будто нацисты создали концентрационные лагеря именно в Польше, потому что рассчитывали на польский антисемитизм. С этим я не могу согласиться: они создали их там просто потому, что там было самое большое количество евреев. А создать все это на Западе они не могли, потому что это стало бы немедленно известно.

— Верно ли, что евреи, пытавшиеся избежать нацистских преследований, встречали не просто равнодушие, но активную враждебность со стороны польского народа в целом? Разумеется, были отдельные люди, было много благородных людей, которые действовали индивидуально. Но если взять картину в целом, верно ли, что общество в целом, в массе, не просто оставалось равнодушным, но активно соучаствовало? Что поляки опознавали знакомых евреев и отправляли их в лагеря? И что уровень сотрудничества с нацистами в Польше был намного выше, чем, скажем, евреи видели в Голландии?

— Евреи, бежавшие из гетто, рисковали быть опознанными, это факт. Но что касается сотрудничества с нацистами, то такого сотрудничества между поляками и нацистами не было. Не было сотрудничества. Это следует заявить абсолютно ясно, потому что в Польше при нацистах не было никакого марионеточного правительства. Нацисты рассматривали поляков как следующих на очереди в газовые камеры, и поляки это знали.

— А что вы можете сказать о рассказах тех евреев, которым удавалось добраться до партизанских отрядов и даже там столкнуться с антисемитизмом?

— Вы вероятно видели фильм "Партизаны Вильно"? На мой взгляд, это очень честный фильм, и там говорится, что польская Армия Крайова практически не принимала евреев, потому что была заражена предрассудками. Считалось, что евреи — плохие солдаты и тому подобное. Это было типично военное высокомерие, потому что подпольная армия была, по существу, регулярной армией, совсем не партизанской, а регулярной армией в цивильном облачении.

— Учитывая все эти факты, как могут евреи относиться к тем полякам, с которыми сталкивались тогда и которые еще и сегодня представляют старшее поколение в польском руководстве?

— Знаете, я не понимаю, как вы можете бывать в Германии, если постоянно помните обо всем этом. Лично я стараюсь не посещать Германию, но я понимаю, что это своего рода травма, и не думаю, что такое отношение является правильным. И потом,

вы не должны забывать, что и у поляков есть много счетов к евреям.

— Какие из этих обид вы считаете справедливыми?

— Я решительно против того, чтобы рассматривать явления, отрывая их от прошлого, от их долгой предыстории. Не следует забывать, что польско-еврейские отношения развертывались на определенном фоне, а именно — на фоне чужеземной оккупации Польши на протяжении всего XIX века. В девятнадцатом-начале двадцатого века ассимиляция евреев в русском языке продвинулась весьма далеко. Верно, в Галиции они в определенной мере ассимилировались в немецком языке, но самой привлекательной для восточных евреев оставалась все-таки Россия. Это приводило к конфликту с поляками, потому что, скажем честно, евреи не были так уж заинтересованы играть в польские игры. Они были обособленным обществом. Они искали себе места в более широкой социальной реальности, чем Польша, и это порождало серьезное отчуждение. Затем был еще тот факт, что молодое поколение евреев весьма симпатизировало Советскому Союзу и очень благосклонно встретило Красную армию, захватившую восточную часть Польши сразу после сталинско-гитлеровского пакта. Это тотчас стало известно в Польше и вызвало возмущение. Затем, под конец войны, когда советская армия вступила в Польшу, многие уцелевшие евреи вернулись и разделились на две категории. Одни рассматривали свое пребывание в Польше, как временное, на пути в Израиль, в Америку и так далее. Но другая категория, которая хотела остаться, примкнула к коммунистам. Они захватили ведущие позиции в Польше, в том числе и в крайне жестоком аппарате сил безопасности, просто потому, что были в этом отношении более надежны, чем местное население.

— Вернемся к отношению молодых евреев к сталинско-гитлеровскому пакту. Молодое поколение евреев могло ощущать, что Сталин, как бы отвратителен он ни был, не проводит политику массового истребления евреев, тогда как нацисты, хоть и не начали еще тогда массовое истребление, тем не менее уже провозглашали его.

— Вы смешиваете две вещи. В начале войны, в 1939 году, никто не представлял себе, что все то, что произошло в следующие два года, вообще возможно. Многие евреи возвращались из восточной зоны в Варшаву, в немецкую зону, потому что хотели быть со своими родичами и тому подобное. Никто не представлял себе, что такое может произойти.

— Значит, все дело в том, что молодые евреи приветствовали Красную армию, тогда как большинство молодых поляков...

— Я должен сказать, что большинство молодых поляков шло за правыми. Но и социалисты считали раздел Польши между Гитлером и Сталиным ужасным ударом по национальным надеждам.

— А поскольку молодые евреи так не считали, то...

— Почему они обязаны были так считать? Они были интернационалистами.

— Я вынуждаю вас высказываться по весьма болезненным вопросам. Мне бы хотелось дать вам возможность разъяснить все, что вы считаете необходимым в этом споре.

— Разумеется. Я очень заинтересован в наведении мостов между евреями и поляками, и в этом я не одинок. Мою заинтересованность разделяют многие из молодого поколения. Но это осложняется кампанией, поднятой польским правительством против сионизма в связи с военными победами Израиля и подражанием политике Советского Союза.

Тем не менее я должен выразить здесь мнение многих поляков, которые готовы признать роль польского антисемитизма, но в то же время оскорблены тем, что их ставят на одну доску с нацистами. Какова бы ни была роль антисемитизма в судьбе евреев, даже при самых лучших намерениях со стороны поляков можно было бы спасти лишь ничтожную часть. Я убежден, что ставить нацистские преступления и вульгарный польский антисемитизм на одну доску было бы несправедливо.

— Представляется, что налаживанию польско-еврейских отношений препятствует также и позиция католической церкви.

— Да. Это очень важно. Но есть также много признаков определенного сближения между католической церковью и евреями, особенно при нынешнем Папе.

— Не могли бы вы сказать об этом подробнее? Дело в том, что недавняя отмена Ватиканом визита американского кардинала в Израиль заново осложнила эти отношения и породила у части американских евреев ощущение, что хотя католическая церковь больше не обвиняет евреев индивидуально в убийстве Иисуса, коллективно она не признает ни их национального самоопределения в рамках государства Израиль, ни их религиозного права иметь собственную религию.

— Видите ли, я не могу входить в эти дела, потому что мое собственное отношение к Израилю — своего рода эмоциональная реакция, положительная реакция, основанная на том, как я отношусь к нацистской оккупации.

Но я давно размышляю об ответственности христианства за

антисемитизм. И мне известна по меньшей мере одна попытка прямо связать апостола Павла с Освенцимом. Но это абсурдно, потому что антисемитизм не начался с христианством. Он куда старше. В последнее время я занимался переводом "Притч Соломона" с греческого языка. Они были написаны александрийским евреем по-гречески. И уже в Александрии существовала огромная вражда между греками и евреями. Евреи были совершенно ассимилированы. Они говорили по-гречески. Так что не будем терять из виду историческую перспективу.

— Но если даже антисемитизм не был порожден христианством, это не отменяет того факта, что христианство было главным глашатаем антисемитизма.

— Я в принципе не могу согласиться с доводами Ланцмана в его фильме "Шоа" ("Катастрофа") и профессора Рауля Хильберга, которые утверждают, что Катастрофа была попросту предельным выражением антисемитизма, который существовал в христианстве на протяжении веков. Я совершенно не верю в это, потому что тут не было постепенного нарастания. Катастрофа была качественным скачком, который был вызван языческим нацистским движением. Нацизм не был христианским движением ни в малейшей степени.

— Если вы отрицаете историческую укорененность антисемитизма в христианстве, чем же вы объясняете этот скачок? Почему вообще нужно было использовать антисемитизм? Что в нем было такого, что нацисты могли его использовать, и откуда это взялось?

— Откуда? Можно думать, что в основе своей это было движение полуобразованных умов, которые вульгаризировали науку. В основе нацизма лежит вульгаризация науки, то представление о науке, которое сложилось в полуобразованных умах. Выживание приспособленных. Дарвин, приспособленный к европейскому национализму, представление о высших и низших расах, вроде борьбы за существование между видами.

— Иными словами, это не христианство и его наследие?

— Ни в коем случае.

— Но почему тогда евреи? Почему эта полупереваренная наука была обращена именно против евреев? В конце концов, евреи сами были весьма активны в науке, они помогали ее развивать. Уж если искать в обществе наименее образованных людей, то вряд ли удастся указать на евреев.

— Знаете, мой покойный друг, польский писатель Витольд Гомбрович, сказал однажды, обращаясь к евреям: "Почему вас так удивляет антисемитизм? Почему он вас так удивляет? Вы

породили Иисуса Христа. Вы породили Маркса, Фрейда. Вы породили так много гениального, и вы еще удивляетесь, что вам приходится за это расплачиваться?"

— Если говорить честно, многих евреев это вовсе не удивляет, потому что они уже две тысячи лет имеют дело с христианским антисемитизмом.

— Вы должны принять поразительную тайну вашего существования в мире — потому что в этом, несомненно, есть какая-то тайна.

— Что ж, кое-кто говорит, что с удовольствием обошелся бы без этой тайны. Когда вы называете все, что произошло с евреями, их "судьбой", начинает казаться, что вы окружаете мистикой ту реальность, которую другие историки объясняют обычными социальными причинами. Одной из таких реальных социальных причин была история христианства, многовековое воспитание масс в убеждении, что евреи, по существу, виновны в смерти Господней.

— Видите ли, история идет очень запутанным путем. На первых этапах эмансипации евреи в массе, как правило, защищали прогрессивные идеи. Они боролись за освобождение человеческого разума от тирании авторитетов, церкви и так далее. Но в основе всех ужасов лежит наука, возникшая в результате Просвещения. Нацистов с их газовыми печами можно рассматривать как один из побочных продуктов науки, вот именно, вместе со всеми ее положительными достижениями. Разумеется, есть много других побочных продуктов. Атомная бомба — другой пример. Припомните, ведь нацисты во имя так называемой социальной инженерии уничтожали также цыган, душевнобольных, кастрировали тех немцев, которых считали генетически второсортными.

— Не могли бы вы добавить несколько слов к вашей оценке фильма "Шоа"?

— В своем отношении к польским крестьянам Ланцман показал себя больше парижским интеллектуалом, чем евреем. В нем вдруг обнаружилось этакое презрение антрополога к туземцам. Но мои главные возражения вызывает только один аспект — то, что он провел прямую линию от христианства к Катастрофе.

— Верно. Не думаете ли вы, что направление христианской мысли должно измениться, чтобы компенсировать тот уровень, до которого она была заражена антисемитизмом?

— Трудно сказать. Сам я пытаюсь сделать все возможное, чтобы подчеркнуть еврейский аспект в своих переводах, в своей работе, в моих переводах из Библии и в моих частых ссылках на каббалу.

— Но видите ли вы нечто фундаментальное в отношении христианства к евреям?

— Мне кажется, что церковь, католическая церковь официально признала, что обвинение евреев в убийстве Иисуса лишено оснований. Это было заявлено.

— Я вижу здесь вашу фотографию рядом с Папой.

— Да, он смотрит на мой перевод Псалмов.

— Видите ли вы какое-нибудь влияние антисемитизма на "Солидарность"? Иначе говоря: был антисемитизм всего лишь исторически преходящим явлением или он жив в Польше и по сей день? Даже в рядах "Солидарности"?

— Ну, как вам сказать... "Солидарность" ведь не представляет собой чего-то единого. "Солидарность" — это десять миллионов человек. Так что в ней было много разных тенденций. И потом, не знаю, но мне кажется, что в этих поисках антисемитизма везде и во всем вы становитесь немножко одержимы.

— Знаете, для нас, "новых левых" 60-х годов, признавших, что они выросли в расистском государстве, борьба с расизмом стала фокусом всех наших чувств, включая и наши глубоко скрытые, но вполне реальные антинегритянские чувства. Этика этой борьбы была такой, что никто не мог оставаться в лидерах, если не отдавал этой проблеме должное хотя бы на словах. Было что-нибудь подобное в "Солидарности" или там по-прежнему возможно быть лидером, быть крупным активистом, не пытаясь раздеваться с антисемитизмом?

— Сейчас наблюдается определенное любопытство, большой интерес к еврейским проблемам, потому что молодое поколение в сущности очень мало знает о евреях. Но тут возник парадокс, потому что евреи все еще остаются легендой в правом лагере, и она сохраняется в определенных кругах. Конечно, не в Комитете Защиты Рабочих, который начал всю польскую сумятицу и где некоторые лидеры сами евреи. Но эти легенды правого лагеря очень живучи, там существует миф о масонских и еврейских силах, и этот миф все еще влияет на умы.

— Он играет какую-то роль и в католической церкви?

— Ну, определенным образом, и там, но это, конечно, обскурантистские тенденции. Очень трудно исследовать мифологию полуобразованного ума, потому что его предрассудки вряд ли обнаруживают себя сами. Они очень редко себя обнаруживают. Вы не встретите их, к примеру, в "Тыгоднике повшехнем", ведущем католическом еженедельнике, который кто-то назвал единственным свободным изданием на всем пространстве от Эльбы до Владивостока, до Тихого океана. То же самое отно-

сится к католическому ежемесячнику "Знак" и одноименному издательству.

— Вы замечаете какие-то признаки литературного возрождения в Польше?

— Есть большое число независимых изданий, издательств и так далее, подпольных издательств. Но я отношусь к ним довольно скептически, потому что вижу их одержимость текущей политикой. Будь вы коммунист или антикоммунист, если вы одержимы повседневными политическими проблемами, вы не можете претендовать на создание хорошей литературы.

— В отношении к государству Израиль, которое является единственной страной, где евреи обрели национальное самоопределение, польское правительство следует линии коммунистической партии Советского Союза, которая абсолютно враждебна государству Израиль. Что говорит вам ваш польский опыт: существуют какие-нибудь силы — в "Солидарности" или иные, — которые могли бы пойти на более дружеские отношения с государством Израиль?

— У меня нет ни малейших сомнений. Видите ли, в Польше были волны горячей симпатии к Израилю. Все израильские послевоенные победы встречались польским народом с большим воодушевлением.

— Но были и волны антисемитизма.

— Погодите минутку. И то, и другое было направлено против коммунизма, против официальной линии польского правительства. Вся волна так называемого антисионизма в Польше в 1968 году, когда было изгнано большое число евреев (поехавших, кстати, в основном, не в Израиль, а в Штаты), была попросту внутренней чисткой внутри аппарата. В послевоенный период антисемитские настроения овладевали поляками, когда они чувствовали, что евреи заправляют коммунистическим аппаратом.

— И это, в свою очередь, порождало новый антисемитизм среди людей, которые ненавидели коммунистическую партию?

— Да.

— Последний вопрос относительно поляков. У некоторых американских евреев-либералов складывается впечатление, верно или нет, что эмигранты-поляки в Соединенных Штатах преимущественно крайне консервативны. Антикоммунизм этих поляков очень быстро приводит их к отождествлению себя с правым лагерем, они сдвигаются значительно правее, чем любые антикоммунисты среди евреев. У американских евреев немало причин для антисоветских настроений, хотя бы в силу преследований еврейских активистов в Советском Союзе, тем не менее они гораздо более разборчивы в своих политических симпатиях. Справедливо ли это впечатление?

— Эта проблема частично связана с тем, что значительное число американцев польского происхождения принадлежит к бедным слоям, поэтому по взгляду они близки к рабочим.

— Как это произошло? Почему?

— Ну, сейчас положение меняется, потому что есть наплыв людей из "Солидарности", молодежи, людей с техническим образованием, но произошло это очень просто. В Америку эмигрировали неграмотные крестьяне. Их первая работа была обычно на заводе, ручной труд. В этом причина, в этом суть. Но есть несомненно и другая причина: они очень настроены против коммунизма. А в Соединенных Штатах, как вы знаете, очень трудно выдержать линию, которая не была бы просоветской и в то же время не была бы правой.

— Это именно та линия, которую мы пытаемся выдержать в нашем журнале.

Примечание Чеслава Милоша. Перечитывая это интервью, я ощущаю какую-то безнадежность. Кто бы ни пытался сохранить беспристрастность в этом печальном вопросе, он все равно вызывает подозрения обеих сторон. Мне кажется, что евреи не хотят всерьез задуматься над феноменом нацизма, и отсюда идут их попытки толковать Катастрофу как итог многовекового христианского антисемитизма.

Ваши вопросы поставили меня в положение вынужденного защитника христианства и поляков. Но я действительно убежден, что нацизм это нечто специфическое, возможное только в XX веке. Чтобы полностью оценить это утверждение, нужно понять, какая глубокая трансформация человеческой ментальности произошла за последние столетия под влиянием науки. Количественное мышление, характерное для науки и технологии, постепенно нашло приложение к обществу, и в результате к человеческим массам стали относиться как к статистическим единицам. Идея хладнокровного, сознательного уничтожения определенных категорий людей с помощью современной техники принадлежит к разряду социальной инженерии. К сожалению, нацизм не был изолированным явлением. Он был частью общих тоталитарных схем, которые появляются снова и снова. Христианство, несмотря на все жестокости, творившиеся от его имени, в принципе было чуждо количественному мышлению. Даже сжигая еретиков, христианство видело в них индивидуумов, то есть их души. И если польские монахи и монашенки отличились в спасении многих еврейских жизней, то именно потому, что не видели в человеческих существах статистические единицы.

Тот печальный факт, что научная революция, набравшая темп со времен Галилея, может привести к ужасным последствиям, а достижения разума — к безумию, вроде нацизма или атомного оружия, не следует вменять в вину самой науке. Но я отнюдь не из чудачества отказываюсь смешивать понятия, когда утверждаю, что нацистское движение возникло

в высокоиндустриализованной, современной стране и притом одной из самых дехристианизованных.

Недавно мне довелось прочесть комикс Артура Шпигельмана "Маус", и я подумал, что для молодых читателей эта история звучит, наверно, так же экзотически, как для ее рассказчика, который слушает своего отца. Я не нашел расхождений с реальностью и полагаю, что молодые читатели получат верное представление о судьбе польских евреев, за исключением разве что отдельных деталей. Карта, например, показывает часть Польши, которую немцы называли "генерал-губернаторством", но надпись гласит: "марионеточное государство". Многие страны Европы, оккупированные нацистами, были марионеточными государствами, но не Польша. Не существовало польской администрации; университеты и школы были закрыты, а публикация книг и журналов для "низшей расы" была запрещена. Поскольку евреи в этом комиксе представлены как мыши, немцы — как коты, а поляки как свиньи, у молодых читателей может возникнуть впечатление о польско-немецком сотрудничестве. Поведение тех поляков (свиней), которые действуют в комиксе, соответствует действительности, но была еще и другая действительность, которую символизируют три миллиона убитых нееврейских поляков. Верно, это число включает не только тех, кто погиб в концлагерях, в экзекуциях, во время "умиротворения", когда целые деревни сравнивались с лицом земли, а их жителей казнили всех до единого, как во французском Орадуре; оно включает и тех, кто пал на поле битвы и исчез в советском плену после сталинско-гитлеровского пакта 1939 года. В фильме Ланцмана "Шоа", люди, бежавшие из варшавского гетто и достигшие "арийских кварталов", рассказывают, что в городе шла совершенно обычная, нормальная жизнь. И это понятно, потому что можно одно и то же увидеть по-разному. Мы, жившие в этой "арийской" части Варшавы, могли бы назвать эту жизнь нормальной только в том случае, если признать нормальным явлением почти ежедневные облавы на улицах и расстрелы на углах. Но ведь кафе и рестораны были полны, и карусели крутились в парке развлечений? О, разумеется. Нельзя думать, будто жизнь огромного города можно свести к упрощенной картинке, — ведь даже в самом гетто жизнь долгое время изобиловала всеми мыслимыми противоречиями.

Многим очевидно, что нужно что-то предпринять для прояснения прежних польско-еврейских отношений, и этому была посвящена Оксфордская конференция в сентябре 1985 года, на которую собрались польские и израильские историки и писатели. Итогом конференции было создание Института польско-еврейских исследований с его ежегодным изданием "Полин".

Я родился в Литве, я вырос в многоязычном Вильно, и некоторые польские националисты обвиняли меня в отсутствии настоящей "польскости", так что я с детства знаю всю тщету горьких обвинений, которые одна национальная группа предъявляет другой — например, поляки литовцам и наоборот. Такие водоразделы порой проходили через мою семью. Наверно, поэтому я не верю в коллективную вину и предпочел бы ничем не содействовать возрождению этой идеи в любой новой форме.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Нелли Гутина

ПОВЕСТЬ О ГЕРЦЛЕ

Часть первая: Автор

Этот роман с захватывающим сюжетом назывался "Земля Обетованная". Двое героев-следопытов открывают обетованную землю, плывут к ее берегам и осваивают ее. В центре романа — главный герой и его друг. Главный герой — сильная личность, литературный гибрид Колумба и Робинзона Крузо и при этом — еврей, совершающий все эти подвиги во имя своего народа. Его друг — персонаж менее впечатляющий, личность нежная, но слабая. В финале романа — патетическая сцена разрыва между двумя друзьями: "Сопровождаемый штабом офицеров-следопытов он (герой) отправляется к новым берегам, но перед отплытием ему вручают прощальное письмо Самуила, в котором тот пишет: "Милый, дорогой мой мальчик, когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет в живых". Кулаком, в котором зажато шелестящее письмо, герой хватается за сердце, но в следующее мгновение в нем остается одно лишь негодование. Он приказывает отчалить. Стоя на носу корабля, он устремляет свой взгляд в даль, где расположена Земля Обетованная. Держа в руке письмо, от которого веет такой трогательной любовью и преданностью, он восклицает: "Дурак, негодяй, подлец! Потеряна жизнь, принадлежащая нам!"

Ах, какая драма, какая драма, вздохнем мы не без иронии... Какая драма ... могла бы получиться, если бы автор не ограничился несколькими черновыми страницами.

Автор этого несостоявшегося романа — Теодор Герцль. Роман так и не был написан, но даже на основании таких записей и такого замысла можно судить о том, каким литератором был Теодор Герцль. Тем не менее, анализируя задним числом этот литературный след так и несостоявшегося произведения, я не могу отделаться от интригующих вопросов: не все ли началось с литературы, причем литературы плохой? И не бросился ли господин Герцль в холодную воду политических и дипломатических потуг лишь потому, что ему не хватило таланта? Или напротив, явная практическая неосуществимость замыслов и неразрешимость проблемы (еврейской) толкала его на создание утопий?

И потом, если все начиналось с литературы явно плохой, не обернулось ли это, в конечном счете, литературой хорошей, если от нее осталась пусть одна, но гениальная фраза?..

Откровенно говоря, меня интригует личность автора — неудавшегося романиста, посредственного, хотя и преуспевающего драматурга, не слишком блестящего журналиста (куда ему, например, до Жаботинского — авантюриста с внешностью и навыками дипломата и фантазера, избравшего историю площадкой для воплощения своих фантасмагорий!).

Рассказать о Герцле — дело нелегкое. Конечно, можно было бы "романизировать", сколько душе угодно, на радость читателю, а чего ни придумать — на то священное право пера и тяжесть могильной плиты над объектом романтических спекуляций. Ах, как можно было бы развернуть сюжет: ведь такой импозантный красавец — женщины должны были бы за ним бегать. А между тем — неудачный брак и никаких дошедших до нас слухов насчет женщин. Безобразие, — исторические персонажи не имеют права на такую скрытность, потому как тем самым просто обкрадывают своих будущих биографов. И не только биографов. Говорят, в Голливуде хотели поставить многосерийный фильм про Эйнштейна. Пришли к продюсеру. "А где девочки?" — спросил он.

Так вот, если я попробую романизировать биографию Герцля, читатель вправе будет спросить: а где девочки? Ну, если не девочки, то в крайнем случае хотя бы "мальчики"? Современная литература и популярная психология снабжают писателей и таким

вариантом, и кажется в израильской литературе его уже кто-то использовал.

Можно пойти и другим путем — запасный вариант тоже припасен для современных романистов: совершить психоаналитический взлом давно улетевшей на небеса души. Основательно и без стеснения покопавшись в прахе, можно в крайнем случае нагрузить несчастную историческую личность своими собственными комплексами. Ибо сейчас в искусстве позволено все, лишь бы волки, то есть читатели, были сыты.

Но я не пойду и по этому пути. Не любовь и даже не пиетет мешают разыграться моему литературному воображению. Просто Теодор Герцль — реальность, которая меня настолько устраивает, что у меня нет никакого желания ее менять. Поэтому я не залезу ни в постель, ни в душу воображаемого Теодора и не напишу ничего такого, что заставило бы перевернуться в могиле того Теодора, каким он был.

Но если я не собираюсь заглядывать ни в реальную, ни в воображаемую замочную скважину, о чем же я собираюсь писать? О его сионистской деятельности? Мало ли о ней написано! Или об историческом ландшафте, на фоне которого действовала эта импозантная личность? Но ни улицы Вены, ни тот знаменитый швейцарский мостик, откуда он, глядя на Альпы, каким-то образом разглядел Сион, не вызывают у меня никаких сентиментальных ассоциаций. Единственное "историческое место", связанное с Герцлем, которое вызывает у меня острое любопытство, — это ящики его письменного стола.

Меня интригует Герцль, который никогда не знал, где кончается литература и начинается жизнь (и наоборот) и у которого хватило ума, сидя за листом бумаги, понять, что бумага как раз не все стерпит, а вот жизнь, пожалуй, да...

По образованию и профессии он был юристом, имел степень доктора права, но от юридической карьеры отказался, сменив ее на литературную и журналистскую деятельность. Писал фельетоны и рассказы, и биографы называют его "прекрасным стилистом и тонким психологом", в чем мы позволим себе усомниться, анализируя все написанное — и ненаписанное — им в области романа. Зато он добился успеха как драматург: его пьесы шли на сценах Австрии и Германии, а четыре из них даже приобрели большую известность. Рассказы и пьесы его не имели никакого отношения

к еврейской теме, а как журналист он любил заниматься социальными проблемами. Насчет его внезапной ангажированности в дела еврейства бытуют разные мифы — и почти все они сводятся к пресловутому делу Дрейфуса. Говорят, — сидел себе в Париже светский, ассимилированный корреспондент, и вдруг, обухом по голове — дело Дрейфуса. И, ах! — сказал он себе, — надо решить еврейскую проблему! Или — еще вариация: Герцль был, дескать, типичным ассимилятором, который получил шок — опять-таки в результате дела Дрейфуса — и понял, что ассимиляция невозможна.

Дался им этот Дрейфус! Ни за что не поверю, что дело Дрейфуса, при всем его резонансе, могло "обухом по голове" ударить осведомленного корреспондента и острого на язык фельетониста. Герцль не был наивен и прекрасно знал о наличии антисемитизма. Он не был из тех, кто, пытаясь выработать в себе психологическую защиту против антисемитизма, загоняет свой "еврейский вопрос" в подсознание. Герцль был чувствителен к антисемитизму — для него это был удар по личной и национальной чести, и в знак протеста против антисемитизма он, будучи еще студентом, вышел из студенческого общества.

А вот ассимилятором Герцль конечно был, во всяком случае — в молодости. Но ассимилятором, как все у него, "со сценическим уклоном. Его вариант "решения" еврейского вопроса выглядел подобно впечатляющему сценарию: массовый переход евреев в католичество под руководством самого Герцля и под покровительством и при участии Папы Римского. Причем происходить это должно было в воскресенье, в 12 часов дня, под звон всех колоколов!

Последующие сионисты могут лишь радоваться тому, что в ту эпоху, когда молодой Герцль разрабатывал этот эффектный сценарий, не было еще телевидения. Иначе он просто не устоял бы и реализовал всю эту красочную церемонию со всей присущей его драматургии немецкой сентиментальностью и напыщенностью.

Самому Герцлю в этом сценарии отводилась конечно центральная, но весьма своеобразная роль. Осенив крестом последнего из руководимых Герцлем евреев, папа Римский обращался лично к нему: "Доктор Герцль, а вы?" На что доктор Герцль задумчиво отвечает что-то вроде: "Видите ли, ваше преосвященство, все, что мы с вами сделали, мы сделали главным образом для будущих поколений. Так пусть наши потомки будут верными католиками. Я же сам, так и быть, останусь при религии своих

отцов". Папа Римский, по сценарию, разочарован, пытается уговаривать Герцля, но в конечном счете относится с пониманием...

Да, что говорить, — Герцлю порой изменяло чувство вкуса.

Но не чувство чести. К своей еврейской фамилии он относился примерно так же, как любой немецкий аристократ к приставке "фон". Когда редактор "Дойчвохеншрифт", куда Герцль понес одну из своих первых рукописей, предложил ему выбрать в качестве псевдонима менее еврейское имя, Герцль ответил, что намерен и впредь называться фамилией своего отца и готов забрать рукопись (которая все-таки была принята).

Вот так и с католичеством. Нерелигиозный Герцль готов был в своих рассуждениях об ассимиляции, которую он считал "разумным шагом", дойти до логического конца — до отказа от религии отцов. Но все эти рациональные построения разбивались от столкновения даже не с действительностью, но — с личностью их создателя. Герцль мог себе представить других евреев, совершающих столь "разумный шаг" ради доктрины. Всех других — да. Себя — нет.

Поэтому сценарий массового крещения пришлось отложить в ящик. Герцль носился с этим театрализованным проектом до тех пор, пока издатель газеты "Новая свободная пресса" не сказал ему вот что: "На протяжении сотен поколений ваш род оставался верен еврейству, а вы хотите положить конец этому развитию. Вы не имеете ни возможности, ни права сделать это".

И — точка. Такими аргументами Герцля можно было убедить довольно легко.

А как же насчет антисемитизма? Отношение Герцля к этому явлению было довольно спокойным. Оно таким и осталось на всю жизнь: я имею в виду отношение к определенному, исторически сложившемуся явлению, а не к его гуманистическому аспекту. Вот что он сам пишет по этому поводу: "Итак, в Париже у меня оказались более свободные отношения с антисемитизмом, и я начал понимать его в историческом плане и даже оправдывать. Прежде всего я понял бессмысленность и бесполезность "обороны против антисемитизма". Декларациями на бумаге или деятельностью в замкнутых кружках делу не поможешь. Это даже выглядит смешным (разрядка моя. — Н. Г.). Наряду с карьеристами и людьми наивными в таких "комитетах помощи" могут заседать и честные люди. Они подобны "комитетам помощи", создаваемым после — и до! — наводнений, а толку от них пример-

но столько же. Они способны оказать такую же помощь, как Союзы в защиту мира. Человек, изобретающий взрывчатое вещество, вносит больший вклад в дело мира, чем тысяча кротких апостолов".

Что ж, слова мужчины. А нам говорят, будто после дела Дрейфуса Герцль впал в истерику. Во всяком случае пережил "шок". Вряд ли.

Тем не менее не исключено, что дело Дрейфуса все же сыграло какую-то роль. Оно могло произвести на Герцля впечатление своим драматизмом, разбушевавшимися вокруг страстями. Не забудем, что мы имеем дело с драматургом. И вообще, Герцль-писатель не был таким умником, как Герцль-мыслитель. Ничто иррациональное не было ему чуждо. А кроме того — какой журналист не хочет включиться в общественную драку? Тем более, что нужно отстоять честь своего народа — а для Герцля это был повод.

Повод для того, чтобы взяться за перо по крайней мере. Ангажироваться "в пользу". Выполнить "социальный заказ", как мы бы сейчас выразились. Отсюда — мысль о романе, который должен был пролить свет на "тяжелое положение еврейства".

На самом деле этому второму варианту романа "Обетованная земля" предшествовал еще и первый. Он должен был называться просто "Самуил Кон". В нем Герцль собирался описать конфронтацию между "благородной группой небогатых евреев, остро чувствующих унижения антисемитизма, и богатыми евреями, защищенными от антисемитизма толстой шкурой и не менее толстым кошельком". Почти социальная драма, не так ли? Но этот вариант был отброшен в пользу мелодрамы с приключениями.

Герцль утверждал, что прообразом "любимого слабого друга" главного героя был его собственный друг Генрих Кон, покончивший с собой в Берлине. Не могу не позволить себе некоторые спекуляции: что это за любимый, но такой слабый друг? Существовал ли он в действительности? Не является ли реакция героя на трагическое письмо символом отторжения от самого себя той слабости и непоследовательности, то есть того пути наименьшего сопротивления, по которому шло и шло еврейство, пока не дошло до Катастрофы? В этом неразвившемся зароды-

ше романа мы так ясно видим вначале симбиоз, а затем — разрыв этих двух еврейских начал...

Нет, очевидно, у Герцля все-таки действительно был "любимый и слабый друг". (Ах, господин Герцль, позволили бы вы себе это признание сейчас, мы бы тут же уложили вас на кушетку психоаналитика...) Мы не можем судить об истинных причинах самоубийства этого друга. Но как сам автор объяснял мотивы самоубийства в первом варианте ненаписанного романа?

"В первом варианте моего романа, — пишет Герцль в своем дневнике, — речь шла о настроениях Самуила накануне самоубийства. Вечером он гулял по улице Унтер дер Линден, чувствовал приближение своей смерти и считал потому, что стоит выше всех окружающих. (*Интересно, с какой стати? — Примечание мое. Н. Г.*) С насмешкой оглядывал он гвардейских офицеров, из которых мог себе выбрать любого. (*Для чего? — Опять мое. Н. Г.*) В то мгновение, когда он решил покончить с собой, он почувствовал себя повелителем. Он шагал с такой гордостью и сознанием собственного достоинства, что все невольно от него отшатнулись. Это снова навело на него примиренческие настроения, он пошел домой и застрелился".

Уф! И биографы Герцля еще смеют уверять, что этот писатель был "тонким психологом"?! Нарисовав очень сомнительную картину психического состояния своего персонажа накануне самоубийства, Герцль еще и мотивировал это самоубийство "поруганной честью". Не могу ручаться за прообраз, но возникает впечатление, что психологию своего героя Герцль знал так же плохо, как психологию своего народа. Если бы евреи на протяжении своей истории кончали с собой из-за поруганной чести, а к унижениям относились бы как к "пятну на мундире, которое надо смыть не иначе, чем кровью", еврейство потрясали бы эпидемии массовых самоубийств.

Но именно "антипсихологизм" Герцля-писателя проливает свет на психологию Герцля-человека. Он не был религиозным евреем, защищенным от оскорблений своеобразным высокомерием, которое делает человека нечувствительным к оскорблениям от "неравного". Вполне логично было ожидать от Герцля, что дело Дрейфуса он воспримет если не как "шок", то как оскорбление, на которое надо как-то ответить.

То есть отстоять честь своего народа. Если не шпагой, то пером.

Однако проанализировав оба варианта романа — и, видимо,

свои возможности романиста, — он засунул свои рукописи в ящик письменного стола. Скорее всего он понял, что роман "приключенческого" жанра далек от реальных проблем евреев и даже несколько неуместен. В этой ситуации надежнее было полагаться на свои журналистские навыки. И Герцль задумал нехудожественную документальную книгу под названием "Положение евреев".

"Такую книгу, разумеется, — вспоминает Герцль, — нужно было писать с тщательностью и обстоятельностью..."

Разумеется. И у Герцля действительно были в этом плане "благие намерения".

"Мне хотелось побывать, — пишет он в своем дневнике, — в тех местах, куда судьба забросила евреев группами, а именно — в России, Галиции, Венгрии, Богемии, а позднее на Востоке, в новых колониях Сиона, а затем снова в Западной Европе. Я намеревался показать, что евреев ругают, не зная их. Здесь я обрел репортерские навыки, без которых такие описания невозможны".

Несомненно, он обрел кое-какие репортерские навыки, работая в Париже, но его благие намерения собрать и обработать материал так и не осуществились. Он даже не побывал в тех местах скопления евреев, куда намеревался съездить.

Но зато сходил — видимо, впервые! — в парижскую синагогу на рю де ла Виктуар. Очень умилился: "Богослужение было торжественным и трогательным, многое напомнило мне мою молодость, синагогу на Табачной улице в Праге. Я смотрел на здешних евреев и обнаружил в их лицах семейное сходство..."

Немного ностальгии, и дело, пожалуй, на этом закончилось. Герцль не обладал ни даром, ни терпением исследователя. Однако мысль написать документальную книгу не оставляла его.

Случай свел его с писателем Леоном Доде, известным антисемитом.

Дело было так: между Герцлем и Доде начался спор. Доде пытался обосновать свой антисемитизм. Разбивая один за другим аргументы противника, Герцль неожиданно для самого себя признался, что собирается изложить все это в будущей книге о евреях.

"Роман?" — заинтересовался Доде. Герцль помедлил с ответом — он все еще окончательно не определил для себя жанр.

"Нет, — сказал он наконец. — Лучше книгу для мужчин".

"Роман эффектнее, — возразил Доде. — Например, "Хижина дяди Тома".

И отложив в сторону дискуссию об антисемитизме, оба писателя заспорили о жанре...

В этом разговоре Герцль употребил странный для нашего уха термин "книга для мужчин". Доде его очень хорошо понял. Очевидно, оба литератора случайно раскрывают нам секрет Полишенеля, о котором нынешние литературоведы умалчивают: романы, в основном, читались женщинами. Дамы были пожирательницами романов Мопассана и Бальзака, а также прочих великих и менее великих романистов. Очевидно, мужчины и тогда предпочитали то, что мы сегодня назвали бы "нон-фикшн", и если бы во времена Герцля и Доде был принят этот термин, они бы им оперировали.

Как бы то ни было, аргументы Доде (в смысле жанра, а не антисемитизма, конечно) возымели действие на Герцля, и он записывает в своем дневнике: "После этого разговора я снова начал сомневаться в целесообразности "Положения евреев" и опять начал склоняться в сторону романа".

Он, конечно, "начал склоняться", но что из того? Герцль не жил в гуще евреев, не страдал их страданиями и в их бытописатели не годился. Он не мог последовать совету Доде и написать что-то вроде еврейской версии "Хижины дяди Тома" — склонный порой к сатире, порой к мелодраме, Герцль все же не был "слезовыжимателем". Итак, для романа не хватало фактуры, для документальной книги — материала.

Писатель переживал творческие муки, в результате которых что-то все-таки рождалось. Но что же это было?

"С некоторых пор, — пишет Герцль, — я работаю над трудом, имеющим чрезвычайную важность. Я не знаю пока, удастся ли мне осуществить его. Он подобен огромной мечте. Вот уже много дней и недель он занимает меня до потери сознания. Он повсюду со мной, витает над моими обыденными разговорами и заглядывает через плечо в мелкую до смешного работу журналиста, мешает мне и одурманивает меня".

Типичное для автора состояние одержимости творческим замыслом? Нет, что-то большее. Если бы это был роман — жанр, который Герцль считал чтивом для дам, он не назвал бы это "трудом, имеющим чрезвычайную важность". Если бы это был документальный труд, он вряд ли одурманивал бы автора "до потери сознания" и заглядывал в мелкую до смешного (с каких пор?) работу журналиста.

"Пока что еще трудно предсказать, что из этого получится. Мой опыт подсказывает мне, что это что-то необычное; даже если ему суждено остаться мечтой, я обязан записать его: если не в виде памятника для грядущих поколений, то хотя бы для собственного наслаждения и обдумывания. А может быть и для литературы, занимающей промежуточное положение между этими двумя возможностями. Если роман не станет действительностью, то действительность может стать романом".

Задним числом нам, конечно, легко заключить из всего этого, что автора потянуло на утопию. С другой стороны, мы явственно видим, что здесь речь идет о чем-то другом. До сих пор Герцль решал проблему выбора литературного жанра. Но с этого момента перед ним стояла уже совсем иная проблема: выбора между литературой и жизнью. Похоже, что жизненные силы Герцля преобладали над "творческими" в узко литературном смысле этого слова.

"Теперь я и сам не знаю, — пишет он, — как я перешел от идей романтических к идеям практическим... Это произошло бессознательно".

Возможно, замысел с самого начала претендовал на нечто большее, чем литературу, а попытки написать книгу были, как мы бы сейчас выразились, "сублимацией"?

"Впрочем, — тут же поправляет он себя, — может, это идеи вовсе не практические, а я лишь выставляю себя на посмешище людям, с которыми разговариваю серьезно, блуждая в сфере романа..."

Да. Очень даже возможно. Это не шизофреническое раздвоение между искусством и жизнью. Это удивительная стилизация действительности.

Действительность может стать романом?

Вряд ли. Вас ждут разочарования, господин писатель. Лучше бы уж вы творили только на бумаге... Но не тут-то было. Однажды, все еще "блуждая в сфере романа", автор решил поискать героя вне замкнутой сферы своих фантазий. И на какое-то время ему показалось, что он его нашел.

Дело в том, что пока Герцль решал еврейский вопрос литературными способами, кое-кто шел вполне конкретными практическими путями.

У барона Гирша были идеи, которые частично перекликались с идеями Герцля. Но в отличие от Герцля у него были деньги, чтобы воплотить эти идеи не на бумаге, а в жизни.

Знаменитый еврейский богач, обладавший титулом барона, тратил значительные средства, для того чтобы создать ... еврейских крестьян. Гирш считал, что антисемитизм в эпоху исчезающих религиозных предрассудков объясняется прежде всего социальной аномалией еврейского населения. Гирш пытался "социально оздоровить" еврейство путем введения в него недостающего крестьянского компонента.

Невозможно было "вывести" еврейских крестьян в устоявшейся европейской жизни. Поэтому Гирш предлагал эмиграцию евреев в Палестину или в Аргентину, чтобы они могли там осесть на земле. Аргентина с ее свободными пространствами, нуждающимися в колонизации, представлялась барону особенно подходящей площадкой для его социальных экспериментов.

"Все, что вы делали до сих пор, — пишет Герцль барону, — было столь же великодушным, сколь и ошибочным, столь же дорогостоящим, сколь и бесполезным. До сих пор вы были только филантропом. Я покажу вам, как вы можете стать чем-то большим".

Героем романа, что ли?

С другой стороны, стоит человеку начать что-то делать, тут же находятся советчики, которые сами ничего не делают, но знают "как". Поэтому вряд ли барон Гирш воспринял письмо Герцля всерьез. Тем более, что этот репортер венской газеты еще ничем особенным себя не проявил. Но все-таки встреча их произошла — хотя и не тотчас после этого "наглого" письма.

"Эмиграция — это хорошо, — сказал Герцль, — но это еще не все. Первым делом нужно усовершенствовать расу... Ибо не нашлось никого, кто бы воспитал в нас настоящих мужчин, пусть даже из соображений монархического эгоизма. Напротив, нас заставляли заниматься непристойными делами, нас держали в гетто, где мы все вместе продолжали опускаться; а когда нас оттуда выпустили, от нас потребовали, чтобы мы обладали навыками свободных людей".

Барон слушал, рассматривая Герцля и, видимо, решая, надо ли отнестись к нему, как к очередному просителю, или здесь нечто другое...

"Необходимо, — продолжал Герцль, — провести ряд мероприятий по воспитанию масс. Начнем с принципа благотворительности, который я считаю совершенно негодным. Вы выращиваете попрошаек. Характерно, что ни у одного народа нет такой благотворительности и такой нищеты, как у евреев. Между этими двумя явлениями существует связь... Благотворительность ведет к оскудению народного характера. Дело надо было начинать не так, как это сделали вы. Вы перевозите туда этих евреев для выполнения сельскохозяйственных работ и внушаете им, что у них есть право получать от вас поддержку. А сколько экземпляров вы вообще можете перевезти? Пятнадцать-двадцать тысяч? В одном переулке Леопольштадта их проживает больше...

Вместо того, чтобы покупать каждого еврея в отдельности, вам следовало бы назначить огромные призы: за действия большой моральной красоты, за храбрость, за самопожертвование, нравственное поведение, большие достижения в области науки и искусства, врачу в период эпидемии, воину, изобретателю лекарства — безразлично, за что, просто — з а в с е в е л и к о е..."

Как реагировал на эту тираду барон?

"Благосклонным тоном, как будто я попросил работу в его банке, он заметил: "Я вижу, что вы интеллигентный человек, но у вас такие фантастические идеи..."

Ах, так?!

Поднявшись со своего места, Герцль сказал ошеломленному барону:

"Я пойду к германскому кайзеру, и он поймет меня, ибо он воспитан так, что умеет судить о великих делах. Германскому кайзеру я скажу: выпустите нас! Мы тут чужие, мы не можем, да и не хотим раствориться в чужом народе. Выпустите нас! Я покажу вам средства и пути, которыми я намерен воспользоваться для эмиграции..."

Что мог ответить на это барон Гирш? "Где вы возьмете деньги, — спросил он. — Ротшильд ассигнует вам пятьсот франков". (О том, сколько ассигнует он сам, Гирш умолчал.)

"Деньги, — ответил Герцль с усмешкой и тут же выдумал ответ. — Я добуду десять миллионов марок при помощи еврейского национального займа".

Такого займа, конечно, не было. Герцль, видимо, придумал его на месте. Что касается эмиграции, то это была старая литературная идея Герцля, получившая толчок при виде практической

деятельности барона в этом направлении. Наконец, что касается встречи с кайзером и уверенности, что он-то его поймет, — это была явная бравада.

Пройдет время, и Герцль скрупулезно воплотит свои литературные фантазии в жизнь. В том числе и встречу с кайзером. Причем не где-нибудь, а на Святой земле.

Здравый смысл, — а барон Гирш был его воплощением, — отказывался принимать все это всерьез. Удивительно еще, что он потратил на этого экстравагантного человека столько времени.

"В том, что я вам сказал, многое, вероятно, покажется вам чересчур простым, — сказал Герцль. — Но с помощью простого и сказочного управляют человечеством. — Тут Герцль сделал паузу и добавил, скорее для себя. — Удивительно и вместе с тем известно, как мало требуется ума, чтобы управлять миром".

Герцль высказывал сумасшедшие идеи, но при этом не выглядел безумцем. Скорее всего он выглядел даже респектабельно. Представительная внешность, манеры, хорошая речь...

Интеллигентный человек, как сказал барон Гирш, — но с такими фантастическими идеями!

А что подумал о бароне Герцль?

"Он оказался приятным, интеллигентным, но обыкновенным человеком..."

А кого ожидал увидеть господин писатель? Героя своего романа?

"Придя домой, — пишет Герцль, — я бросился к письменному столу..." Что еще остается делать более или менее владеющему пером человеку, если его практические идеи терпят фиаско? Броситься к письменному столу, куда же еще...

Итак, он бросился к письменному столу. Ну, и..? Не повезло в картах, повезет в любви?

Не повезет. Где романтические приключения, корабельная палуба, загадочное письмо, Генрих-Самуил? Где? Нету, Нету...

Ну, ладно, тогда где же увиденные "репортерскими глазами" правдивые зарисовки еврейской жизни в рассеянии с ее страданиями, которые должны были тронуть сердце любого либерального европейца? Тоже нету.

Ни того, ни другого.

Герцль просто не был достаточно талантлив. Что, возможно, и к лучшему. Если бы ему удалось сублимировать свои еврей-

ские проблемы в романе, австрийская литература, быть может, стала бы богаче, но у нас, наверно, не было бы своего государства. А если бы Герцль пошел по пути объективной журналистики и утонул в описании реальной действительности, он не подарил бы евреям миф.

Все, что вышло в конечном счете из-под пера Герцля, было всего лишь написанной довольно сухим, канцелярским языком книгой под названием "Еврейское государство".

Куда вас занесло, господин писатель? Вы рассказали нам сказку!

"Это зависит от вас..."

"То есть?"

"Если захотите, это не будет сказкой".

"А почему мы, собственно, должны захотеть? Ваша "сказка" не столь прекрасна, чтобы ее захотелось сделать былью. Ее можно было рассказать гораздо более интересно... Вы плохой писатель, господин Герцль!"

"Что ж, я приглашаю вас в соавторы, господа! Вы вправе вычеркнуть некоторые главы. Дописать свои. Написать следующий том, черт возьми!"

"Ах, господин Герцль, господин Герцль... Вы витаете в облаках, вы не знаете наших евреев..."

"Я вам придумаю новых".

"А что будет с этими?"

"Они станут такими, как мы хотим".

"А если нет?"

"Они вынуждены. Иначе им грозит катастрофа".

"Перестаньте запугивать, господин Герцль, это нечестный прием".

"Я говорю вам то, что вижу".

"Ах, вы не только писатель, но и прорицатель?"

"Прорицатель? Ни в коем случае! Я просто делаю объективные выводы из объективной ситуации..."

"Объективные выводы? Вы? С вашими-то фантазиями? Да вы видите только то, что хотите видеть..."

"Увы, я вижу даже то, что вы прячете голову в песок".

Это была книга странного жанра. Это была фантазия, написанная бухгалтерским языком. Это была утопия, стилизованная под

обыденность. Сумасшедшая идея, замаскированная под банальную истину.

Утопия была изложена с немецкой трезвостью и обстоятельностью, что частично лишало ее очарования утопии. Зато она манила обманчивой простотой реализации. И в самом деле, подумаешь, построить еще один велосипед, обычное государство, нормальную страну, не царство небесное на земле, не "Город Солнца"!

Но в этом и заключался красивый обман писателя. Написать утопию, замаскировав ее под вполне реализуемый проект, а для тех, кто сумеет рассмотреть мифические очертания сквозь "практические" рекомендации — одна-единственная, но гениальная фраза: "Если захотите, это не будет сказкой..."

В этой, ставшей знаменитой фразе Герцля — ключ к пониманию его отношения к им же написанному. Признавая мифичность своей идеи, Герцль призывал читателей игнорировать эту мифичность. Он предъявлял читателям чисто литературное требование — сделать действительность сказкой, то есть материалом для подлинно писательского воображения.

Книга Герцля была прочитана, оспорена, обругана. Стало быть, можем мы заключить, — не понята? Но можно сказать и по-другому — она была понята слишком хорошо. Вернее — ее утопический характер. Впоследствии некоторые критики и интерпретаторы Герцля утверждали, что работая над своей книгой, Герцль в упор не видел реальных евреев. Он их, собственно, не знал. Он не понимал, как трудно зажечь, увлечь, убедить усталый и вырождающийся народ, который, собственно, и не был уже народом в полном смысле, как все другие. Он не знал, говорят, что "нет уже пороха в пороховницах" — или как мало его осталось...

Но с другой стороны, было ли чем зажигать?

Герцль взял на себя смелость все предвидеть и все предусмотреть. Более того — все предписать, с немецкой четкостью и сухостью. Раздел "Войско", например, содержит всего несколько строк — это самая короткая глава книги. Вот она целиком:

"Так как предполагается создать еврейское государство нейтральным, то для охраны порядка извне и изнутри ему необходима только милиция, вооруженная тем не менее по всем современным требованиям военного искусства".

Милиция, вооруженная тем не менее по всем требованиям...

Вы можете себе представить что-нибудь подобное? В общем, достаточно одной лишь этой главы, чтобы усомниться в пророческом даре, который приписывается Герцлю.

Очень любопытна также коротенькая главка "Знамя".

"Поскольку знамени у нас нет никакого, но мы в таковом нуждаемся, ибо если собирается огромное множество людей, то над их предводителями и начальниками должен развиваться какой-нибудь символический знак..."

Весьма глубокая мысль, не правда ли?

Придя к этой мысли — о необходимости, чтобы развевалось что-нибудь "символическое", — Герцль предлагает следующее: белый флаг с семью золотыми звездами. Белое поле должно быть символом новой жизни, а звезды символизировали ... семичасовый рабочий день — предел социальных мечтаний (программы?) Герцля. Что ж, неплохо для народа, давшего миру Маркса и множество других социальных преобразователей.

Глава "О конституции" не менее любопытна. Тут, рассуждая о политическом устройстве будущего еврейского государства, Герцль среди прочего пишет:

"Что же касается формы правления, то лучшей следует признать либо демократическую монархию, либо аристократическую республику".

"Лично я, — продолжает Герцль, — большой поклонник и друг монархического правления, ибо только в таком случае возможна более или менее постоянная политика, связанная своими интересами с одним, исторически прославленным родом, члены которого рождены и воспитаны для власти. Но наша история, к сожалению, претерпела такую массу превратностей, что думать о каком-нибудь царском роде невозможно, да и было бы смешно, если бы мы пытались его отыскивать. Демократическое же правление без полезного противовеса со стороны монарха, кроме того, что страдает во время решения каких-либо вопросов вследствие своей огромности и массы противоречивых мнений, к тому же всегда ведет в парламенте к бесплодному переливанию "из пустого в порожнее" и создает клику "политиканов по обязанности". Современные народы, впрочем, и не способны к неограниченному демократическому правлению, и я думаю, что и в будущем не будут способны к нему. Настоящая демократия всегда требует простых нравов, между тем как наши нравы созданы культурой и зависят

от сношений с соседями "Le ressort d'une democratie est la vertu", — сказал мудрый Монтескье. Но где же найти эту добропорядочность, конечно, политическую? Я думаю, что не в нас, ибо мы ничем не отличаемся от остальных современников, и на первых же порах будем так же петушиться от избытка свободы, как и всякий другой народ. К тому же я не допускаю, чтобы масса решала различные вопросы, подлежащие докладу, так как в политике нет таких односложных вопросов, которые можно было бы решить одним только "да" или "нет", как это было в древности. Если парламент нельзя признать одним из лучших видов конституционного правления, тем менее массу можно признать способной здраво решать политические вопросы, массу, которая часто подвержена ложным слухам и ошибкам и которая очень легко поддается на удочку всякому крикуну. Еще меньше можно требовать разумного ведения внешней и внутренней политики от народа, собранного со всех концов света. Этим должны заниматься высшие классы..."*

До сих пор — умеренно-консервативно и кое для кого — недостаточно "прогрессивно". Но постепенно, постепенно Герцль соскальзывает в область утопического...

"... что не устраняет низший класс от правления. Раз в еврейском государстве никто не будет порабощен и всякому будет предоставлена полная свобода к самоусовершенствованию, то следовательно всякий еврей будет иметь право надеяться и даже сможет сделаться спицей в главном колесе государственного механизма. Всякий и каждый в отдельности будет думать только о том, как себя самого усовершенствовать (разрядка моя. — Н. Г.), и тем самым весь народ "in toto" будет совершенствоваться"**.

Как бы не так... Где вы такое видели, господин Герцль? И вы еще в предисловии к своей книге, предвидя нападки и насмешки, осмеливаетесь утверждать, что написали вовсе не утопию? И вы еще утверждаете, что если бы намеревались создать утопию по образцу Томаса Мора, то сделали бы это гораздо красивее, и никакая реальность не сковывала бы вашу фантазию?.. А она, между прочим, не так уж и сковывала вас!

Нельзя сказать, чтобы Герцль — мыслитель и теоретик, уж

---

*Т. Герцль. "Государство евреев", гл. "Конституция".

**Там же.

какой ни есть, совсем не знал реальности. Но можно вполне сказать, что Герцль-писатель не так уж сильно с ней считался.

Странный, удивительный человек. С одной стороны — такой здравый анализ, столь убедительные рассуждения и вдруг — такой отрыв в область фантастики!

То, что фантазия оказалась не такой уж фантастичной, то, что реальность оказалась более "утопической", чем сама утопия, — все это мы знаем уже задним числом. Вот, к примеру, прочтем небольшую главку под название "Язык":

"Может быть, кому-нибудь придет на ум, что затруднения произойдут от того, что нет единого языка, на котором мы могли бы все изъясняться, ибо древнееврейским языком мы не можем пользоваться. Разве есть кто-нибудь, кто, пользуясь им, мог бы купить себе, например, железнодорожный билет? Ведь нет!"

А вы говорите — утопист. Уж такой реалист, такой реалист, что дальше некуда. Аж скучно делается. И конечно же, никак не пророк во всем, что касается его отечества.

Но вернемся к политическому облику государства, придуманного Герцлем. Раскритиковав демократию и парламентское управление, сделав реверанс в пользу монархии, но признав ее неосуществимость для евреев, Герцль пишет, что только высшие классы, то есть элита, могут управлять государством. Но при этом каждый может совершенствоваться на здоровье.

"Итак, — заключает он, — я склоняюсь скорее в пользу аристократической республики, тем более что это вполне согласуется с честолюбивым сознанием нашего народа, принужденного теперь влачить жалкое существование..."

Стоп. Аристократическая республика вполне согласуется с честолюбивым сознанием нашего народа? Что с вами, господин Герцль? Аристократическая республика вполне согласуется с вашим собственным сознанием, это да. Но евреи? Разве вы не знали, какой популярностью пользуются среди них социалистические идеи — те самые "идеи против собственности", которые лично вам были не по вкусу? В глазах многих, если не большинства молодых евреев вы выглядели просто ретроградом...

Пройдет много времени, и Герцль, уже будучи лидером сионистского движения, поедет в Россию и в беседе с Плеве обратится к царскому правительству: "Помогите мне, и бегство евреев к социалистам прекратится..."

То ли он был слишком самонадеян, то ли действительно ве-

рил, что его отнюдь не оригинальная ни в социальном, ни в литературном плане утопия способна конкурировать с грандиозной марксистской мифологией.

Говорят опять же, что если бы Герцль немножко лучше знал тот человеческий материал, с которым он предполагал осуществить свою утопию, он никогда бы не решился написать "Государство евреев".

Но с другой стороны...

"... в гетто мы приобрели ряд антиобщественных качеств... Антисемитизм по существу является результатом эмансипации евреев... Народы, лишенные исторического подхода — то есть все народы, — не видят в нас продукт истории, жертву прежних жестоких и еще более ограниченных времен... От всех этих мук наш прежде гордый характер испортился... Когда-то мы умели защищать наше государство в войнах, мы несомненно были чрезвычайно способным народом..."

Так кто же он, на самом деле, этот господин Герцль? Прагматик — или фантазер? Реалист — или утопист?

Теодор Герцль, автор "Государства евреев", был — писатель. Он трезво проанализировал еврейскую ситуацию, он иронизировал по поводу социализма, он находил жалкой и смешной "борьбу с антисемитизмом", словом — иллюзий у него не было. И он недаром твердил о неминуемой катастрофе европейского еврейства; для этого даже не нужно было быть пророком — достаточно было не быть страусом. Ситуация действительно была такова, какой он ее описал, его диагноз был несомненно верен. Но практического — реального — выхода из нее на самом деле не было; его можно было только — выдумать. Реальная ситуация с жуткой логикой вела евреев в газовые камеры. Такой реальности можно было противопоставить только Утопию. Перешагнув — силой воображения — через пропасть, переглядев — силой надежды — через катастрофу.

Я не знаю, насколько одарен был Герцль литературным талантом в конвенциональном понимании этого слова. Но он обладал тем, что по-английски называется "vision", на иврите — "хазон", и я не могу найти русского эквивалента этому понятию, замешанному на видении, прозрении и надежде.

Конец первой части

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

История открытия и дешифровки так называемых "Свитков Мертвого моря" широко известна. Не менее известна и общепринятая теория, приписывающая происхождение свитков (и запечатленных в их текстах идей) еврейской секте ессеев, существовавшей одновременно с двумя другими, главными направлениями иудаизма — садуккеями и фарисеями, в начале нашей эры, перед разрушением Храма. (Литературный перевод одного из этих текстов, "Устава Войны", сделанный Анри Волохонским, был опубликован в нашем журнале в № 29 за 1983 год.)

В предлагаемой статье автор делает попытку критически пересмотреть всю совокупность фактов, относящихся к кумрано-ессейской теории, и предлагает совершенно новую гипотезу о происхождении свитков Мертвого моря, которая одновременно может изменить и наши представления о взаимоотношении и связях иудаизма и раннего христианства.

Норман Голб

ЗАГАДКА СВИТКОВ МЕРТВОГО МОРЯ

Ровно сорок лет назад, весной, на склоне пустыни, обращенном к западному берегу Мертвого моря, двое бедуинских пастушат совершенно случайно сделали одно из важнейших археологических открытий нашего века. Забравшись в пещеру, они обнаружили там глубоко скрытые в расщелинах семь пергаментных свитков, которые оставались непрочитанными с первого века нашей эры. В течение последующих девяти лет в этой и других пещерах вблизи древнего поселения Хирбет-Кумран были обнаружены сотни таких свитков — некоторые в виде отдельных фрагментов, другие — полностью уцелевшие, многие — среди обрывков ткани или обломков — глиняных сосудов. Эти находки дали в руки исследователям широкий набор библейских и небиблейских еврейских текстов. Разумеется, поначалу, сорок лет назад, никто не предполагал такой возможности. Это случайное обнаружение огромного культурного богатства в заброшенной пещере среди палестинских пустынь было подлинным археологическим чудом.

Уже исследование первых свитков, проведенное в Иерусалиме, показало, что кроме двух копий Книги Исайи, они содержат также множество доселе

неизвестных текстов. Один из них, так называемый "Генезис Апокрифон", или "Повесть об Аврааме", представлял собой приукрашенную версию событий, описанных в Книге Бытия. Другой, "Свиток Войны", описывал апокалиптическую битву между "сынами света" и "сынами тьмы" в конце времен (тема многочисленных еврейских апокрифов в период между Ветхим и Новым Заветами). Третий текст, часто именуемый "Ходайот", состоял из песнопений в стиле Книги Псалмов. Еще один (уцелевший лишь в фрагментах) текст был посвящен книге ветхозаветного пророка Абакука (Аввакума), которую автор свитка толковал как предсказания того, что свершилось при его жизни и еще совершится в ближайшем будущем. Были и такие тексты, в которых описывались религиозные церемонии и ритуалы какой-то неведомой религиозной секты.

Эти ритуальные тексты, получившие название "Устав Общины", были особенно загадочны. Они радикально отличались от наших представлений о том, какой была еврейская религиозная мысль того времени. А в чем-то они даже предвосхищали некоторые христианские доктрины, позднее изложенные в Новом Завете. В отличие от еврейской Библии "Устав Общины" провозглашал, например, что личное богатство развращает душу. В Уставе подчеркивалась необходимость ритуальной чистоты, но отвергалось традиционное еврейское омовение, если оно не сопровождалось аналогичным "очищением ума и души". И еще в Уставе описывались регулярные собрания общины, на которых высшие члены ее иерархического братства анализировали "великие тайны" и "скрытый смысл" священных текстов, а это находилось в резком контрасте с господствующими идеями еврейского религиозного учения.

Специалисты Еврейского университета и иерусалимской "Американской школы восточных исследований", изучавшие семь первых свитков, пришли к выводу, что "Устав Общины" написан ессеями — членами небольшой, насчитывавшей четыре тысячи человек, еврейской секты, которая, согласно древним авторам, существовала в Палестине примерно во времена Иисуса. Еврейские писатели тех времен, Филон Александрийский и Иосиф Флавий, рассказывали, что ессеи отвергают материальные блага и ритуальное очищение и, подобно тому, как описывалось в свитках, проводят время в попытках постичь скрытые тайны Торы. Более того, Плиний Старший в своей "Естественной истории"

указывает, что ессеи живут на западном берегу Мертвого моря, а "ниже" их поселения находится городок Эйн-Геди (который действительно существует и сегодня, всего в двадцати километрах от пещер, где были найдены первые свитки).

Эти совпадения были настолько поразительны, что к середине 50-х годов среди ученых, изучавших свитки, сложилось твердое убеждение, что не только первые, но и все другие, найденные ими тексты принадлежат ессейским монахам, жившим в Кумране. А поскольку некоторые кумранские тексты содержали идеи, позднее появившиеся в Новом Завете, то естественно было предположить, что секта ессеев оказала формирующее влияние на раннее христианство. Это мнение было высказано американским литературным критиком Эдмундом Вильсоном в книге "Свитки Мертвого моря", появившейся в 1955 году, и с тех пор стало общепринятым. Сегодня все энциклопедии, музейные каталоги, учебники, научные журналы и диссертации в один голос приписывают авторство свитков Мертвого моря ессеям. Авторитетнейшая "Британская энциклопедия" пишет, что свитки "являются частью библиотеки, принадлежавшей еврейской религиозной секте (ессеи), которая существовала в Кумране с середины второго века до н. э. и вплоть до 68-го года н. э.". А посетители выставки "Сокровища Святой земли", открывшейся в прошлом году в Метрополитен-музее Нью-Йорка, могли прочесть в каталоге, что Кумран был "центром еврейской секты, где составлялись и использовались эти тексты". То же самое говорится в каталоге Израильского музея в Иерусалиме, где выставлены сами свитки.

Но ни один из этих каталогов ни словом не упоминает, что кумранско-ессейская теория, при всей ее распространенности, входит в противоречие чуть ли не с каждым фактом, открытым за последние тридцать пять лет. На самом деле все эти факты совершенно неопровержимо свидетельствуют, что свитки Мертвого моря вовсе не принадлежат этой небольшой монашеской секте. И в той же мере, как сама теория ессейского авторства свитков, становятся сомнительными и все основанные на ней более широкие исторические выводы. Как уже было сказано, сегодня общепринято считать, что раннехристианские доктрины выросли из учения ессеев. Каталог "Сокровищ Святой земли", суммируя утверждения, без конца повторявшиеся на протяжении последних сорока лет, пишет: "Такие концепции Нового

Завета, как предопределение, избранность, противостояние духа и плоти, дуализм света и тьмы, истины и фальши, берут начало из теологии ессейской общины Мертвого моря..." Однако пристальный анализ свитков в действительности показывает, что основополагающее влияние на новую религию оказала не безвестная секта ессеев, а иудаизм как целое.

С самого начала было очевидно, что с ессейской теорией что-то не в порядке. Согласно рассказу Плиния, ессеи были замкнутой, миролюбивой, целомудренной общиной; среди них "не было женщин" и они "подавляли свои сексуальные желания". Однако раскопки кладбища в Хирбет-Кумране обнаружили захоронения не только мужчин, но и женщин. Более того, ни в "Уставе Общины", ни в каких-либо иных из семи первоначальных свитков, не было ни единого упоминания о сексуальном воздержании, которое, по словам Иосифа, Плиния и Филона, составляло один из главных пунктов ессейского учения.

Но вместо того, чтобы пересмотреть общепринятую теорию, ведущие археологи и исследователи: Елеазар Суконик и его сын Игаэль Ядин из Израиля, Андре Дюпон-Соммер и отец Ролан де Во из Франции, а также многие другие из Германии, Англии и Соединенных Штатов — предпочли искать ее дополнительные подтверждения в цитатах из Иосифа, утверждая, что их, якобы, можно истолковать в том смысле, что хотя обет целомудрия принимали "почти все" ессеи, но однако не все поголовно. Возможно, как писал Франк Мур Кросс из Гарварда в своей книге "Древняя библиотека Кумрана и современные библейские исследования", "более старая община, придерживавшаяся обета целомудрия, позднее смешалась с другими; или же в пустыне Кумрана, бок о бок с целомудренной и безбрачной сектой, составлявшей большинство, проживала также менее значительная община семейных ессеев".

Увы, такое объяснение скорее подрывало кумрано-ессейскую теорию, нежели подтверждало ее, потому что вся эта теория основывалась на указании Плиния, что вблизи Эйн-Геди проживала община целомудренных ессеев. Более того, теория утверждала, что Кумран был не просто заброшенным ессейским поселением, а духовным центром всего ессейского движения — "главной обителью", "материнским очагом", где формулировались основные его доктрины и составлялись его уставы. Как же мож-

но думать, что члены этого "мозгового центра" нарушали тот обет целомудрия, который составлял самую своеобразную черту всей ессейской доктрины?!

Еще более серьезные трудности возникли после того, как в начале 50-х годов были раскопаны остатки самого кумранского поселения. Плиний писал, что ессеи жили, "укрываясь лишь тенью пальмовых деревьев", — иными словами, вели монашеский, аскетичный образ жизни. Между тем раскопки обнаружили нечто, весьма далекое от бедной монашеской обители. Было найдено вполне благоустроенное поселение — с цистернами, бассейнами и резервуарами для хранения воды, а также комплексом жилых зданий, который включал обеденный зал и кухню, стойла для скота, гончарную мастерскую и башню, примыкавшую к зданию неизвестного назначения. Оказавшись в затруднительном положении, некоторые археологи (например, отец де Во в книге "Археология и свитки Мертвого моря" и Кросс в "Древней библиотеке Кумрана") поспешили выдвинуть гипотезу, что сами ессеи жили якобы в пещерах или хижинах, располагавшихся выше основного поселения, а поселение, дескать, служило им только для административных нужд. (Интересно, что в каталоге "Сокровищ Святой земли" это предположение уже выдается за факт и говорится, что "монахи жили в соседних пещерах, а скорее всего — в хижинах и шалашах, от которых ничего не осталось...")

Действительно, в отдельных пещерах были найдены следы временного проживания. Но трудно поверить, будто кумранское поселение было всего-навсего местом сборищ пещерных отшельников. Во-первых, оно для этого слишком уж благоустроено, а во-вторых, имеет чересчур много признаков чисто военного укрепления. Раскопки вскрыли не только остатки крепостной стены, но и признаки хранения здесь больших запасов продовольствия и воды, а также многочисленные следы происходивших здесь боев, подтверждая тем самым, что в Кумране размещался большой отряд еврейских воинов, которые вели здесь затяжные сражения с римскими легионерами примерно во времена захвата Иерусалима, в 70-м году н. э. Свидетельством этих яростных сражений являются разрушенные стены, следы большого пожара и множество наконечников от стрел. Примерное время битвы и национальность осаждавших легко устанавливаются по датированным римским монетам, которые были найдены в руинах.

Иосиф Флавий в своей книге "Иудейская война" упоминает ессея по имени Иоханан, который принимал участие в боях против римлян. Но Филон характеризует ессеев как самых миролюбивых из людей, заявляя: "Среди них не было ни одного, кто питал бы воинственные склонности". И у нас нет никаких свидетельств того, что ессеи когда-либо защищали от римлян свою крепость или вели с ними ожесточенные бои.

Если бы все эти несовпадения стали известны своевременно, теория ессейского происхождения кумранских свитков, возможно, вообще бы не возникла. Но к 1956 году, когда раскопки Кумрана были окончательно завершены, эта теория уже обрела самостоятельную жизнь. К тому времени в окружающих пещерах были найдены и многие другие свитки. И археологи, работавшие в Кумране, были более склонны искать новые подтверждения связи этих свитков с поселением, чем выдвигать какие-то иные гипотезы. Вот почему когда в руинах Кумрана были обнаружены три оштукатуренных стола и две небольшие "чернильницы", комната, где они некогда находились, была немедленно названа "комнатой писцов", — поскольку там, якобы, и составлялись свитки, впоследствии спрятанные в пещерах. До падения крепости эта комната находилась на втором этаже примыкавшего к башне здания неизвестного назначения. Видимо, во время захвата Кумрана римлянами второй этаж рухнул, и его содержимое обвалилось в нижние комнаты. И так как среди этого содержимого находились столы и "чернильницы", археологи вывели отсюда существование пресловутой "комнаты писцов", "скрипториума". Отец де Во и другие специалисты рассудили, что, получив известие о неминуемой атаке римлян, ессеи наспех собрали свитки, которые изготовлялись в этой комнате, отнесли их в пещеры, расположенные над поселением, и спрятали там в специальных глиняных горшках или мешках из ткани.

Но в этих рассуждениях было, по меньшей мере, два очевидных противоречия. Во-первых, все древние описания свидетельствуют, что писцы никогда не работали за столами — они писали, сидя на скамьях и положив свитки на колени. Во-вторых, что еще более важно, с учетом всей той массы обломков, которая погребла под собой и защитила от тления руины Кумрана, можно было бы ожидать, что от так называемого скрипториума, если он действительно существовал, сохранятся не только две

"чернильницы", но значительно больше различных предметов, связанных с работой писцов, — тростниковых перьев, свитков чистого пергамента и ножниц для их разрезания. Но среди обломков не было найдено ни одного такого предмета и ни единого кусочка пергамента.

Все эти факты указывают на то, что загадочная комната была скорее всего вовсе не скрипториумом, а просто небольшим залом, где происходили собрания военного или гражданского характера и делались некоторые подручные (официальные, а не литературные) записи. Предположение, что в крепости существовало подобное помещение, не нуждается в особом доказательстве; в конце концов, сама эта комната располагалась вблизи сторожевой башни, в самом центре комплекса каменных строений. С другой стороны, предположение, будто комната, содержавшая три стола и две "чернильницы", была тем местом, где благочестивые ессейские монахи трудолюбиво запечатлевали свои литературные творения, так никогда и не было надежно доказано. Тем не менее сторонники ортодоксальной "кумранской теории" по сей день именуют эту обвалившуюся комнату "скрипториумом". А другие авторитетные источники, вроде каталога "Сокровищ Святой земли", хотя и не упоминают "гипотезу скрипториума", но продолжают утверждать, что "переписывание священных книг" было одним из главных занятий поселенцев Кумрана.

При всей очевидной слабости гипотезы "скрипториума" одна деталь как будто бы действительно говорит в пользу того, что свитки на самом деле составлялись в Кумране: глиняные обломки, обнаруженные рядом со свитками в пещерах, тождественны по характеру черепкам, найденным в руинах поселения. Этот факт, а также грубое совпадение возраста черепков и обломков склонили археологов к мысли, что и сосуды, и свитки имеют кумранское происхождение и что свитки, перед тем, как их спрятать в пещерах, были уложены в глиняные сосуды. Эта точка зрения была предложена отцом де Во в книге "Археология и свитки Мертвого моря" и с тех пор стала нерушимым принципом веры всех специалистов по свиткам.

Конечно, сосуды, найденные в пещерах, действительно могли быть изготовлены в Кумране, но это еще не доказывает, что и свитки были написаны там же. На самом деле военный характер поселения и отсутствие всяких следов переписывания там

свитков говорят, скорее, против такого предположения. Оставляя пока в стороне вопрос о происхождении свитков, мы можем во всяком случае сказать, что раскопки в Хирбет-Кумран не только не подтверждают теорию ессейского авторства, но напротив — порождают серьезные сомнения в ней. И стоило этой теории обнаружить свою исходную слабость, как ее трудности стали стремительно возрастать по мере обнаружения все новых и новых свитков в различных пещерах.

К весне 1956 года свитки были найдены уже в одиннадцати пещерах, располагавшихся по склонам в радиусе двух миль от кумранского поселения. Иерусалимская группа исследователей во главе с отцом де Во и британским археологом Ланкестером Гардингом продолжала их изучение. Лишь отдельные свитки были найдены неповрежденными, другие рассыпались на тысячи фрагментов. Это делало невозможным точный подсчет, но и без того было ясно, что общее число исходных манускриптов доходит до пятисот, а может быть, даже до восьмисот. Труднейшая работа восстановления, анализа и публикации этих текстов — все еще далекая от завершения — была распределена между восемью членами группы, каждый из которых взял на себя ответственность за определенное число фрагментов.

Вскоре стало очевидно, что в свитках представлен широкий спектр литературных тем и жанров. Среди текстов были найдены псалмы и религиозные песнопения, комментарии к библейским книгам и доселе неизвестные апокрифы, вроде "Книги Тайн" и "Притч Моисея". Здесь были поучения мудрецов, мессианские предсказания и даже гороскопы, короче — все разновидности литературы, которая могла бы иметь хождение среди палестинского еврейства в первом веке н. э., а также множество совершенно неожиданного. Лишь некоторые из этих текстов содержали доктрины, связанные с учением ессеев, а многие по существу даже противоречили тому, что говорили о ессействе Филон и Иосиф. Один такой текст (некогда, по всей видимости, составлявший дополнение к "Уставу Общины") был посвящен определению возраста, когда можно вступать в сексуальные отношения. Другой — так называемый "Свиток Псалмов" из одиннадцатой пещеры — излагал взгляды, которые вообще нельзя назвать иначе как эллинистическими и прямо антиессейскими.

Кумрано-ессейская теория, выдвинутая для объяснения лишь

первых семи свитков, не могла убедительно объяснить происхождение этого поразительно широкого и разнообразного литературного наследия. Тем не менее ее основатели и их ученики продолжали настаивать на ней; и вместо того, чтобы допустить, что все эти различные тексты могли быть написаны различными авторами, а не крохотной, изолированной группой отшельников, сторонники теории пытались все больше расширить свое толкование ессеизма. Французский ученый Андре Дюпон-Соммер в книге "Ессейские тексты из Кумрана", опубликованной в 1959 году, уже утверждал, что ессеи, по-видимому, составляли многочисленное и широко распространенное братство, а их учение в ходе длительной эволюции могло постепенно меняться. Эта гипотеза не встретила никаких возражений, несмотря на то, что Иосиф и Филон недвусмысленно утверждали, что ессеев в Палестине первого века н. э. было не более четырех тысяч, а раскопки в Кумране ничем не подтвердили, будто там находилась главная ессейская обитель. Все равно — в глазах исследователей ессеи уже превратились в большую и значительную группу, а Кумран — в главный центр еврейской литературной продукции.

В действительности весь этот поверхностный панессеизм не давал никакого исчерпывающего объяснения фактов, поскольку ему противоречило не только количество и разнообразие текстов, но также и *особенности их написания.* Археологов обычно не заботит, являются найденные ими древние тексты авторскими оригиналами или копиями переписчиков, имеют они документальный или литературный характер. Точно так же специалист по Библии не затрудняет себя вопросом, написан данный пергамент рукой самого пророка или рукой писца; такой специалист интересуется прежде всего содержанием текста, оригинал которого он, возможно, так никогда и не увидит. Специалисты по древнему письму довольно рано подняли все эти вопросы, но увы — иерусалимская группа не имела в своем составе ни одного такого специалиста. В результате, все эти тонкости — имевшие, как оказалось, решающее значение — прошли незамеченными.

Авторские оригиналы (иногда называемые "автографами") — это обычно неотделанные рукописи, полные вставок и вычеркиваний, тогда как копии, сделанные писцами, отличаются тщательно выдерживаемыми полями, изящной каллиграфией и почти полным отсутствием поправок. Если, как утверждает теория,

кумранское поселение было духовным центром ессеизма, если кумранские отшельники были не простыми переписчиками, а оригинальными мыслителями, чьи творения вдохновляли их последователей во всей Палестине, и если им пришлось наспех прятать свои труды в пещерах в связи с приближением римской армии, то следовало бы прежде всего ожидать, что сохранившиеся свитки будут представлять собой именно оригинальные тексты на разной стадии их завершения. Но из сотен свитков, найденных в кумранских пещерах и опубликованных до настоящего времени, только *один* является авторским оригиналом. Все остальные представляют собой переписанные *копии* прежде существовавших текстов.

Тот факт, что из пятисот или восьмисот чрезвычайно разнообразных по содержанию текстов, найденных в кумранских пещерах, только один является автографом, со всей очевидностью указывает, что первоначальным источником свитков был не "кабинет писателя" (то есть не пресловутый кумранский "скрипториум"), а какая-то большая *библиотека* (или даже несколько). Видимо, ощущая логическую неопровержимость такого вывода, некоторые сторонники кумранской теории выдвинули в последние годы гипотезу, что в дополнение к "скрипториуму" в Кумране имелась также монастырская библиотека. А поскольку в раскопках не было найдено ни единого следа такой библиотеки, они предположили, что она — как и сами монахи — находилась вне поселения, а именно — в тех пещерах, где были найдены свитки. Газета "Джерузалем пост" в статье, посвященной итогам анализа находок 1952 года в пещере номер четыре, так и писала (июнь 1985 года): "Пещера номер четыре была монастырской библиотекой, тогда как другие пещеры использовались для торопливого укрывания библиотечных свитков".

Эта наспех состряпанная гипотеза призвана объяснить почти полное отсутствие оригинальных манускриптов среди свитков, обнаруженных в кумранских пещерах: действительно, библиотеки обычно предназначены для хранения завершенных текстов, а не неотделанных рукописей. Но трудно представить себе, что такое небольшое, изолированное поселение в пустыне, как Хирбет-Кумран, располагало столь обширной библиотекой. Но еще труднее вообразить, будто кумранские ессеи, имея в своем распоряжении целый комплекс каменных строений, предпочли бы почему-то каждый день взбираться по крутым склонам в свои

пещеры, чтобы там предаваться чтению и другим ученым занятиям. Само появление подобной гипотезы показывает, в какой угол загнали себя сторонники исходной теории. Вынужденные признать, что пресловутый "скрипториум" должен был бы содержать не только копии, но и авторские оригиналы, они ищут выхода в существовании библиотеки. А столкнувшись с тем фактом, что кумранское поселение, судя по всему, такой библиотеки не имело, они загоняют эту библиотеку в пещеры.

Но даже если гипотеза "кумранской библиотеки" верна, она не может спасти основную теорию. Ибо немедленно возникает следующий вопрос: если кумранское поселение действительно было таким важным религиозным центром, почему его обитатели оставили нам только *литературные* тексты? Изучение других древних поселений вдоль Мертвого моря не оставляет сомнений, что евреи римских времен хранили и многочисленные иные документы. Когда в 1952 году археологи раскопали пещеры в Вади Мурабба'ат, ущелье в одиннадцати милях к югу от Кумрана, они нашли там письма, помеченные датами вплоть до 132 года н. э. (написанные от руки и содержащие точные географические названия и личные имена), а также большое количество самых разных юридических актов и соглашений. Если Кумран был административным центром большой религиозной общины, следовало бы ожидать, что и тут сохранится такого же рода корреспонденция и другие архивные записи, а не только литературные свитки.

В отсутствии подобных находок нам остается предположить, что пресловутые кумранские ессеи почему-то хранили архивные документы отдельно от литературных свитков, а время выборочно пощадило только эти последние, полностью уничтожив первые; либо же принять, что ессеи, в отличие от своих непосредственных соседей, не придавали никакого значения гражданским, личным и административным записям и не сохранили ни единого их следа, в то же время тщательно сберегая сотни литературных текстов. Сторонникам кумранско-ессейской теории предстоит еще ответить на все эти вопросы; увы, покамест они их попросту игнорировали.

Казалось бы, все эти многочисленные и трудные противоречия кумрано-ессейской теории должны были давным-давно убедить в ее несостоятельности. Тем не менее специалисты по свит-

кам продолжают не только настаивать на ней, избегая всех серьезных вопросов, но и вдобавок игнорировать те два открытия, которые недвусмысленно указывают в совершенно ином направлении. Первое из этих открытий связано с так называемым "Медным свитком".

Когда "Медный свиток" — в виде двух свернутых в трубочку обломков тонкого медного листа — был впервые обнаружен в 1952 году в третьей пещере, он был так хрупок, что его нельзя было развернуть. Но уже по следам, проступившим на обратной стороне свитка, исследователи поняли, что он содержит описание ценных вещей, спрятанных в различных потайных местах. Понадобилось четыре года, чтобы развернуть этот свиток в специальной лаборатории, с соблюдением всех мер предосторожности, а затем дешифровать. Любопытно, однако, что даже не дождавшись опубликования текста, исследователи тем не менее выступили с заявлением, в котором заранее подвергали сомнению историческую достоверность находки. Они заявили, что ценности, места укрытия которых перечислены в "Медном свитке", являются абсолютно вымышленными. "Трудно понять, — говорилось в сообщении, — почему кумранские ессеи так заинтересовались этими легендами о скрытых сокровищах, что сочли необходимым даже выгравировать их на меди, дорогостоящем тогда металле... Как бы то ни было, этот путеводитель по тайникам и кладам является древнейшим документом подобного рода и, как таковой, представляет особый интерес для исследователей фольклора".

Однако после опубликования в начале 60-х годов полного текста "Медного свитка" стало очевидно, что он не имеет никакого отношения к фольклору. Более того, в отличие от подавляющего большинства кумранских свитков, "Медный свиток" — и только он один — содержал вполне четкие указания на свою собственную историю. Его текст был написан не элегантным почерком профессионального писца, а в том неряшливом и торопливом стиле, каким обычно пишутся оригинальные черновики документов. Он содержал сухое, четкое перечисление различных ценных вещей — *включая письменные документы,* — спрятанных в многочисленных тайниках в Иудейской пустыне. В тексте было даже указание, что "дубликат этого документа" можно найти "в колодце ... к северу от Котата". Сегодня уже невозможно установить, где именно находилось это место, как невозможно

и опознать, совпадал ли какой-нибудь из перечисленных в "Медном свитке" тайников с нынешним Кумраном. Но многие из названных в свитке тайников расположены, подобно Кумрану, в ущельях вади, то есть в высохших долинах пустынных рек, которые тянутся к югу и к востоку от Иерусалима. Текст упоминает, например, тайник вблизи Йерихо, где действительно в третьем и девятом веках были найдены древние книги.

Использование столь многочисленных географических названий, характер письма, манера перечисления и упоминание о дубликате списка — вместе с тем фактом, что весь текст был выгравирован на меди, а не написан на пергаменте, — все это свидетельствует об исторической подлинности данного свитка. Он должен был бы, наконец, указать на возможность другого истолкования всей загадки кумранских текстов. Ведь он описывает не просто единичное захоронение нескольких сот рукописей в отдельной группе пещер (как того требует кумрано-ессейская теория), а широчайшую кампанию рассредоточения книг и других ценных предметов в различных местах Иудейской пустыни, образующих сеть, *нити которой стягиваются* не к Кумрану, а к *Иерусалиму.* Тот факт, что этот свиток был первоначально — причем задолго до публикации и оценки его подлинного значения — квалифицирован, как "фольклор", можно объяснить только желанием во что бы то ни стало защитить исходную теорию от этого недвусмысленного и сокрушительного опровержения.

Другое открытие, связанное с кумрано-ессейской теорией, тоже было сделано в начале 60-х годов и подтвердило то, о чем говорил "Медный свиток". В ходе раскопок в Масаде, крепости Ирода, расположенной в тридцати милях от Кумрана по берегу Мертвого моря, археологи обнаружили последний оплот еврейского сопротивления римлянам после захвата ими Иерусалима в 70-м году н. э. Здесь были обнаружены фрагменты еще четырнадцати свитков, содержавших библейские и апокрифические тексты. Свитки эти были сходны по времени и характеру письма с кумранскими; среди них был даже и отрывок одного из текстов, найденных ранее в Кумране, а именно — религиозного песнопения, получившего название "Песня субботней жертвы". Обнаружив этот кумранский поэтический текст в Масаде, археологи приписали его (как и все другие найденные там тексты) все тем

же ессейским монахам. В действительности однако фрагменты из Масады указывают на совершенно иной источник.

В данном случае было бы нелепо утверждать, будто свитки, найденные в Масаде, были там же и написаны; местоположение находки среди руин показывает, что свитки принадлежали защитникам крепости, которые бежали от римского вторжения. (Защитники занимали только одну часть крепости, и именно в этой части, среди следов сражения, были найдены свитки.) А поскольку большинство беглецов было родом из Иерусалима, логично было бы предположить, что и свитки принесены ими оттуда же, вместе с другим имуществом, которое они ухитрились вынести из осажденной столицы. В конце концов, Иерусалим был в те времена крупнейшим центром палестинского еврейства и, вплоть до римской осады, кипучим центром его духовной и культурной жизни. Когда его оборона была, наконец, сломлена, поток беженцев мог устремиться во все стороны, в том числе и на юго-восток, в сторону Масады.

Сторонники кумрано-ессейской теории не отрицают этих фактов. Но они говорят, что свиток с "Песней субботней жертвы" (которая, напомним, была найдена до этого в Кумране) принесли на Масаду не беженцы из Иерусалима, а — ессеи из Кумрана. Когда Игаэль Ядин впервые выдвинул эту гипотезу в своей книге "Масада: крепость Ирода и последний оплот зелотов" (1966 год), он обошел молчанием вопрос о том, откуда взялись в Масаде остальные тринадцать свитков, — и его последователи до сих пор избегают обсуждения этого вопроса. Во всех их книгах и статьях о свитке с "Песней" говорится так, будто он был найден в горделивом одиночестве, а его сходство с текстом из Кумрана — единственный ключ к загадке его происхождения.

Одна из причин такого умолчания может состоять в том, что само упоминание о Иерусалиме способно подорвать всю кумрано-ессейскую теорию. Действительно, если допустить, что тринадцать свитков имели источником Иерусалим, трудно утверждать, что четырнадцатый почему-то имел другое происхождение. А если *все* свитки Масады имели *иерусалимское* происхождение, то почему и кумранские свитки не могли быть написаны там же? Ведь свитки Масады ничем не отличаются от кумранских: характер письма и возраст у них примерно одинаков. Не разумнее ли тогда предположить, что и свитки, найденные в Кумране — в пеще-

рах в десятке миль к югу от Иерусалима, — тоже были принесены в пустыню жителями столицы во время и после ее осады?

Но это именно то, о чем говорит "Медный свиток" и к чему ведет вся имеющаяся совокупность фактов. Находки в Кумране и Масаде, равно как и более ранние обнаружения древних еврейских текстов в других местах Иудейской пустыни (около Йерихо и т. п.), доказывают, что в период между 68-м и 70-м годами, в предвидении осады, жители Иерусалима предприняли целенаправленное и массовое захоронение всех ценных свитков и документов в пещерах Кумрана и многих иных подобных местах, а кое-что спасли уже после падения столицы, когда бежали в Масаду от римских захватчиков. Эта гипотеза не только объясняет все известные нам факты, но вдобавок еще и свободна от тех несообразностей, которыми изобилует кумрано-ессейская теория. Она не требует сомнительных допущений, вроде того, что женатые ессейские монахи жили в одном и том же месте с давшими обет безбрачия; она не предполагает ни ессейских воинов, сражающихся с римлянами, ни загадочных комнат, где монастырские писцы производят невероятное количество свитков; она не объявляет единственный кумранский автограф причудливой народной сказкой; она не понуждает замалчивать происхождение тринадцати остальных свитков Масады. И она согласуется с полным отсутствием оригинальных текстов среди свитков, найденных в кумранских пещерах.

По этой теории кумранская крепость была всего лишь крепостью; комната с двумя "чернильницами" — всего лишь служебным помещением или залом собраний; а "Медный свиток" был записан на меди по вполне резонной причине. И сотни текстов, найденных в Кумране, характеризуют вовсе не эволюцию или внутренние противоречия единичной экзотической секты, а поразительное богатство еврейской книжной культуры в период между Ветхим и Новым Заветами. Тот факт, что многие из идей, содержащихся в свитках, кажутся нам далекими от раннего иудаизма, говорит лишь о недостатке нашего знания дораввинистической еврейской мысли. Возможно, за некоторые из этих идей были ответственны второстепенные группы или индивидуальные мыслители, но и такие "периферийные" идеи только добавляли к общему богатству того еврейского литературного наследия, которое, к счастью, сохранило для нас время.

Мысль о том, что главное влияние на раннее христианство оказала изолированная и своеобразная секта ессеев (а стало быть, *не основной поток* еврейской религиозной мысли), несомненно повлияла на все последующие представления о характере взаимоотношений между двумя великими религиями. Католики и протестанты, листая каталог выставки "Сокровища Святой земли", наверно, ощущали определенную симпатию к безвестной секте, которая якобы создала кумранские тексты. Но если все те христианские идеи, которые приписываются ессеям, в действительности, как убедительно показывают факты, возникли в *основном* потоке иудаизма, то это ощущение религиозного родства должно было бы несколько расшириться. Иудаизм и христианство перестают быть дальними теологическими родственниками и становятся значительно более близкими родичами.

Если бы "Медный свиток" и тексты Масады были открыты раньше, чем другие свитки, эта гипотеза, несомненно, была бы выдвинута первой. Но ко времени этих открытий мнение специалистов успело окостенеть и никакие новые факты уже не могли его поколебать. На сегодняшний день ни один сторонник кумрано-ессейской теории не может дать связного, пункт за пунктом, ответа на все ее трудности. А тем временем множатся книги, статьи и диссертации, исходящие из этой теории, как из доказанного факта, и замалчивающие все новые и новые свидетельства ее сомнительности. Так нельзя ли надеяться, что нынешняя, сороковая годовщина первого открытия положит начало критическому пересмотру?

Профессор Голб преподает еврейскую и арабскую историю в Чикагском университете, является членом французского Исторического общества и автором ряда работ по анализу кумранских свитков, опубликованных в течение последних тридцати лет; эта тема лежала также в основе его докторской диссертации и составляет предмет курса, который он ведет в Чикагском Восточном институте.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Сергей Шаргородский

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, ИЛИ ЧУДОВИЩНАЯ ИСТОРИЯ

История эта, как и многие другие, начинается со стука. Опережая деловой треск ремингтона, топая за каблучками IX разряда машинисточки по обледенелой мостовой, раздается в ней самый прозаический и зловещий стук в дверь. Ровно 60 лет назад, в дверь флигеля, что во дворе дома номер девять по Обухову московскому переулку. "Это я, гостей к вам привел", — слышится за дверью бодрый голос арендатора. На пороге появляются двое — человек в пенсне и просто невысокого роста человек — следователь Славкин и его помощник с обыском.

Славкин просматривает книги, пенсне переворачивает кресла, прокалывая их длинной спицей. Несколько часов спустя, под утро, Славкин и его помощник отбывают, унося с собою негорючую рукопись и дневниковые записи хозяина.

Законному владельцу рукопись была возвращена лишь года через два, по настоянию Максима Горького[1]. Но злоключения рукописи — а рукописи (цитата) судьба — на этом не завершились. Судьба "Собачьего сердца" оказалась не слишком счастливой.

Булгаков начал работу над "Собачьим сердцем" в январе 1925 года, спустя три месяца по окончании первой своей фан-

тастической повести, "Роковых яиц". Работал он с поразительной быстротой, и уже 14 февраля читал повесть у Н. С. Ангарского, повелителя гадов земных и издательства "Недра": именно в шестом альманахе "Недр", увидевшем свет примерно в то же время, и проклюнулись пресмыкающиеся курочки Персикова.

"Собачье сердце" было окончательно доработано в марте 1925 года, но опубликовать повесть не удалось, несмотря на все ухищрения Ангарского[2]. Ровно год спустя, в марте 1926-го, МХАТ (привлеченный, как видно, домашней коробкой повести, почти полным соблюдением четырех единств) подписывает с Булгаковым договор на инсценировку "Собачьего сердца". Договор был расторгнут в апреле 1927 года; за это время, как мы уже знаем, "Собачье сердце" успело попасть в органы[3].

Далее на сцену является кирпич цензуры, "налево пойдешь... направо...", традиционный трезубец русской словесности — путь повести разветвляется на отечественный и зарубежный.

В пределах отечества, вплоть до недавнего времени, запрещено было упоминать самое название "Собачьего сердца", так что Мариэтта Чудакова, виднейшая советская исследовательница творчества Булгакова, вынуждена была прибегать к эвфемизмам типа *повесть* и, как добавляет Элленди Проффер, "затемнять смысл сюжета"[4]. Лишь в 1987 году редколлегия "Знамени" объявила, что повесть будет напечатана в июньской книжке журнала*, а Чудакова печатно упомянула название повести Булгакова в своей публикации варианта главы "Белой гвардии"[5].

На Западе повесть была впервые опубликована в 1968 году в журнале "Грани", перепечатана затем в альманахе "Студент" и, год спустя, вышла отдельным изданием в издательстве "ИМКА-пресс"[6].

Библиография западных работ по "Собачьему сердцу" чрезвычайно кратка; как справедливо отмечает Диана Бургин, все внимание критиков и литературоведов было поглощено magnum opus'ом Булгакова, романом "Мастер и Маргарита"[7]. Приведем беглый обзор работ, специально посвященных "Собачьему сердцу".

Кристина Райдел в статье "Булгаков и Г. Уэллс"[8] подмечает, что повесть Булгакова во многом базируется на "Острове доктора Моро" английского фантаста, в то же время являясь по отношению к этой вещи Уэллса "экстраординарной литературной имитацией, зачастую напомина-

---

** Автор не смог ознакомиться с этой публикацией до сдачи статьи в печать.*

ющей пародию". Между прочим, в своей фантастике Булгаков нередко использует чужие фантастические допущения: в пьесах "Блаженство" и "Иван Васильевич" появляется изобретенная Уэллсом машина времени, "луч жизни" в "Роковых яйцах" отталкивается от тепловых лучей уэллсовских же марсиан и, предположим, "лучей смерти" Н. Карпова[9]. Нередки у Булгакова и пародийные имитации "фантастико-приключенческого" жанра: пьеса "Багровый остров" пародирует Жюль Верна, "Роковые яйца" — литературу так называемого "красного Пинкертона"[10].

Элен Госцилло в работе "Точка зрения в *Собачьем сердце* Булгакова" рассуждает, главным образом, о нарративной технике повести и, как и следовало ожидать, обнаруживает здесь четыре "нарративных голоса": Шарика-собаки, доктора Борменталя, профессора Преображенского и "бесстрастного" (беспристрастного тож) комментатора[11].

Питер Дойл в статье "Сатирический взгляд Булгакова на революцию: *Роковые яйца* и *Собачье сердце*" рассматривает очевидный сатирический аспект повести, но приходит к довольно неожиданным выводам. Конечно, пишет Дойл, как политическая сатира "Собачье сердце" гораздо сильнее "тонкой" повести "Роковые яйца", однако "эстетически это гораздо менее удовлетворительное произведение"![12]

Лобовые политизированные трактовки заводят некоторых исследователей весьма далеко. Так, Горбов пишет в "Возрождении" (1970), что вторая произведенная над Шариком операция символизирует стремление возродить НЭП; в предисловии к английскому изданию повести, Гленни прямо идентифицирует профессора Преображенского с Лениным, а еще один исследователь расшифровывает "значащие" имена персонажей повести, разворачивая их в целый революционный пантеон (тут и Дзержинский, и Троцкий, и Зиновьев, скрывающийся под маской невинной девушки Зины Буниной...)

Доходит и до курьезов. Упомянутая Диана Бургин в работе "Булгаковская ранняя трагедия ученого-творца: интерпретация *Собачьего Сердца*" пишет буквально следующее: "Странное имя и отчество Шарикова (Полиграф Полиграфович. — С. Ш.) ... как эмблема сути этого создания, также ироничны, ибо "Детектор Лжи, сын Детектора Лжи" есть метафизическая ложь".[13]

Бургин запамятовала, что в русском языке слово *полиграф* для обозначения детектора лжи не используется, не говоря уж о времени изобретения этого аппарата; между тем вполне понятно, что в имени и *наследственной* фамилии героя переплелись отголоски Гоголя и намек на современное Булгакову официальное издательство "Мосполиграф", печатавшее его произведения. Впрочем, в работе Бургин, трактующей повесть Булгакова как вариацию на тему "Фауста", есть одно чрезвычайно ценное наблюдение, к которому мы в дальнейшем вернемся.[14]

Можно было бы упомянуть еще несколько работ, но это представляется излишним. Стоит отметить лишь дельное предисловие Э. Проффер к 3-му тому собрания сочинений Булгакова в издательстве "Ардис", подытоживающее исследования предшественников.[15]

Повесть Булгакова остается сплошным белым пятном. То ли курсовой учебник по теме "рассказчик — герой — точка зрения",

то ли имитация фантастики западного образца, то ли политическая агитка, разминка будущего евангелиста.

...Рукопись, сохранившаяся в архиве Ангарского, озаглавлена так: "Собачье счастье. Чудовищная история".

Проффер предполагает, что Булгаков "изменил название, когда кто-то сказал ему, что оно уже было использовано Куприным в рассказе о собаках, представляющем собой прозрачную аллегорию".[16] А название было куда как удачно: *собачье счастье* иронически перефразирует *собачью радость,* как именовали дешевую колбасу; как мы помним, именно колбасой подманивает Шарика Филипп Филиппович Преображенский — но колбаса, как выясняется далее, не какая-нибудь полтавская, но *краковская,* пся крев...[17] Новое название потребовало подпорки в виде высказывания Преображенского о собачьем и человеческом сердцах.

Ничего нового, разумеется, Булгаков не изобрел. До него животные в качестве рассказчиков фигурировали во всей мировой литературе — от Аристофана и Апулея до Гофмана и Кафки. Четвероногие приемы остранения гуляли по страницам "Записок сумасшедшего", "Холстомера", "Песьих душ" Федина, замятинских "Глаз" (рассказ этот был опубликован в вышедшем в 1922 году в Берлине "петербургском сборнике рассказов", носившем примечательное название "Собачья доля").

Но перечисленные авторы, за исключением Гоголя, Булгакова в данном случае интересовали мало. Гораздо большее внимание уделяет он русским символистам. И дело не только в том, что — как верно указывают М. Каганская и З. Бар-Селла — Булгаков воспринимал действительность сквозь призму, коей служил "язык позднего символизма и антропософии".[18] Дело в том, что между "Собачьим сердцем" Булгакова и действительностью стояли *тексты;* аллегорический язык символизма, воспринятый из вторых и третьих рук, Булгакову не был нужен: тексты символистов он, как мы надеемся показать, знал не опосредованно.

Секрет повести Булгакова кроется в ее экспозиции. Давайте-ка припомним: зима, вьюга, в шубе господин, собака с обожженным боком. И описан господин Преображенский что-то уж очень любопытно: "Он... с *французской* остроконечной бородкой и *усами седыми,* пушистыми и лихими, как у *французских рыцарей".* Один только запах подкачал — *запах,* как сказано, "по метели от него летит *скверный".* Конечно, приметливый глаз приметит здесь изображение Павлова — при месте и усы, и бородка,

и собака с условным слюновыделением (желающих отсылаем к известному портрету работы Нестерова); но — минуя Павлова — не приходилось ли нам уже где-то это читать?

Приходилось. У символиста Федора Сологуба, о собаках много писавшего, автора стихотворения "Высока луна Господня" ("Ни одна вокруг ни лает из подруг..." и т. д.), автора цикла "Когда я был собакой" (см. в книге "Алый мак", 1917) и, наконец, автора "Собаки *седого* короля"[19], где дан весь Преображенский с его сединами и французским рыцарским обликом, вплоть до скверного запаха:

Кому служил я верно
То был король один,
Он пахнул тоже скверно
Но он был властелин.

"Запах по метели от него летит скверный", сказано прямой цитатой у Булгакова. Пес Шарик *"диким воем* так напугал какую-то *даму*, что она села на тумбу"; сологубовский пес сообщает нам следующее: "И *дамы* пахли кисло/терзая чуткий нос... Я часто *скалил зубы/ворча* на этих шлюх..."

Итак, некоторое сходство, несомненно, имеется — но, если нам не изменяет память, бедняга булгаковский Шарик страдает от ожога. Неужели и Сологуб подверг свою собаку подобному тяжкому испытанию?

Опасную игрушку
Придумал навязать
Он мне на хвост: гремушку
Способную пылать (...)

Хвостом косматым пламя
Восставил я, дрожа
Как огненное знамя
Большого мятежа.

Я *громко выл* и лаял...

"Я *теперь вою, вою,* да разве воем поможешь", — зачинает булгаковский пес, чья судьба разворачивается в полном соответствии с заданной Сологубом программой. К примеру, читателю Булгакова понятно, что Преображенский вовсе не случайно подобрал собаку, что он намеревался подманить "райским запа-

хом" особой краковской какого-нибудь бездомного пса (колбасу эту домашним есть воспрещается, а Преображенский, заметив Шарика, "многозначительно молвил": "Ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо".) Обман, связанный с запахом, есть и у Сологуба: "Удел безмерно грустный/Собакам бедным дан/И *запах самый вкусный*/Исчезнет, как *обман*". Совершенно замечательна концовка стихотворения, полностью очеловечивающая собаку — раскрытие приема и потеря чутья:

Ну вот, живу я паки
Но тошен белый свет:
Во мне душа собаки
Чутья же вовсе нет.

Сологуб, повязавший злой шуткой собаку с "огненным знаменем большого мятежа", приводит нас к другому поэту-символисту, автору поэмы о революции, которая ко времени написания повести Булгакова стала классической.

Упреждая разбор тонких взаимоотношений, сложившихся между текстом Булгакова и замечательной революционной поэмой, нам придется заговорить сухим языком поэтики цифр. Цифровые обозначения и выкладки играют у раннего Булгакова существеннейшее значение, на них строятся целые главы или отрывки. К примеру, в "Роковых яйцах" на протяжении пяти с половиной страниц первой главы содержится 52 цифровых обозначения! Зачастую они не несут никакой смысловой или сюжетной нагрузки, исполняя лишь комическую функцию; в "Собачьем сердце" так строится описание машинистки в первой главе, история болезни, спор Преображенского с Шариковым о равноправии или эпизод со Швондером и подсчетом комнат в квартире.

Игру Булгакова с магическим числом "пять" подчеркивает Б. Гаспаров в своей работе "Из наблюдений над мотивной структурой романа *Мастер и Маргарита*".[20] Нетрудно заметить, что в данном случае мы имеем дело с другим, не менее магическим числом — 12.

С ним, с числом этим, связаны важнейшие события повести. Действие "Собачьего сердца" начинается в декабре, двенадцатом месяце 24-го (дважды двенадцатого) года. Пес обварен кипятком в полдень, то есть в двенадцать часов дня. В Калабуховском доме, где живет профессор Преображенский, двенадцать квартир. 24 декабря (дважды двенадцатого числа двенадцатого месяца) у Шарика наступает улучшение после операции. В 12 часов 12 минут, отмечает ассистент Преображенского Борменталь, пес произнес свое первое слово — "отчетливо пролаял АБЫР". Двенадцатого января, аккуратно записывает Борменталь, он уже "поддерживал разговор".

В русской литературной традиции число это, до появления "Двенадцати стульев", было прочно закреплено лишь за одним произведением.

Итак, мы пошли другим путем, но внутренняя логика текста снова привела нас к "Двенадцати" Блока. Уже сама экспозиция повести с вьюгой, холодом и метелью напоминает "Двенадцать". Можно было бы приписать это тому, что Булгаков, не слишком долго думая (особенно если учесть скорость написания), дал некую обобщенную, расхожую картину. Но против этого соображения свидетельствует цитатное использование Булгаковым текста поэмы; за этими цитатами скрывается выстроенная Булгаковым система соотношений между двумя текстами.

"Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху *барышню. Юбченку взбила до колен* (...) Наклонив голову, барышня бросилась в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее *вертеть, вертеть, раскидывать,* потом завинтило снежным винтом, и она пропала". Такова булгаковская метель.

Теперь взглянем на метель Блока:

Вон *барыня* в каракуле
К другой подвернулась:
Уж мы плакали, плакали
Поскользнулась
И — бац — *растянулась...*
Ветер веселый
И зол, и рад,
Крутит подолы...

Буржуйское происхождение Филиппа Филипповича Преображенского пес Шарик с его обостренным классовым чутьем определяет безошибочно и странно — по воротнику.

"Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ и даже — вернее всего — *господин.* Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. *Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать...",* — так размышляет пес при виде господина Преображенского.

Что это, действительно, за вздор и при чем тут воротники, тем более что бобры все повывелись и морозной пылью давно уж ничего не серебрится?

Объяснение дает текст Блока, словно изображающий и Преображенского, и Шарика:

Стоит *буржуй* на перекрестке
И в *воротник* упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавши хвост, *паршивый пес.*

(и верно, Зина, впервые увидев Шарика, восклицает: "Батюшки! До чего *паршивый!*)

Стоит буржуй, как пес, голодный
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный
Стоит за ним, поджавши хвост —

продолжает Блок. Но у Булгакова все наоборот, его "буржуй" должен быть подчеркнуто сыт: "Этот тухлой солонины лопать не станет... этот ест обильно". Да и пес не такой уж паршивый, а лишь обожженный, как замечает Преображенский в ответ на восклицание Зины.

Любопытно это "обожженный" сологубовский пес получает ожог по вине слуги, пажа; булгаковский пес — по вине пролетария-повара "столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства"; но у Сологуба ожог приравнен к "огненному знамени большого мятежа", у Блока пес символизирует "старый мир"; Шарик — обожжен революцией...

В описании метели у Булгакова встречается еще одна странная фраза, понятная лишь в соотнесенности с текстом Блока: "Вьюга захлопала *из ружья* над головой, *взметнула громадные буквы полотняного плаката:* "Возможно ли омоложение?" Текст Блока проясняет сочетание вьюги, ружья и плаката:

Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
"Вся власть Учредительному Собранию!"
...Старушка убивается, плачет
Никак не поймет, что значит
На что такой плакат
Такой *огромный лоскут?*

Вместо вполне реального плаката, упоминаемого Блоком, Булгаков пишет "Возможно ли омоложение?" — цитату из самой повести. Это, однако, еще одна — на сей раз внетекстовая — отсылка к Блоку, поэма которого цитировалась на плакатах еще при жизни автора. Вот свидетельство современника:

"Большевики... с удовольствием пользовались "Двенадцатью": где только ни болтались тряпки с надписью: "Мы на горе всем буржуям/Мировой

пожар раздуем". Видели мы более смелые плакаты, из тех же "Двенадцати": "...Эй, не трусь! Пальнем-ка пулей в святую Русь".[21]

А вот как открывает свою книгу воспоминаний другой современник:

"Ранней осенью 1918 года я встретил на Невском проспекте Александра Блока. Поэт стоял перед витриной продовольственного магазина, за стеклами которой висели две бумажных полосы. На них были ярко оттиснуты слова: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем", а на другой — "Революцьонный держите шаг! неугомонный не дремлет враг!" Под каждой из этих строк стояла подпись: "Александр Блок".

Все тот же современник, Корнелий Зелинский, пишет, что строки "Стоит буржуй как пес голодный"... недаром стали в те годы классической формулой отношения к свергнутому собственническому строю..."[22]

Таким образом, повесть Булгакова отталкивается от "Двенадцати" Блока, а "классическая формула отношения к свергнутому собственническому строю" превращается в его воспевание устами того самого буржуя и паршивого пса. И если булгаковский плакат гласит: "Возможно ли омоложение?", то пес, паршивец, тут же подхватывает: "Натурально, возможно..." Но что есть омоложение, как не возвращение в прошлое?

Повесть Булгакова, этот негатив "Двенадцати", развивается по линии, намеченной Блоком, у которого в финальной сцене пес отстал от буржуя и примкнул к красногвардейцам,[23] а впереди видится фигура Христа.

Естественно ожидать, что христианский миф отразится в повести. Исследователи отмечали, что с Преображенским связана тема "жреца" и "божества" (как он прямо назван в тексте Булгакова). В уже цитировавшейся работе Бургин удается убедительно показать, что хронология произведенной над псом операции связана с христианской хронологией Рождества.[24]

"Отношения Филиппа Филипповича и Шарикова, — пишет Бургин, — это случайное антитворение, пародия на христианские отношения между Богом и Христом". Бургин отмечает, что фамилия "Преображенский" несет двойную символическую нагрузку. Рождение Шарикова — "это пародия на Рождество, совпадающая с сезоном Рождества: 23 декабря 1924 — 17 января 1925 года". Борменталь записывает 26 декабря (на следующий день после Рождества), что в состоянии Шарикова произошло "некоторое улучшение". Далее, Шариков произносит свои первые слова 6 января (в день Богоявления). Появляется Шариков в период, когда Москва полнится апокалиптическими слухами, он отличается животными чертами, создает с помощью "малого демона" Швондера переворот в профессорской квартире, устраивает потоп (традиционный апокалиптический символ), за что Зина называет его "дьяволом проклятым". Далее, продолжает Бургин,

превращение Шарикова — антитеза преображения Христа, который является облеченным в белые одежды. Вместо этого, цитирует Бургин, происходит вот что: "На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом..." В Евангелии после преображения Христа следуют слова: "Сей есть Сын мой возлюбленный..." У Булгакова: "Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули. — Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!"[25]

Версия Бургин представляется нам правильной, но требует некоторых уточнений. Так, описание Шарикова, приведенное выше, вероятней всего связано не с Преображением, а с другим библейским мотивом: "Цвет... на стене видел пылающий *факел*..." — надпись, начертанная "против лампады на извести стены чертога" Валтасара, которая в русской транскрипции звучит как "мене, мене, *текел* упарсин" и, как известно, грозит бедой (Даниил, 5).

На Рождество же указывает и "густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой".[26] А где ночь и рождественская звезда, там и "Ночь перед Рождеством", там и Гоголь — и вот появляется ухажер кухарки Дарьи Петровны, лицо которого неожиданно названо "портретом". Этот *портрет* обнимает Дарью Петровну, чье лицо также примечательно — оно "горит мукой и страстью все, кроме *мертвенного напудренного носа*".

Посмотрим теперь, что за слово произносит Шариков первым? Произносит он слово АБЫР, которое затем дополняется до АБЫРВАЛГ. По расшифровке Преображенского, это означает "рыба" и "главрыба". В контексте анти-Рождества, слово не столь уж невинное: рыба — древнейший символ Христа (гр. "рыба" рассматривается как "Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель", сам Христос именуется "Рыбой", христиане соответственно "рыбаками" и т. д.), а произнесение этого слова наоборот намекает на инверсию мессы, *черную мессу*. Отсюда 6-го января, в день Богоявления, первое отчетливо произнесенное псом слово — "пивная" и запись Борменталя в дневнике: "*черт* знает, что такое" (на неоднократное употребление слова "черт" в повести и демоническую окраску Преображенского уже указывали исследователи).[27]

К рыбе и дневнику Борменталя мы еще вернемся. Но пока мы уже видим, что "Собачье сердце", переводящее символические фигуры блоковской поэмы в план бытовой фантастики, — первая попытка Булгакова сконструировать новое Евангелие, повторенная затем в "Мастере и Маргарите". Не стоит превращать Булгакова в апостола Михаила: отметим только, что Евангелие его бытовое, как и фантастика.

"Собачье сердце" и "Роковые яйца" соединены с "Мастером и Маргаритой" целым рядом связей-трансформаций. Так, в "Собачьем сердце" ассистентом Преображенского выступает *Иван* Арнольдович Борменталь, "очень красивый, молодой с острой бородкой"; в "Роковых яйцах" появляется его двойник, ассистент Петр Степанович *Иванов,* описанный как "изящнейший джентльмен с острой белокурой бородкой". Будущее белокурых джентльменов одинаково: Преображенский называет Борменталя "будущим профессором", Иванов также становится профессором, который пытается повторить эксперимент, вызвать луч жизни; в третьей ипостаси этот образ — ставший профессором поэт *Иван* Николаевич Понырев (Бездомный), припоминающий в бреду "широкую лунную дорогу", лунный луч Мастера. Но тот же *Бездомный,* приметивший на визитной карточке Воланда "напечатанное иностранными буквами слово "профессор", но не успевший разобрать фамилию незнакомца — это трансформация *"бездомного"* по собственному определению пса, не понявшего написанного на двери Преображенского слова "профессор" ("ученое слово, и Бог его знает, что оно значит..."). Да и Воланд, предстающий "профессором черной магии" — эхо Преображенского, "седого волшебника", о котором один из пациентов говорит: "Вы *маг* и чародей, профессор".

Маг и чародей занимается омоложением по методам Штейнаха-Лихтенштерна-Воронова, популярным в 1910-е и 1920-е годы. С работами этими Булгаков мог познакомиться по публикациям в популярных журналах, профессиональным статьям или по книге С. Метальникова "Проблема бессмертия и омоложения в современной биологии", вышедшей в Берлине в издательстве "Слово" в 1924 году. В 1920 году вышла в свет работа Штейнаха "Омоложение",[28] где приведены лабораторные дневники опытов по омоложению самцов крыс (перевязка выносящих каналов семенных желез). Вот отрывок из дневника № 9:

22 ...через 2 с половиной недели после операции. На мошонке и спине появляются новые волосы. Животное усердно чистится. Шкура делается чище и блестящее. Большая прожорливость. Вес прибавляется...

29 ...Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и боках туловища.

30 ...Выпадение шерсти приняло характер общего облысения... колоссальный аппетит.

Мы осуществили здесь небольшую контаминацию, совместив — до совпадения! — дневник Штейнаха и дневник Борменталя (две последние записи), который недаром носит немецкую фамилию, как и венский ученый.

"Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями... Повторяющиеся... эротические сны и возбуждения вынудили меня, наконец, искать естественного удовлетворения. Я, дорогой профессор, только в виде опыта. Моя рука, которая сильно дрожала, теперь очень тверда... и способна к самым тонким манипуляциям. 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. В последний раз в 1899 году в Париже на рю де ла Пэ".

Первая, третья, пятая и шестая фразы взяты из повести Булгакова, вторая и четвертая — из письма пациента, цитируемого Лихтенштерном, работавшим по методу Штейнаха. Но при чем тут Париж? Париж, конечно, стоит черной мессы — как свидетельствуют "шелковые черные кошки" на кальсонах пациента Преображенского. Но в Париже работал и С. Воронов, пересаживавший людям яичники обезьян; а именно яичники обезьяны, как мы помним, профессор Преображенский собирается пересадить одной из своих пациенток.

...Теперь вернемся к "Главрыбе". Слово это Шарик подцепил с вывески: читать он учился по цветам и, наконец, по вывескам, что до него уже проделал Владимир Маяковский, признававшийся: "А я обучался азбуке с вывесок". Неудивительно, что Булгаков язвительно замечает: "Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве), и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов", а Шарик не менее язвительно перефразирует Маяковского: "Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме". Какой-то своей гранью Шарик отразил и Маяковского.

"Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки. Такую железную улыбку я видел у него несколько раз, в частности в тот день, когда я познакомил его в редакции "Красного перца" с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником.

Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лефовца, знаменитого поэта-революционера; его пронзи-

тельные, неистовые жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я понимал, что Булгакову ужасно хочется помериться с Маяковским силами в остроумии.

Оба слыли великими остряками.

Некоторое время Булгаков молча настороженно ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решился:

— Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.

И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритональным басом:

— Тимерзяев.

— Сдаюсь! — воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки.

Маяковский милостиво улыбнулся.

Своего профессора Булгаков назвал: Персиков".[29]

Своего пса Булгаков назвал: Полиграф Полиграфович... Приведенный отрывок взят из "Травы забвения" В. Катаева, который, очевидно, подтасовывает факты, исходя из запрета на упоминание "Собачьего сердца". Шутку Маяковского, обыгрывающую фамилию русского биолога К. А. Тимирязева, можно объяснить лишь знакомством с "Роковыми яйцами"; этим объясняется и "профессорский" выпад Булгакова. Тимирязев показал, что хлорофилл поглощает только *красные,* синие и фиолетовые из видимых лучей спектра — *красный луч* вызывает к жизни монстров Персикова. Знакомством с "Роковыми яйцами" объясняется и другая реплика Маяковского, приводимая Катаевым: Маяковский, "улизнувший" после третьего акта "Дней Турбиных" во МХАТе, на вопрос Маркова: "Ну, что вы скажете?.." ответил: "Не знаю. Не видел хвоста. Поэтому не могу и определить, что за зверь ваш Булгаков: крокодил или ящерица".[30]

Мало того — во время поездки по Америке Маяковский отмечает, что одна из тамошних газет пересказала сюжет "Роковых яиц" как происшествие, имевшее место в действительности. Впоследствии Булгаков неоднократно обращался к творчеству и образу Маяковского (см. прослеженные в работе Гаспарова параллели Бездомный-Рюхин-Маяковский и приведенный у Чуда-

ковой стихотворный набросок Булгакова, связанный с предсмертными стихами Маяковского).[31]

Таким образом, изложенный Катаевым разговор мог состояться лишь непосредственно после опубликования "Роковых яиц" и в период работы Булгакова над "Собачьим сердцем". Своего пса Булгаков назвал Полиграфом Полиграфовичем, заставив цитировать Маяковского; своего профессора он назвал — Преображенский и заставил его издеваться над центральными идеями Маяковского: омоложением и бессмертием.[32]

Но с бессмертием дело обстоит не так-то просто... Эликсир спрятан где-то на полке, в квартире Преображенского, этом отдельном, изолированном мире, микровечности, где даже тарелки разрисованы райскими цветами. Квартира вся, словно рай, "горит и полыхает... неожиданным, радостным светом", но есть в ней и свой ад, где "в черной плите стреляет и бушует пламя" и лицо кухарки "горит вечной огненной мукой в багровых столбах". В этом гоголевском, как мы уже установили, отсеке беспомощным *рябчикам* — ешь ананасы! — Дарья Петровна "отрубала головы и лапки... затем, как яростный палач, с костей сдирала мясо, из кур вырывала внутренности..."; и Шарик, как истинное порождение ада, замечает, что вся квартира не стоит "главного отделения рая... двух пядей дарьиного царства".

Квартира Преображенского — звено в цепи булгаковских квартир и домов, выстраивающихся в подобие рая, освещенного уютным светом *зеленой лампы.*

"К черту внуков. Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки" (Необыкновенные приключения доктора).

"В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены". (Ханская ставка.)

"В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем" (Собачье сердце).

Подобных цитат можно привести немало. Видно, что мир Булгакова четко делится на мир внешний и мир внутренний, причем взаимодействие их есть разряд, обладающий обычно разрушительной силой. Булгаковский мир можно описать как ряд концентрических колец, которые расплываются и теряют четкость очертаний по мере удаления от центра. Действие совершается в центре и снова стягивается к этому центру; попытки Булгакова разрушить это построение, придать равную — стилистически и этически равную — ценность внешнему и внутреннему мирам приводят к развалу композиции, как в "Дьяволиаде". Метод стягивания действия к центру дает в результате квартиру Преображенского или дом Турбиных и даже странное явление в "Мастере и Маргарите": Маргарита улетает на традиционный шабаш, но шабаш, вопреки традиции, происходит не за городом, на вершине горы или в лесу, а в городской квартире, поскольку этого требует метод географического стягивания действия.

Внутренний мир, противопоставленный внешнему и по оппозиции свет-тьма, есть место, где время останавливает свой ход и все подвергается магическим трансформациям (таковы дом и институт Персикова, квартира Преображенского, домик Мастера и резиденция Воланда). Самая выключенность внутреннего мира из времени противостоит внешнему миру — Саардамский Плотник бессмертен! — с его неопределенной и темной враждебностью. При этом центр, внутренний мир трансформирует и непосредственно окружающее его пространство, воспринимаемое как место столкновения и борьбы внешнего и внутреннего миров: это отношения между квартирой Турбиных и ее пародийной ипостасью, квартирой Василисы в "Белой гвардии", квартирой Преображенского и остальным Калабуховским домом, оккупированным домкомом во главе со Швондером в "Собачьем сердце", резиденцией Воланда и домом номер 302-бис в "Мастере и Маргарите".

Так Одиссея превращается в странствие вышедшего из квартиры героя по городу и возвращение становится возвращением в квартиру. Булгаков упускает немало эффектных возможностей, сужая географические границы своего повествования, что сопровождается трафаретными описаниями внешнего — географически разбросанного — мира: "куда-то за леса", "необозримые пространства", "туманные дали". Недаром Горький сетовал, что Булгаков не включил в "Роковые яйца" описание нашествия

пресмыкающихся на Москву, что по мнению Горького дало бы "чудовищную интересную картину".[33]

Подобная последовательная оппозиция подводит к одной из центральных дилемм в творчестве Булгакова. Начиная с "Записок врача", он проводит мысль, что внешний мир — есть беспорядок, хаос, смерть; только находясь в мире внутреннем, человек может противостоять смерти и быть бессмертным. С другой стороны, внутренний мир наделяется некоторыми характеристиками загробного мира и для проникновения в него необходима смерть (особенно четко это видно на примере "Мастера и Маргариты", где героям необходимо умереть, чтобы обрести приют).

Противоречие снимается метафорами или метонимиями смерти: таково ранение Турбина перед тем, как он попадает в дом своей будущей возлюбленной Юлии; мнимая смерть в "Мастере и Маргарите"; либо болезнь Максудова в "Театральном романе", предшествующая проникновению в волшебный мир театра: и самоубийство Максудова, поэтому, объясняется тем, что он покинул театральный мир.

Четко заметен этот мотив и в "Собачьем сердце", где главная фигура переживает целых три смерти.

"Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво в бок... тут он окончательно завалился на бок и издох" — первая смерть, после которой Шарик проникает в квартиру Преображенского и утверждается в ней. Операция ("Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые розовые псы... Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего") выступает как вторая смерть, предваряющая превращение Шарика в человека и выход его во внешний мир. И наконец, Шариков "сам пригласил свою смерть" и, задушенный беленькой малой подушкой, вновь возвращается в волшебный полумрак зеленой лампы.

Примечания

1. См. Белозерская-Булгакова Л. Е., "О, мед воспоминаний", Анн Арбор, 1979, стр. 28—29. Информацию о жизни Булгакова в этот период можно почерпнуть также в статье М. Чудаковой "Материалы к творческой био-

графии М. Булгакова", "Вопросы литературы", № 7, 1973, а также в работе Proffer Ellendea, "Red-Bricked Moscow: 1921–1923", Canadian-American Slavic Stredies, v. 15 (2–3), 1981.

2. Белозерская-Булгакова, там же, стр. 25–26. См. также Проффер Э., Предисловие, в кн.: М. А. Булгаков, Собрание сочинений, т. 3 (Повести), Анн Арбор, 1983. В дальнейшем все цитаты из "Собачьего сердца" даны по этому изданию.

3. Чудакова М., "Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя", "Записки отдела рукописей Государственной Библиотеки им. В. И. Ленина", вып. 37, 1976.

4. Проффер, Предисловие, стр. 33. У Чудаковой – "третья повесть".

5. Булгаков Михаил, Глава из романа и письма. Вступительная статья М. Чудаковой. Публикация главы из романа "Белая гвардия" М. Чудаковой; публикация писем и комментарии к ним В. В. Гудковой. "Новый Мир", кн. 2, 1987, стр. 138.

6. "Грани", № 69, 1968; "Студент", вып. 9–10; Булгаков М., "Собачье сердце", Париж, ИМКА-пресс, 1969.

7. См. Burgin Diane L., "Bulgakov's earle tragedy of the scientist-creator: an interpretation of "The Heart of a Dog", Slavic and East European Joirnal, v. 22, No. 4, 1978.

8. Rydell Christine, "Bulgakov and H. E. Wells", Russian literature Triquarterly, No. 15, 1978.

9. Карпов Н. Лучи смерти. Фантастический роман. "Рабочая Москва", вып. 1–3, 1924.

10. См. Бритиков А. Ф., Русский советский научно-фантастический роман, Ленинград 1970, стр. 74–83.

11. Вопрос повествовательной техники Булгакова заводит в тупик также Сигрид МакЛафлин, см. статью "Structure and meaning in Bulgakov's "The Fatal Eggs", RLT, No. 15, 1978. Подобная проблематика рассматривается в работах Менахема Пери (Тель-Авив). Статью Goscilo Helene, "Point of view in Bulgakov's "Heart of a Dog" см. в том же номере журнала.

12. Doyle Peter, "Bulgakov's satirical view of revolution in "Rokovye iaitsa" and "Sobach'e Serdse", Canadian Slavonic Paters, vol. 20.

13. Бургин, там же, стр. 507.

14. Шарик выбирает себе имя и отчество наподобие того, как выбирают имя Акакию Акакиевичу Башмачкину; имя и отчество двойное, а фамилия "Шариков" – "наследственная", профессиональная, как и у гоголевского героя. Наблюдение, связывающее имя и отчество Шарикова с "Мосполиграфом", принадлежит Э. Проффер.

15. Струве Н., "Собачье сердце", "Русская мысль", 22 мая 1966 г.; Grabam S. D., "Bulgakov's "Sobach'e Serdse: a Polemical Povest'", Journal of Russian Studies, vol. 33, 1976–1977. В 1987 году повесть Булгакова была переведена на иврит, что вызвало несколько малосодержательных рецензий в израильской прессе.

16. Проффер, Предисловие, стр. 33.

17. Русское "сукин сын" Булгаков, играя в шарады, раскладывал по ассоциативной цепочке (Белозерская-Булгакова, там же, стр. 55).

18. Каганская М., Бар-Селла З., "Мастер Гамбс и Маргарита", Тель-Авив, 1984.

19. Это стихотворение Сологуба впервые напечатано в 1906 году, перепечатывалось в сборнике "Пламенный круг", Барлин-Петербург-Москва, изд. З. И. Гржебина, 1922. Отметим, что в дальнейшем в тексте Булгакова Преображенский уже прямо назван французским *королем*: "Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похожим на французского древнего короля".

20. Гаспаров Б., "Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

21. Гиппиус З., "Живые лица", Прага, 1925.

22. Зелинский К., "На рубеже двух эпох", М. 1960, стр. 7, 171.

23. В тексте Булгакова это председатель домкома Швондер и его команда, с тающим снегом на сапогах, которые распевают хоралы и "ходят без калош в такую погоду", словно пробивающиеся сквозь метель 12 красногвардейцев Блока. Есть здесь своя Катька, "персиковый юноша в кожаной куртке" и свой Петруха — "блондин в папахе... товарищ *Пеструхин*".

24. Бургин, там же, стр. 501–502.

25. Ср. Матфей, 17:2.

26. В критическом издании, которым мы пользовались, фраза эта полностью звучит так: "Вечером потухала каменная пасть, в окно кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой". Здесь явная неточность, и правильный вариант, очевидно, должен быть либо "в окне... стояла", либо "в окно... смотрела".

27. Белозерская-Булгакова приводит излюбленное выражение Булгакова: *черт собачий*.

28. Steinach E., "Die Verjungung", 1920 (цит. по Метальникову). Белозерская-Булгакова указывает, что непосредственным прототипом Преображенского послужил Н. М. Покровский, врач-гинеколог, живший на углу Пречистенки и Обухова переулка. Покровский — дядя Булгакова со стороны матери.

29. Катаев В., "Трава забвения", в кн.: "Алмазный мой венец", М. 1981, стр. 493–494. Об отношении к Булгакову других "идейных противников" см. Эрлих А., "Нас учила жизнь", Москва, 1960.

30. Там же, стр. 489. Может возникнуть сомнение в надежности Катаева как источника, однако здесь (что и требовалось Катаеву) Булгаков представлен в отрицательном свете. Катаев пережил несчастную любовь к сестре Булгакова, описанную в раннем рассказе "Зимой" (1923) и мемуарной книге "Алмазный мой венец". Чудакова пишет в "К творческой биографии", что в 1925 году Катаев подарил Булгакову свою книгу "Бездельник Эдуард" с теплой дарственной надписью, однако Проффер предполагает, что именно рассказ "Зимой" послужил причиной размолвки между Катаевым и Булгаковым. См. Проффер, "Red Bricked Moscow...", pp. 187–8.

31. См. Флейшман Л., "О гибели Маяковского как литературном факте", Slavica Hierosolymitana, vol. IV, pp. 126–130.

32. Известен интерес Маяковского к опытам Воронова. О мифе бессмертия у Маяковского см. Поморска К., "Маяковский и время" (К хронотопическому мифу русского авангарда), Slavica Hierosolymitana, vol. V–VI, 1981, pp. 341–353.

33. Цит. по Проффер, Предисловие, стр. 19.

ЛЮДИ И КНИГИ

Михаил Хейфец

ИИСУС В ЕВРЕЙСКОЙ ЛЕГЕНДЕ*

"История о повешенном, или история Йешу из Нацрата" — так Пинхас Гиль перевел на русский язык название еврейской средневековой легенды об Иисусе Христе, составленной на основе преданий Талмуда и мидрашей ("Есть основания полагать, — пишет переводчик, — что в нее были включены и отдельные элементы того, что можно назвать еврейским народным творчеством"). Вообще говоря, слово "талуй" переводится на русский язык не только по своему основному значению "повешенный", но и в побочном смысле "распятый" (см. "Иврит-русский словарь" Михаэля Дрора, изд. "Ам овед", Тель-Авив, 1975 г., стр. 451). В дальнейшем изложении я постараюсь доказать, что выбор для заглавия эквивалента "повешенный", а не "распятый" был для переводчика не случайным, а принципиальным выбором!

Пинхас Гиль в предисловии открыто декларирует цель перевода, комментирования и издания "Истории о повешенном": книга предназначена "для тех русскоязычных евреев, которые... совершенно не знакомы с основами веры и культуры своего народа, но зато нередко с уважением относятся к христианству и тесно связанной с ним европейской культуре. Думается, нашим читателям небезынтересно будет узнать, как относились их предки к Йешу и основанной им религии". Переводчик, сделавший отныне эту великолепную легенду достоянием русского читателя, видимо, всерьез верит, что ее можно использовать в качестве антихристианского чтива!

Мне не в первый раз приходится благословлять публикаторов, которые воистину "не ведают, что творят". Русскоязычные читатели, надеюсь, еще долго будут благодарны П. Гилю за чудесный подарок, но, кажется, их впечатления будут совсем не теми, каких ожидал, судя по предисловию, наш эрудированный и добросовестный переводчик.

* * *

Впрочем, сам П. Гиль признает, что "еврейские мудрецы не считали "Историю о повешенном" достаточно авторитетным источником. "Причина такого отношения, — добавляет он, — заключалась, в частности, в том, что некоторые из приводимых в этой книге рассказов либо вообще отсутствуют в талмудической литературе, либо значительно отличаются от того, что говорится в Талмуде о Йешу".

** "История о повешенном, или история Йешу из Нацрата", перевод и комментарии П. Гиля, "Прогресс", Иерусалим, 1985 г.*

Думается, скептицизм еврейских ортодоксов по отношению к "Истории" на самом деле объясняется, прежде всего, тем, что они (образованные в религиозном смысле люди) отлично понимали немыслимую неправдоподобность некоторых эпизодов народной легенды с чисто исторической точки зрения (например, богословы явно не могли принять наивное представление средневековых народных авторов, будто паломники, герои легенды, могли по своему желанию заходить в "Святая святых" Храма: на самом деле, заходить в это помещение мог лишь один человек — первосвященник и только один раз в году — в Судный день). Но главное, думается, состояло в том, что еврейские богословы отлично чувствовали взрывчатую силу художественного текста, ту несомненную народную е р е с ь, которую, на наше с вами счастье, не заметил сегодняшний переводчик.

Еврейская народная легенда изображает Йешу из Нацрата (из Назарета, по европейскому произношению) незаконорожденным сыном добродетельной Мирьям, коварно обманутой порочным Иохананом, принявшим облик ее настоящего мужа. Этот миф сразу приводит на память греческую легенду о таком же "мамзере" — Геракле, который своими знаменитыми подвигами искупал грех своего рождения, пока, наконец, после смерти не был взят на небо своим отцом, Зевсом, и сделан там богом. Еврейский "Геракл", в отличие от своего греческого собрата, прославился однако не физической мощью, а умом и знаниями: "А когда подрос этот Йешу, то учился в бейт-а-мидраше (аналог духовной академии. — М. Х.), и был этот Йешу смышлен, и выучивал за день столько, сколько другому пришлось бы учить много дней".

Когда он достиг тридцати лет, то начал религиозный спор со своими учителями и одержал над ними полную победу. Побежденные учителя пустили в ход "анкетные аргументы": проверили его родословную, докопались до отца Иоханана, и ославили молодого человека "мамзером", что по тогдашним обычаям означало изгнание его из общества. У меня нет ни малейшего желания устраивать здесь пробу на достоверность любой из версий его рождения, что иудаистской, что христианской (с непорочным зачатием), замечу лишь, что с юридической точки зрения аргументы "учителей" выглядят вздорно: свидетелей "греха" не было, обвинение строилось на догадках оскорбленного законного мужа Мирьям, который оставил ее за тридцать лет до этого расследования и сам в Нацерете не присутствовал, а всю версию с коварным Иохананом рассказал учителям их коллега по бейт-мидрашу, которому якобы поведал ее оскорбленный супруг три десятилетия назад, перед тем как бросить изменившую жену с ребенком. Все, что мы сегодня знаем о крайне пунктуальном в смысле формальностей еврейском суде, свидетельствует, что в действительности он не принял бы к рассмотрению дело, основанное на одних лишь предположениях ревнивого супруга, вдобавок пересказанных судьям не лично, а со слов якобы слышавшего их свидетеля, вдобавок заинтересованного в определенном исходе дела. На непредубежденный взгляд, эти "показания" выглядят грязными сплетнями, даже если в основе их лежал какой-то реальный факт.

Дальше сюжет разворачивается следующим образом: Йешу бежит из родного города в Иерусалим и хитростью овладевает величайшей тайной "Святая святых" Храма — подлинным Именем Б-жьим. Используя это

знание, он творит чудеса на глазах у последователей (любопытно, что описание чудес совпадает с евангельским), и тогда лидеры еврейской общины приводят его к правящей царице Елене, требуя казни для лжепророка. Но здесь, на диспуте перед лицом царицы, он снова одерживает победу и отправляется проповедывать домой, в Галилею. Во время его отсутствия богословы, говоря по-русски, вновь "покатили на него телегу", и поддавшаяся им царица приказала арестовать Йешу. Жители Галилеи решили защищать его с оружием в руках, но не желая кровопролития, он сумел уговорить слуг царицы, и они вместо ареста соглашаются на новый диспут. На сей раз жрецы с помощью хитроумного Иуды Искариота ухитряются лишить Йешу знания Б-жественного Имени и выигрывают диспут. Они торопятся арестовать оппонента, и вот как их поведение описано в еврейской легенде: "Евреи плевали ему в лицо и женщины били его сандалиями... и принесли ему стакан уксуса и дали ему пить... а затем водрузили ему на голову корону из колючек и грязного терновника, чтобы посмеяться над ним". Видимо, это-то место переводчик и посчитал поучительным для воспитания современных евреев, склонных "интересоваться европейской культурой" — дабы узнали они, как именно следует относиться к одному из ее основателей! Но, увы, с этой точки зрения еврейская легенда оказывается явно неудовлетворительной по сюжету, потому что далее говорится так: Йешу напомнил собравшемуся народу, что эти зверские действия предсказаны еврейскими пророками как признаки появления Машиаха (Помазанника Б-жьего), и тогда "поднялись бродяги", и "сброд пошел к тюрьме, и разбил замки, и вывел Йешу из тюрьмы". Таким образом, евангельский сюжет поругания Христа продолжен в еврейской легенде неизвестным вариантом: народным восстанием и освобождением узника из тюрьмы.

Оказавшись на свободе, Йешу решил совершить на Песах паломничество в Иерусалим, как то подобало правоверному законоучителю. Чтобы спрятать его от преследователей, ученики оделись в одинаковые одежды и дали клятву никому не говорить, кто из них Йешу. Но один из них, по имени "Папа сын Рацинты", решил выдать учителя хранителям Закона. Чтобы не нарушить клятву, он ничего не произнес, но поклонился своему раби и этим знаком дал указание стражникам, кого из одинаково одетой группы лиц следует брать (вот объяснение знаменитому "поцелую Иуды", над бессмысленностью которого некогда насмехались "воинствующие безбожники"!). Признаюсь, этот эпизод из легенды я читал с особым интересом, помня рассуждения героев романа Ю. Домбровского "Факультет ненужных вещей", в котором говорилось примерно следующее: "Поскольку еврейский суд не имел права выносить приговор на основании показаний лишь одного свидетеля, то видимо, кроме Иуды Искариота, который был этим официальным свидетелем обвинения, существовал, не мог не существовать "некто в сером", — еще один свидетель-предатель, который, возможно, до нашего времени числится святым, хотя был, говоря по-сегодняшнему, оперативным агентом служителей Храма". Как видим, еврейский источник назвал имя этого человека, в ы ч и с л е н н о г о по кодексу еврейских законов Ю. Домбровским: Папа бен Рацинта.

Арестованный в Иерусалиме, Йешу был казнен, ибо "по закону ему

полагается быть побитым камнями и затем повешенным на дереве", говорится в тексте. Вот почему П. Гиль перевел слово "талуй" как "повешенный", а не "распятый". Переводчик оговорил явное несовпадение евангельской и еврейской версий казни тем, что "автор легенды не счел нужным изучать евангелие". Мнение это кажется более чем сомнительным: чтобы узнать евангельскую версию, в средневековой Европе вовсе не требовалось какого-либо особого "изучения", ибо распятия стояли на любой дороге, а мозаичные и витражные изображения казни Иисуса красовались на стенах любых соборов во всех городах, где жили евреи. Да и сам текст еврейского сказания явно свидетельствует, напротив, о хорошем знании евангельского варианта: в нем упомянуты уксус и терновый венец, которые вне евангельского сюжета просто непонятны в "Истории о повешенном", да и сказано далее: "Йешу был распят и... кровь вытекала на руках и ногах его, куда вбивали гвозди", и еще: "Сброд пришел в большое волнение при виде дерева, на котором распяли Йешу". Следовательно, автор легенды, вопреки мнению П. Гиля, з н а л евангельский сюжет, и если заменил распятие на повешение, не всегда сведя с концами в своем тексте, то сделал он такую подмену сознательно. Но зачем? Об этом мы порассуждаем немного ниже...

Пока же изложим два завершающих эпизода еврейской легенды. "Увидели мудрецы, что прошло уже тридцать лет со дня смерти Йешу, но все еще нет им покоя от его поклонников, вводящих многих в заблуждение". И решились мудрецы на неслыханное дело, чтобы победить еврейских последователей Йешу: выбрали в своей среде мудреца Элияху, сообщили ему подлинное имя Всевышнего и послали к последователям Йешу, чтобы притворился он посланцем их казненного пророка и, творя Именем Б-жьим чудеса, повелел им отказаться от исполнения еврейских религиозных заповедей — "мицвот", которые до той поры они соблюдали, и завести себе новые, отличные от прежних, праздники... "С тех пор отмежевались и отделились уверовавшие в Йешу от евреев и создали особую общину и прекратился раздор в еврейском народе". В христианской общине прозвали этого Элияху святым Павлом.

Но хитрость помогла ненадолго. Вскоре христианские епископы предложили самому мудрому из всех еврейских богословов, Шимону Кифе, установить для них, для христиан, "добрые законы и порядки". Испуганные возможными гонениями, евреи просили Шимона Кифу: "Мы примем твой грех на себя, а ты по мудрости своей сделай так, чтоб не чинили они нам зла". Шимон Кифа подчинился желанию соплеменников и "установил христианам множество законов", в числе которых был запрет причинять евреям зло. Главка завершается так: "Христиане же называют Шимона Кифу святым Петром". П. Гиль добавляет, что версию о "еврейской миссии" святых Петра и Павла считал правдивой самый авторитетный мыслитель еврейского средневековья рабби Шломо Ицхаки, известный по аббревиатуре Раши.

Сюжет на этом не кончается, там есть еще блистательные эпизоды, но лучше прочитать книжку самим (в ней всего 60 страниц), нам же пора заняться ее анализом.

Главным положительным персонажем сказания является несомненно —

во всяком случае, для современного читателя — умный, великодушный, красноречивый, образованный, находчивый и вдобавок мученик Йешу из Нацрата. Противостоящие ему "мудрецы" злы, коварны и, хотя обвиняют Йешу в обмане, но сами борются с ним лишь обманом и доносом, и если за ними нет полицейской силы, неизменно ему проигрывают.

Совершенно неверно, однако, из этого делать вывод, будто мудрецы противостоят Йешу как отрицательные герои сказания. В глазах автора "Истории" на их стороне была религиозная правда, и потому их столкновение с Йешу имеет трагический (а не моралистический) характер, в котором каждая сторона играет предписанную историей роковую роль. Талантливому, умному, образованному "мамзеру", восставшему против оскорблявшего его общества, противостояли те, кто хранил устои исконного Закона. Тут невольно вспоминаются конфликты в шекспировских и шиллеровских драмах, а из российских сюжетов — "Капитанская дочка", где лихой, умный и по-своему обаятельный Пугачев выглядит куда интереснее, "положительнее" туповатых и скучных екатерининских генералов (хотя было бы ошибкой на этом основании считать, что Пушкин считал справедливой "пугачевщину", наоборот, именно тупые генералы защищали то дело, которому Пушкин сочувствовал, хотя по-человечески Пугачев нравился ему гораздо больше, чем они).

Очень любопытны упоминавшиеся выше разночтения между евангельскими сюжетами и еврейской версией "Истории о повешенном". Например, власть над Израилем по евангелиям находилась тогда в руках римского прокуратора Понтия Пилата, а по еврейской легенде "в те дни власть над Израилем была в руках Елены". Историческая Елена действительно царствовала почти что в эти же годы (30-е—60-е гг. н. э.), но не в Израиле, а в Адиабене, северомессопотамском государстве. Почему же ее переместили в Иерусалим? О власти Рима над Иудеей автор "Истории" был осведомлен — в том нет никакого сомнения, вопреки мнению переводчика, предположившего, что якобы он, автор, не знал евангелий. Знание о Риме постоянно прорывается в разных местах текста (например, когда Элияху-Павел отправляется в Антиохию, важнейший центр римской власти в регионе, или когда упоминается, что "вражда брата против брата и ближнего против ближнего", то есть евреев и иудеохристиан, распространилась от Рима до Арарата, то есть географически именно в пределах империи). Но если автор знал про Рим, то зачем он сочинял художественный сюжет с Еленой-царицей в роли Понтия Пилата?

С точки зрения средневекового еврейского автора христианство несомненно являлось опаснейшей ересью в еврейской общине. Йешу, при всех его выдающихся личных качествах, тем не менее оставался для автора-еврея лжепророком и нарушителем Закона, его же противники, мудрецы, при всей нечистоплотности их приемов борьбы, являлись хранителями Б-жественной правды. Кто думал по-другому, тот уходил из еврейской общины в окружавший его христианский мир! Но подобная расстановка религиозных действующих лиц оставалась для любого еврея оправданной только при условии, что и самая жестокая расправа над еврейским еретиком осуществлялась по приговору еврейского же суда и еврейскими руками.

Однако мы знаем, что в любой империи, в том числе и Римской, право выносить смертные приговоры отнято у туземных властей: это всегда привилегия имперских наместников, и именно такой исторически достоверный порядок судопроизводства описан в евангелиях. Тем не менее именно такую ситуацию еврейское народное сознание принять отказывалось: если бы еврейский суд, например, малый Синедрион, передал еврейского же еретика Йешу в руки язычников для казни, как это могло случиться в тогдашней конкретно-исторической ситуации, эти судьи совершили бы немыслимое в глазах еврейского общества преступление перед Законом! В подобном сюжете действия членов Синедриона сразу теряли бы любое религиозно-нравственное оправдание. Вот почему автор "Истории о повешенном" и "берет на нас" казнь Йешу: он заменяет римское владычество царствованием Елены, а распятие — еврейским побиением камнями с последующим повешением (при этом сочиняется совсем уж сказочный сюжет с капустным стволом, на котором якобы могли повесить Йешу). Ибо распятие считалось традиционной римской казнью, а Йешу должны были обязательно казнить по-еврейски — иначе этой казни не было бы оправдания. Конечно, в истории Иудеи известны случаи распятий, например, казнь царем Александром Яннаем восьмисот законоучителей-"перушим" (фарисеев), но если бы Йешу распяли по приказу еврейской царицы, это означало бы, что праведный законоучитель из числа "перушим" казнен царицей-еретичкой, саддукеянкой. Поэтому я думаю, что переводчик, в конечном счете, правильно выбрал для слова "талуй" значение "повешенный", а не исторически более достоверное "распятый", проявив в данном случае понимание д у х а произведения.

Любопытно, что не только евреи отказались от евангельского алиби и приняли на себя ответственность за римскую казнь, включая и побиение, и уксус к губам страждущего, и венец терновый, — все, что евангелия приписывают римлянам; народное сознание всех христианских народов тоже присоединилось к этой точке зрения: "Евреи Христа распяли", — хотя христиане-то каждую неделю, если не каждый день слышали в своих церквях рассказ о суде и казни его р и м л я н а м и и видели вдобавок римских солдат на бесчисленных иконных изображениях. Единственным объяснением этого единодушия мне видится то же, что у евреев, естественное для "людей Книги" представление о том, кто д о л ж е н быть виновным в этой казни... Язычник Пилат или римские воины не могли считаться виновными в преступлении против Духа, как не может быть в нем виновен, скажем, дикий зверь. Зверя можно (и даже нужно) убить, если он опасен, но его нельзя обвинить: он не ведает, что творит, он соответствует своей природе: Виновными же могут быть только люди, знающие Учение. Евреи этих людей оправдывали, христиане их обвиняли, но и те, и другие, в сущности, стояли на одной и той же принципиальной позиции: Хомо сапиенс начинается со знания Учения, а тот, кто с Торой вовсе незнаком — был и оставался вне суждений.

Замечание в сторону: в этом месте мне припомнился донос кого-то из сторонников Виленского Гаона, по которому через 1800 лет после суда на Йешу был посажен в каземат Трубецкого бастиона (и чудом не был там уморен насмерть) любавичский ребе; и аналогичный донос кого-то

из любавичских хасидов на лидера "литваков"... Увы, боюсь, что хотя еврейское народное сознание не могло вынести подобного сюжета, но вот сознание некоторых его "авторитетов" и "мудрецов" легко такой сюжет выносило и даже осуществляло в реальной истории.

...Особый интерес вызывают у меня сюжеты с апостолами Петром и Павлом, которые якобы выполняли "спецзадание" еврейских мудрецов и сами принадлежали к еврейской элите. Почему, как упоминалось выше, даже такой авторитет, как Раши, склонен был довериться этой фантастической версии?

Когда мы перечисляем многовековые гонения, погромы, изгнания евреев в христианской Европе, то невольно забываем один очевидный факт: еврейская община оставалась при всем при этом единственной иноверческой общиной, которой вообще позволяли существовать в недрах христианского мира в течение тысячелетий. В средневековой Европе невозможно представить мусульманский квартал в католическом городе; альбигойцев же истребили начисто, до последнего человека, хотя они были христианами, в то время, как евреев только изгнали из Франции. Та уникальная роль в развитии международной торговли Европы, которую сыграли еврейские купцы, объяснялась тем, что они оказались единственными, чужаками, кому правители Европы дали привилегию жить в своих владениях; всех, кроме евреев, даже единоверцев, но еретиков, предпочитали истреблять. Средневековые евреи отлично понимали эту исключительность, эту уникальность своего положения в печах христианского фанатизма. Особенно их должно было поражать, что право на еврейскую привилегию санкционировала и освятила католическая церковь, этот их злейший идеологический враг. (Согласно христианским догматам, евреи должны были жить среди христиан до Страшного Суда, чтобы своими глазами увидеть второе пришествие Машиаха и убедиться, что он и есть казненный ими Йешу из Нацрата.) Видимо, это противоестественное покровительство со стороны католической церкви и вызвало в еврейском народном сознании мысль о том, что ее основоположники, святые Петр и Павел, которые дали христианам главные законы, в числе прочего повелели "не мстить евреям" (как сказано в "Истории о повешенном"). Кстати, я допускаю, что иудейское происхождение первых сподвижников Йешу действительно влияло на их отношение к евреям и на те наставления, которые они сделали своим последователям из среды новообращенных, и это-то влияние потом отразилось в причудливом зеркале народной еврейской легенды.

И наконец, последняя мысль, которая невольно возникает в еврейском сознании, когда оно обдумывает уникальный сюжет "Истории о повешенном". Согласно тексту, еврейские мудрецы, испугавшись мощи и влияния христианства в среде своей общины, подослали к сторонникам Йешу своего человека, который обманом убедил этих еретиков полностью отречься от "мицвот", от обычаев их отцов. А ведь законы веры требуют бороться за души единоверцев, впавших в заблуждение, бороться словом проповеди, личным примером благочестия! Вместо этого мудрецы вынудили нарушить обет с Б-гом и отлучили от веры значительную часть своего же народа (ситуация в истории иудаизма тоже не уникальная: напомним, что

Виленский гаон предал "херему", то есть анафеме, всех хасидов, отлучив тем самым едва ли не половину своего же народа от синагоги, то есть от иудаизма. А его противники, ученики Дов-Бера из Межирич, в ответ наложили "херем" на всех сторонников "литваков"!). Автор "Истории о повешенном" не мог не размышлять о том грехе, каким с точки зрения иудаизма являлось понуждение, да еще обманом, еврея-еретика к тому, чтобы он нарушал заповеди и в итоге окончательно отпал от веры. Случайно ли этот автор вложил в уста мудрецов, подсылавших Павла к христианам, такие слова: "Мы клятвенно принимаем на себя все прегрешения перед Б-гом, которые ты совершишь из-за этого"? Мог ли он в е г о время не подумать о тех грехах, которые пали на руководителей общины, и о Б-жьем наказании, обрушившемся на его народ п о с л е этих событий: о гибели Храма, утрате родины, о жизни в рассеянии?.. Мог ли не знать того толкования причины этих несчастий, которое дает Талмуд: "Второй Храм пал из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. Это показывает, что беспричинная ненависть равна идолопоклонству, кровосмешению и кровопролитию вместе взятым" (трактат Йона, 9Б)? Вот почему не случайно, думается, еврейские религиозные мудрецы с сомнением относились к легенде, в которой народное сознание по-своему судило тех, кто руководил тогда общиной и в духе здравого народного смысла оценивало этот давний эпизод из истории еврейства.

"История о повешенном" пользовалась огромным успехом в читательской среде: П. Гиль сообщает, что до нас дошло несколько десятков ее вариантов! Для произведения, написанного, по мнению Ш. Крауса, в V веке н. э. (и уж во всяком случае не позже XI века), да еще посвященного столь "самиздатской" теме как история Иисуса, — это свидетельство беспрецедентного читательского успеха, знак близости умонастроения ее автора к умонастроениям как его современников, так и — без преувеличения — десятков поколений ее еврейских читателей во всех уголках Европы.

Э. Вайнштейн

ЕВРЕИ, НЕЕВРЕИ И Т. Д.

Передо мной только что вышедшая в свет в Израиле книга Цви Керема из Хайфы под одноименным названием.

В первой части ("Начала") автор повествует о своей молодости на фоне событий, происходивших в досоветской Бессарабии и Румынии, вплоть до оккупации Бессарабии Советами в 1940 году. Эта часть книги особенно заинтересует, наверно, выходцев из Кишинева, потому что автор постоянно возвращается к родному городу, его улицам, паркам, местам встречи молодежи. Он помнит людей, с которыми общался, учился, работал. И несомненно те, кто прошел сходный с автором путь, смогут заново пережить минувшее.

Часть вторая ("Изнанки") касается войны. Здесь собрано много фактов, прежде не появлявшихся в печати, но интересных и достойных внима-

ния. Они образуют ту правду о войне, которую почему-то забывают многие ее летописцы.

В третьей части ("Глубины") перед читателем разворачивается обширная панорама жизни в послевоенной России, вплоть до наших дней. От взгляда автора не ускользают даже самые малые события и факты, характерные для советской системы. Значительная часть обобщений и выводов автора вполне убедительна, даже если кое с чем можно и не согласиться.

И наконец в последних частях ("Истоки" и "Итоги") читатель вновь возвращается к нелегким дням приезда в Израиль. Он вспомнит бюрократов и чиновников, тех, кто тормозил и разрушал алию (и во многом продолжает делать это сегодня). Автор пытается разобраться в причинах и механизме этого явления. Попутно он дает весьма реалистичную и всестороннюю картину израильской жизни, какая она есть — с ее изумительными достижениями и досадными провалами.

Таков набор проблем, видимо, занимавший Цви Керема во время работы над своей автобиографической книгой. Люди по-разному смотрят на жизнь и по-разному видят ее. Судя по воспоминаниям Цви Керема, его подход состоит в том, чтобы как можно больше увидеть, понять и рассказать другим. Он проделал огромную работу, воскресив многие события, явления и факты — частично пережитые им самим, частично узнанные из встреч и разговоров с другими. В результате возникла книга, которая убеждает, не вызывая сомнений в достоверности, книга, которая читается с большим интересом, не дает оторваться и многому учит.

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ ЗАРУБЕЖЬЮ

В свое время газета "Русская мысль" обратилась ко всем людям, чтящим память великого русского кинорежиссера Андрея Тарковского, с призывом начать сбор средств на установление памятника на месте его захоронения.

Проект такого памятника уже осуществлен скульптором Эрнстом Неизвестным совершенно безвозмездно. Средства необходимы только на его отливку. Примерная стоимость такой отливки 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов.

К сожалению, до сих пор в адрес редакции поступило менее одной десятой этой суммы.

В то же самое время советские власти уже предприняли официальные шаги к тому, чтобы с помощью оставшихся в Москве родственников покойного перевезти его прах в Советский Союз.

Неужели и на этот раз, как это уже случилось с прахом Шаляпина, они вновь добьются своего.

Я считаю, что наш долг — долг всех, кому дорога память затравленного советской камарильей от искусства художника, помешать этому кощунству.

Собрать средства на памятник великому русскому кинорежиссеру — долг нашей чести. Еще раз напоминаю счет, на который принимаются поступления: Credit Lyonnais, Agence Z1 463, Bld Courcelles, 75008 Paris, compte No. 6768V, Memoire Tarkovsky.

Владимир Максимов

Главный редактор — Рафаил НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, Н. РУБИНШТЕЙН,
М. ХЕЙФЕЦ, Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

заведующая редакцией — **Мириам БАР-ОР**
технический редактор — **Наталья РУБИНА**

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. Б. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции — /03/-394525*

Представители журнала за рубежом:
США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmind, Ca. 94805.
ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22.
Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 50 шек., за рубежом – 40 долл. (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долл.), для организаций – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 66 долл.).

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив